

VI (швед.)

П-21

Людвиг Паулине

ЖЕНЩИНЫ

находят

п у т ь



HEDVIG PAULINE

KVINNOR
PÅ VÄG

STOCKHOLM

1 9 5 4

Ледви Паулине

1957

(ХЕНРИ ПЕТЕР МАТТИС)

69

**ЖЕНЩИНЫ
находят
путь**

РОМАН

Перевод с шведского
Н. КРЫМОВОЙ и А. СИПОВИЧА



БИБЛИОТЕКА КНИГ
ИНВ. № 37017
7115 - 1958

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва • 1957



С Е М Ь Я

I

Зиме уже пора было бы кончиться. Но с запада по-прежнему дул ветер, завывали бури.

На улице было темно и мрачно, и казалось, весна никогда не наступит. Ветер дул, не переставая, изо дня в день, но не мог разогнать густой туман. От окна в кухне так несло холодом, что там невозможно было сидеть. На крыше

поминутно что-то хлопало. От этого звука всем становилось не по себе.

Мама тоже нервничала, хоть и говорила, что бояться нечего. А когда с запада налетала буря, в кухне было совсем жутко.

Зима в тот год выдалась чрезвычайно холодная. А нам так хотелось весны — маме и мне. У нас с ней был один секрет: к осени у меня родится маленький братец или маленькая сестричка. Когда мама мне об этом сказала, я сразу почувствовала себя взрослой.

Тогда мне было всего лишь двенадцать лет. Но мне уже приходилось помогать маме. «Ведь ты у нас самая старшая», — говорила она.

Нас было четверо детей. Марии было только девять лет, а мальчикам — семь и четыре. Интересно, всегда ли мама была такая странная, когда ждала кого-нибудь из нас?

Временами, когда она смотрела на нас, у нее делались такие большие глаза! Это первое, что я заметила. И она могла подолгу стоять у окна, вглядываясь в туман и бурю. Дышала она тяжело, но старалась сдерживаться, словно чего-то боялась. Сначала я думала, что ее тревожит война и судьба дяди Янне. В последнее время она все чаще говорила о войне. Она очень боялась, что война нагрянет и к нам.

Вообще все было как-то странно. Прежде мама всегда была такая спокойная. Ничто не могло ее испугать. Бывало, Калле и Артур, подравшись до крови, с ревом прибегали домой, и наши соседки при виде их в ужасе хватались за голову. А мама спокойно брала драчунов к себе на колени. «Можешь ты стиснуть зубы и потерпеть, пока я буду промывать твою рану?» — говорила она, как заправский доктор, и они стискивали зубы и не издавали ни единого стоны, что бы она с ними ни делала.

Но мама уже очень давно не получала писем от Янне. В последний раз он ей писал после того, как их судно нарвалось на торпеду.

— Когда он вернется, мы пригласим его жить у нас, и он не пойдет больше в море, — сказала тогда мама. — Найдет себе другую работу. Довольно уж, наплавался. Не то теперь время, да и ему уже скоро тридцать лет.

Дядя Янне, брат нашей матери, был почти на десять лет моложе ее и обычно жил у нас, пока его судно стояло в гавани. А когда он находился в плавании, мама получала от него письма со всех концов света. После смерти бабушки

он так и не завел собственного гнезда. А теперь мы не знали, жив ли он или погиб.

Поэтому я невольно вспоминала дядю Янне, когда мама говорила: «Война никого не щадит».

* * *

Мама прочитывала все газеты, которые папа приносил домой. У нее, конечно, было очень мало времени, но она читала урывками, пока варился обед, или вечерами, устав шить или штопать. Газета всегда лежала на кухонном столе. И только дочитав до конца, мама складывала ее и убирала в специальную сумку на стене.

Если заходили поболтать соседки, она разговаривала с ними, не выпуская газету из рук.— Видела ли фру Андерсон вот это? — спрашивала она, показывая статью или фотографию в газете. Но соседки отнюдь не приходили в восторг, если мама принималась читать им вслух.

— Ах, просто невозможно слушать про эту ужасную войну! Я, право, не понимаю, как фру Ларссон читает все это,— удивлялись они.

— В один прекрасный день, может быть, придет и наш черед,— говорила мама.— Во всяком случае, об этом нельзя забывать.

Она читала важные и мелкие сообщения, длинные статьи, объявления и рассказы в субботних номерах. Но со мной своими впечатлениями обычно не делилась. Поэтому я была удивлена, когда однажды мама подозвала меня и показала снимок в газете. То была фотография с фронта.

— Нет, этого не может быть,— прошептала она, пока я рассматривала снимок.— Подумай, если бы на месте этого русского солдата был наш папа, подумай, Элин...

Мне никогда не забыть этой фотографии.

У солдата была такая же короткая темная бородка, как у папы. Может быть, он был такой же милый, такой же кроткий. Во всяком случае, таким он выглядел на фотографии. Он шел безоружный. Он вышел из траншеи и направлялся к немцам с протянутыми вперед руками. В пояснительном тексте было сказано, что это — действительное происшествие. «Товарищи, мир!» — быть может, кричал он в ту минуту.— «Да здравствует революция... долой войну!» Немецкие солдаты не стали в него стрелять, но молодой офицер швырнул ручную гранату. И на фотографии русский был

изображен, окутанный облаком дыма. С тех пор, читая в учебниках истории про еретиков, сжигаемых на кострах, я всегда вспоминала этого русского солдата.

Больше всего интересовали маму фотографии, относящиеся к подводной войне. В ту весну немцы без предупреждения начали топить все суда. Мне кажется, она отыскивала на этих фотографиях лицо, в котором могла бы узнать дядю Янне. Она искала его на спасательных лодках, на плотках. Когда ей попадались списки погибших и пропавших без вести, она прочитывала их медленно, как бы вдумываясь в каждое имя.

— Чего только людям не приходится терпеть! — сказала она фру Клинт, явившейся попросить в долг чашку манной крупы.

— Да, нам очень тяжело. Прямо чудо, что удастся еще сводить концы с концами! — подхватила фру Клинт. Им прислали из деревни литр молока, и фру Клинт собиралась сварить на молоке и воде похлебку. Она просто не могла больше готовить на обед соленую рыбу.

— А каково же тем, кто на войне? — возразила мама.

— У нас зато есть Хунгершёльд*, это не лучше войны. Он готов вырвать у человека изо рта последний кусок хлеба и продать его немцам, как говорит мой Эрик. Это по его милости мы вынуждены простаивать в очередях или носиться по всему городу за каждым пустяком, чтобы не околоть с голоду, в то время как спекулянты набивают карман.

Фру Клинт так увлеклась, что позабыла и о манной крупе, и о том, что собиралась уйти.

— Если в ближайшее время ничего не переменится, мы пропали! — сказала она.

— У нас слишком много людей, которые ровно ничего не делают, для того чтобы эта перемена совершилась, — возразила мама.

— Слишком много таких, что ничего не делают? А кто же это должен делать? — взвилась фру Клинт, словно ее стегнули.

— Все 'те, кто знает, откуда дует ветер...

— Не так это просто. Вы вот все время читаете газеты, — скажите, как нам быть? Что пишут об этом в газетах? Может быть, народ должен подняться и устроить

* Хунгершёльд — искаженное имя шведского премьер-министра Хаммаршёльда (1914—1917). Хунгер — по-шведски голод. — Прим. персв.

бунт, как в России? Мой старик, например, и Свенссон и Андерссон? Это уж последнее дело!

— Мы тоже могли бы помочь, — заметила мама. — И лед бы тронулся.

— Если бабы полезут в политику, мужики нас засмеют. Нет уж, не хочу я делать из себя посмешище, пока еще кое-как перебиваюсь!

Мама сидела с газетой в руках и, казалось, не слушала, что говорила соседка.

— А что пишут про войну? — спросила фру Клинт. — Наверное, то же, что и всегда, я так полагаю?

— Похоже, что вмешается и Америка, — сказала мама.

— Тогда будет еще хуже! Нет, помилуй бог! Лучше ничего не знать заранее, как говорит Эрик. Вот и все. И очень глупо с моей стороны сидеть здесь и разговаривать, ведь Эрик скоро придет с работы и станет ругаться, что обед до сих пор не готов!

Наконец она ушла.

В этот день я в первый раз видела маму плачущей. Когда мы снова остались с ней одни, я обратила внимание, что мама, читая газету, как-то странно заслоняет лицо руками. «Наверное, устала, — подумала я. — Ведь теперь она так быстро утомляется. И в особенности если при ней разговаривают о войне и о голоде».

— Им словно хочется, чтобы кто-то другой за них все делал, — сказала мама.

Тут я вдруг заметила, что из маминых глаз на бумагу каплют слезы. Я очень испугалась.

— Что с тобой, мама? — спросила я. — Ты больна?

Но она только плотнее прикрыла рукой глаза. И я вспомнила, что бабушка, которая умерла от рака, часто сидела точно так же вот, незадолго до смерти. Она хотела скрыть от нас, от детей, как она страдала.

— Элин, это так страшно, подумай только! — сказала, наконец, мама, тяжело вздохнув. — В мире бушует война, кругом полно опасностей, а у нас должен появиться ребенок! Ведь это безумие. Все считают, что этого нельзя было допускать. И папу жалко. Ему едва удастся прокормить тех детей, что у него есть... И вот родится бедняжка в такое время, когда в доме, может быть, совсем нечего будет есть, когда война сделается еще страшнее... Что же будет?

И тут я снова почувствовала себя взрослой. Но я не смела утешать маму, не смела ей сказать, что я уже большая и смогу помочь ей растить маленького.

— Не пора ли варить брюкву, мама? — спросила я.

Она обеими руками вытерла слезы и отложила газету.

— Да, конечно. Пора готовить обед, — медленно проговорила она, не поднимаясь с места, словно ей было тяжело встать.

— Я нарежу се тоненькими ломтиками, — продолжала я. — Папа больше любит пюре из брюквы.

— От вчерашнего обеда у нас осталось немного мясного бульона. И есть крупа. Получится отличный суп. На улице так холодно, а папа целый день пробыл на ветру, на верфях.

Мама поднялась с места и пошла, слегка пошатываясь. Видимо, она заметила, что я испугалась, как бы она не упала, потому что она поморщилась и кивнула мне:

— Нарежь брюкву, Элин, и до прихода папы можешь немного погулять.

— Лучше я останусь с тобой, мама, — сказала я и, почувствовав, что краснею, отвернулась.

— Много забот предстоит тебе впереди, моя девочка, — проговорила мама печально. — Надвигаются тяжелые времена.

* * *

Я любила встречать папу на улице и возвращаться с ним домой. Мария тоже. Мы шли по обе стороны от него, держа его за руки. И нам казалось, что мы отняли его у мальчиков. Да мальчики и сами не торопились возвращаться, и нам потом приходилось снова идти на улицу и звать их домой. Почти каждый вечер мы с ними спорили и уговаривали их идти обедать.

Папу мы видели только по вечерам, разумеется, кроме воскресенья. Иногда он с нами играл, и это были для нас самые счастливые вечера. Но чаще всего он возвращался усталый, брал книгу и ложился на диван. Каждую субботу он приносил домой книги, которые брал в библиотеке. Я не помню, что он читал, но мама говорит, что это были книги по истории. Почти все воскресные дни он сидел дома и читал.

По воскресеньям мы ходили гулять. Нам разрешалось уходить из дому и играть сколько угодно при условии, что мы будем себя хорошо вести. Иногда мы с Марией и другими девочками посещали воскресную школу, но там было

неинтересно. Мы предпочитали гулять по большим улицам и рассматривать витрины. Любили мы смотреть и на празднично нарядную публику, гуляющую по улицам. Мы старались угадать, где живут эти люди, что они собой представляют. И мы шагали так же медленно, с таким же достоинством, как и они, потому что воскресенье — торжественный день. Людей, которые и в будни ходили разряженные, мы прозвали «воскресными людьми». Все они жили в центре города.

Гуляя в воскресенье по улицам, мы должны были правильно говорить. Если кто-нибудь спрашивал нас, откуда мы, надо было отвечать, что мы из Майурны*, как было написано на трамвайных вагонах и на уличных табличках, а не из Майеры. Иногда мы с Марией доходили и до Мастхюггета или даже до Йернторгета. Тогда мы шли, держась за руки, воображая, что нам предстоит увлекательные приключения. Мы знали, что можем дойти до аристократической улицы Линнегатан и вернуться домой через Слоттсскугген, если мы пойдем по улице Слоттсскугсгатан, а там совсем как в деревне, куда мы ездили с папой. Но так далеко заходить одни мы не отваживались. Вместо этого мы с Марией решили попросить папу, чтобы он как-нибудь взял нас в город, тогда мы могли бы покататься на трамвае. А там, в центре города, было на что посмотреть.

Но потом мы позабыли об этом своем намерении. Столько было других развлечений! После обеда выходило гулять много детей, с которыми мы дружили. И мы до позднего вечера играли с ними во всякие игры. Тогда и на нашей улице становилось весело.

С приходом весны снова начнутся игры, мечтала я. Можно будет дольше оставаться на улице, не боясь замерзнуть. Как только земля просыхала, мы начинали играть в шарики. Сначала мы катали шарики только на школьном дворе. Но затем переходили на дорожки сада и даже на улицы, где тротуары пошире. Были у нас и другие забавы. Мы, девочки, прыгали через веревочку. Мальчики предпочитали качели. А те, что постарше, гоняли на лужайке мяч. Мне так хотелось поиграть с ними, но меня не принимали. Когда же темнело, мы играли на дворах в прятки.

В ту весну на улице бывало особенно весело. Мы бегали и играли в прятки. В этой игре могли участвовать все. Здесь

* Здесь и дальше — названия улиц и районов города Гетеборга. — *Прим. перев.*

никто не спрашивал, есть ли у тебя мячики или шарики, — принимали даже самых маленьких — и мальчиков и девочек. За мое постоянное участие в их играх старшие ребята прозвали меня «мальчишкой». Днем они точно стыдились принимать меня. Но по вечерам я играла вместе с ними.

У нас — у меня, у сестры Марии и братьев — не было ни мячей, ни шариков. В прошлую весну у меня была дюжина каменных шариков. Но позже, когда мы перестали играть, я совсем о них позабыла, и через год мне пришлось пожалеть. Теперь, когда они мне вновь понадобились, я не могла найти ни одного. Ими все лето играли мои братья, пока все шарики не исчезли. Может быть, мальчишки выменяли их на другие игрушки, но не хотели признаться.

Большинство шариков я выиграла у других детей, поэтому их исчезновение меня не очень расстроило. Досадно только было, что другие играют и на школьном дворе и дома, а мне не во что играть. А я была уверена, что обязательно выиграла бы. Я видела, как другие, особенно мальчишки, делали промахи, как неумело пускали они свои шарики, как неловко загоняли их в лунки. И я мечтала хоть об одном-единственном шарике, тогда бы я смогла выиграть у этих мальчиков все их шарики. Но как же достать этот единственный шарик? Разве что при помощи колдовства...

Мама мне решительно отказала, когда я попросила десять эре для покупки шариков.

— У вас много других игр: вы можете качаться на качелях, играть в классы, — сказала она. — Колышки и камешки для ваших игр можете добыть себе сами. Если я дам десять эре тебе, то и остальные потребуют. И потом из-за этих шариков у вас вечные ссоры.

Попросить денег у папы я не решалась. Шарики снились мне даже во сне, но что я могла поделать? И хотя я без конца кружила по школьному двору и другим местам, где происходила игра, мне так и не удалось найти ни одного шарика. Если бы я увидела позабытый кем-нибудь шарик, я бы непременно подняла его и спрятала. Почему, в самом деле, у всех они есть, а у меня нет?

В нашем классе учился мальчик, которого звали Курт. У него был целый мешочек шариков. Это у него я выиграла прошлой весной почти все мои шарики. Он жил на Слоттс-кугсгатан, и мы частенько возвращались из школы вместе. Был он чуть помоложе меня, особенными успехами в школе не отличался, но был вежливым и аккуратным маль-

чиком; с другими мальчишками компанию не водил, а предпочитал играть с нами и заходил на наш двор как будто из любопытства. Мальчиков постарше он угощал конфетами, которые давала ему мама. Его отец держал бакалейную лавку на улице Карла Йохана, и у них был собственный дом с садом. И вот у этого самого Курта я взяла займы два шарика, чтобы начать игру.

Я страшно обрадовалась, получив шарики, мне даже казалось, что я влюблена в Курта. В тот вечер он мог попросить меня о чем угодно. Однако сам он играть со мной не захотел. Но я и не настаивала. В тот вечер играющих было много, и никто не заметил, что у меня всего лишь два шарика и что я подошла последней, когда на площадке находилось уже много шариков, по которым можно бить. Затем я продолжала игру на выигранные шарики. Все шло именно так, как я задумала.

Я пережила два очень радостных дня. Я вспоминаю, что эти два дня я все время играла в шарики — и на переменах и дома во дворе. Иногда я, правда, и проигрывала, потому что входила в азарт и становилась неосторожной, но большей частью я выигрывала.

Наверное, я слишком много смеялась, но я не могла удержаться от смеха, опуская выигранные шарики — мои шарики! — в карманы кофточки. Меня радовало, что теперь у нас, у всех четверых, будут шарики и не придется их покупать. «И мама тоже будет рада», — думала я.

Но вот подошел Курт. Он видел, что я выигрывала, так как все время находился где-нибудь поблизости, и захотел получить свои шарики. Я охотно подчинилась: вынула два шарика и подала ему.

— Нет, — сказал он. — У тебя все карманы полны шариков. Все, что ты выиграла на мои шарики, также принадлежит мне. Как же может быть иначе?

У меня просто язык отнялся, до того я была поражена. А он уже запустил руки в мои карманы. Мы с ним пересчитали шарики. Их оказалось около двух дюжин. — Как же может быть иначе, — повторил он. — Раз первых два шарика мои, то, значит, и остальные тоже мои. — Он так настойчиво внушал мне это, что я уступила. — Но теперь ты можешь взять у меня займы пять шариков, — предложил он, забрав себе все остальные.

Подумать только, что я проявила такое малодушие, стерпела наглость этого мальчишки! Ведь мне ничего не стоило

сго поколотить и забрать шарики обратно. Я была сильнее его. Я могла бы также швырнуть ему в лицо его пять шариков. Но ничего этого я не сделала, а взяла шарики. Я хотела играть во что бы то ни стало!

С тех пор игра уже не доставляла мне такого удовольствия. Выигрывая, я уже больше не смеялась. И стала играть осторожнее. Только не проиграть! Если я проигрывала хотя бы один шарик, мне было как-то стыдно. И лишь играя один на один с Марией, я давала ей выиграть. Учила ее, как надо играть. Учила и старшего из своих братишек и ему давала выигрывать. Но при этом мне все время казалось, что я совершаю кражу. Я все время думала о Курте.

Когда он явился в следующий раз и потребовал свои шарики, он получил всего лишь дюжину. Он оцупал мои карманы, но ничего не нашел.

— Я надеюсь, ты их не теряешь? — спросил он.

— Как будто бы нет, — отвечала я.

— Значит, тебе стало меньше везти? — сказал он недоверчиво.

— Другие тоже наловчились. Поиграй сам и увидишь, как у них хорошо получается, — ответила я.

— В таком случае я дам тебе восемь штук, — сказал он, отсчитывая шарики жадными руками.

«Что, получил?» — подумала я, и мне захотелось смеяться: я сумела одурачить Курта!

— Откуда у тебя шарики, Элин? — спросила мама.

— Мне одолжил их Курт, а потом я выиграла, — ответила я.

— Хорошо, что ты взяла взаймы, а не в подарок, Элин, не то могли бы произойти неприятности, — сказала мама.

Интересно, сочла ли бы мама, что я обокрала Курта, если бы она узнала, что я нарочно проигрываю Марии и братьям? Неужели я должна играть только для того, чтобы у Курта стало больше шариков? Нехорошо поступает Курт, а вовсе не я. «Если я даю кому-нибудь возможность выиграть, то это мое дело», — думала я. Но я решительно не знала, как мне раздобыть шарики для себя.

Интерес к игре у меня пропал, но меня то и дело приглашали, хотя я постоянно выигрывала, и Курт все время увивался возле меня, как кот возле сметаны. Я отлично понимала, что он за мной следит. Иногда он подходил и оцупывал мои карманы. А когда мы, возвращаясь домой, оставались с ним на улице вдвоем, он забирал свои шарики.

Но все-таки приятно было уходить из школы с полными карманами, как будто все это богатство принадлежит мне. Злило только, что Курт следовал за мной по пятам. И я начала подумывать, как бы мне от него избавиться и оставить все шарики себе.

Другие девочки кричали мне вслед: «Мальчишкина девчонка, мальчишкина девчонка!» Они думали, что я гуляю с Куртом. «Ничего-то вы не знаете, вам просто завидно!» — хотелось мне им ответить, но я сдерживалась. Курт был мальчиком из богатой семьи. У его отца — собственный бакалейный магазин. Его мать была всегда так одета, точно собралась в гости; она была единственной «воскресной дамой» на Слоттсскугсгатан. Они жили в собственном доме. Никто бы не осмелился назвать Курта «девчонкиным мальчишкой». Всех, кого он боялся, Курт угощал конфетами. Если бы я знала, как заставить его бояться и меня, я бы непременно это сделала.

— Остальное ты можешь взять взаймы, здесь девять штук, — сказал он, отобрав у меня две дюжины шариков.

* * *

Все считали, что шарики принадлежат мне, и я была рада хоть этому. Меня нисколько не огорчало, что мне приходится ходить в поношенных платьицах, которые подарила маме семья, где она в молодости служила в прислугах. Мама стирала и убирала еще в одной квартире, и там она получила по паре башмаков для себя и для меня. Я ходила в огромных башмаках, и мне все было нипочем. Но я боялась, как бы Курт не рассказал, что шарики принадлежат не мне, а ему! Никому не было известно, что я играю для него. Даже маме я стыдилась в этом признаться. И я делала вид, что для меня нет ничего интереснее, чем играть в шарики и выигрывать.

Зато в школе во время уроков, например на уроке естествознания, я часто оказывалась не в состоянии слушать, что говорит учитель — настолько моя голова была занята мыслями о Курте и шариках. Часто я представляла себе: как-нибудь темным вечером на Слоттсскугсгатан я так его напугаю, что он выронит все свои шарики и, закричав от ужаса, убежит без оглядки. А я подберу шарики и уж больше не отдам ему. Или нет! Его шарики я оставлю ему, а сама возьму у Марии, заставлю его со мной играть и вы-

играю у него все шарики до последнего, так что у него ничего не останется. И тогда ему придется просить у меня взаймы.

Но всего этого мне казалось мало. Я хотела бы превратиться в дикую кошку; подстеречь его, спрятавшись за кустом, и, когда он пойдет мимо, прыгнуть на него и глубоко вонзить в него когти. И я наслаждалась, представляя себе его трясущиеся руки, мертвенно бледное лицо. Но если в такой момент мне случалось взглянуть в его сторону, мне становилось его жалко. Нет! Хватит с него, если он лишится всех своих шариков.

Это сделалось моей единственной целью, единственным желанием: лишить Курта шариков! Пусть вернутся те шарики, что сейчас наполняют его мешочки, к тем, кто их проиграл. Сам Курт играл только с теми, кто был моложе, слабее его. Глупый Калле согласился с ним поиграть, и Курт выиграл у него все шарики. До чего мне хотелось научить других детей так играть, чтобы они смогли обыграть Курта! Марию я уже выучила, и ей это удавалось. Я представляла себе, как в один прекрасный день мы приведем Курта к себе во двор, обыграем его, и он ничего не сможет поделать. Он будет стоять пристыженный, а мы станем показывать на него пальцами. Уж после этого мы от него наверняка отделаемся!

Но вышло иначе. Курт имел обыкновение во время уроков пересчитывать свои шарики. Он то и дело перекладывал их из мешочка в мешочек и все считал. Учитель уже несколько раз делал ему замечание и в конце концов строго-настрого запретил этим заниматься. Но уже на следующий день Курт позабыл о запрещении и, пересчитывая во время урока шарики, уронил один из них на пол. Тут ему пришлось подойти со своими мешочками к учителю и положить их на кафедру. Я видела, что Курт очень испугался за свои шарики, но он еще надеялся получить их после урока обратно. Однако учитель запер их к себе в ящик, и там они остались до конца занятий. Никогда я не видела Курта в таком смятении, как в тот день. Ни на один вопрос учителя он не мог ответить. Когда мы уходили домой, он потребовал, чтобы я отдала ему все шарики, какие у меня были. И он еще собирался залезть ко мне в карман и проверить, не осталось ли там чего-нибудь. Но я сама вынула последние оставшиеся у меня шарики и швырнула их на землю. Ему пришлось их подобрать. Я пошла прочь.

Я считаю, что учитель поступил правильно. И я была очень рада, что мне не придется больше возиться с Куртом и с его шариками. Я вообще не хотела больше возиться с шариками.

Да, я настолько была благодарна учителю, что мне захотелось слушать внимательнее и учиться прилежнее, чем я училась до сих пор. Я так хорошо буду отвечать уроки и писать классные работы, что учитель останется мною доволен. И я поставила перед собой новую цель и хранила ее в полной тайне: я стану лучшей ученицей в классе.

Заранее предвкушая успех задуманного, я так радовалась, что мне хотелось прыгать за партой. Но нужно было сидеть очень тихо. Я не буду смотреть на Курта. А если он сам ко мне подойдет и снова предложит взаймы шарики, я отвечу ему презрительной гримасой и пройду мимо. И даже если он явится к нам во двор, предлагая с ним поиграть, и станет угощать конфетами, я молча уйду домой и примусь за уроки. Я знала, что мама и папа только рады будут и похвалят меня. Учитель тоже, может быть, меня похвалит и погладит по голове. «Элин становится совсем взрослой девочкой», — может быть, скажет он и поручит мне сделать в классе доклад, как это делают девочки в старших классах. «Восхитительно! — как говорит фрёкен Персон из галантерейного магазина. — Восхитительно!» Перед войной фрёкен Персон побывала в Париже, она умеет так изящно отгибать мизинец, когда ей нужно что-нибудь взять. «Восхитительно! Восхитительно!»

Поставив перед собой эту новую цель, я почувствовала себя совсем другой Элин. Я словно переродилась. Позабыла и Курта и его нарядную маму. Теперь я уже не проводила столько времени на улице, как в ту пору, когда играла в шарики и изо всех сил старалась выигрывать. И уроки мне давались теперь значительно легче. К самой себе я стала относиться с большим вниманием: привела в порядок, насколько было возможно, свои платья, стала носить в волосах красный бант и чистила башмаки, не дожидаясь, когда мама напомнит мне. Теперь я предпочитала проводить время среди взрослых и охотно бегала по поручениям фрёкен Персон, потому что у нее можно было поучиться, как себя держать и как разговаривать. Фрёкен Персон очень любила рассказывать о Париже, и мне хотелось научиться говорить точь-в-точь как она. «Страшно интересно от начала и до конца, — мечтательно говорила фрёкен Персон и так скла-

няла голову набок, что ее ухо касалось боа из перьев, с которым она никогда не расставалась.— Буквально каждая деталь очаровательна, элегантна... ах, Париж!..»

Но произносить вслух такие красивые слова я еще не отваживалась.

Не потребовалось особого труда, чтобы стать первой ученицей в классе. Мне даже кажется, что я занималась дома не больше, чем прежде. Зато в классе я чаще и усерднее поднимала руку, когда учитель спрашивал. Другие ученики, достигшие некоторых успехов, к весне становились бледными, вялыми, они часто пропускали занятия, страдали головными болями, быстро утомлялись во время уроков. Когда в классе бывали письменные работы, я замечала, что другим как будто очень трудно думать. Но именно на письменных работах я и выказывала наибольшее рвение. Это выходило само собой. Я видела, что учитель мною доволен. Он поручил мне сделать доклад. Казалось, что мне удастся все, чего бы я ни захотела.

Я не считала, что поступала нечестно по отношению к своим товарищам, принимая помощь от мамы, например когда готовилась к докладу. Я прочла свой доклад маме по крайней мере раза два. Она подбадривала меня как только могла. Иначе я, может быть, и не отважилась бы выступить с ним в классе. И всякий раз, когда я писала письменную работу, я знала, что мама в эту минуту думает обо мне.

Мама очень радовалась моим успехам. Она, конечно, не забыла ни про дядю Янне, ни про войну, но теперь больше разговаривала со мной о моих школьных делах. И даже за судьбу будущего ребенка она как будто меньше волновалась. Мне же рождение маленького братца или сестрицы, крошечной, как кукла, представлялось новым развлечением. Мария, после того как мы перестали с ней играть в шарики, снова занялась своей куклой. Хотела нашить ей новых платьев, но у мамы для этого не оказалось лоскутков. Все лоскутья ушли на починку наших платьев. Пришлось обратиться к фрёкен Дитмар, которая жила у нас на чердаке.

В ту весну у нас произошло много еще разных событий. Но я настолько была поглощена школьными занятиями, что ничего не видела вокруг себя.

Если бы мама не говорила со мной о папе, я бы вообще ничего не заметила. А сам папа не любил о себе говорить.

Он не читал уже столько книг, сколько прежде, это я видела. По субботам он теперь приносил из библиотеки не больше одной-двух. Чаще стал разговаривать с мамой о политике, о России, о забастовках. По воскресеньям бывал дома мало: ходил на собрания, а кроме того, ему приходилось и добывать продукты.

Мама теперь не могла больше ездить за продуктами к нашим родственникам в деревню, и это пришлось делать папе. Один раз он возвратился с маслом и мясом, в другой — с яйцами, мукой, салом; оба раза привез немного молока, лепешек и еще кое-чего. Все это он или выменивал на такие вещи, каких нет в деревне, или зарабатывал: чинил крестьянам колодцы и молотилки. Когда в воскресенье вечером он возвращался из деревни, нагруженный продуктами, мама очень радовалась. У него же самого всегда был такой измученный вид! Ему казалось, будто он ходит побираться. Никогда прежде не приходилось ему стоять в очередях, добывать продукты — это всегда делала мама. И с каждым днем силы его слабели.

Он раздражался, когда мы мешали ему читать или разговаривать с мамой. А говорить он стал больше, чем раньше. Темнело позже, мы дольше оставались на улице, а когда, наконец, укладывались спать, родители наши, усевшись у кухонного стола, принимались за чтение. До нас доносились их приглушенные голоса. Я старалась вслушиваться, но меня быстро одолевал сон.

Ах, мне следовало бы быть внимательнее в ту весну! Но ведь я не знала, что мне никогда больше не придется слышать, о чем разговаривают мои родители, сидя вместе за кухонным столом, на котором лежат газеты...

* * *

Однажды вечером папа не возвратился, как обычно, после работы домой. Мама ждала его с обедом. Время шло, мама нервничала, но ничего не говорила. Пришлось нам пообедать одним. Потом мы опять вышли гулять. На улице мы услышали от одного мальчика с соседнего двора, что накануне вечером на площади Йернторгет произошло столкновение рабочих с полицией и что, возможно, сегодня вечером повторится то же самое. «Нашего папы там, наверное, нет», — подумала я. Впрочем, он как-то рассказывал о рабочих в России, которые вышли на улицы против по-

лиции и солдат, а мама на это заметила, что, если бы состоялась демонстрация против Хунгершёльда, она охотно приняла бы в ней участие.

— Пошли-ка и мы туда! — шепнул мне Калле. — Бежим!

Я велела Марии взять Артура и вернуться к маме, а мы с Калле помчались в город. Когда мы дошли до площади Мастхюггсторгет, там толпился народ. Больше было мужчин. Раздавался гул голосов. Некоторые что-то громко выкрикивали, заглушая других. «Долой Хунгершёльда! Долой спекулянтов!» — разобрали мы. «Долой правых!»

Калле схватил меня за руку. Мы не собирались здесь оставаться и попытались пробраться на Первую Лонггатан. Мальчишки небольшими стайками сбегали вниз по склону у церкви Йоханна, а со стороны Стигберггидена двигался целый поток людей.

Мальчишки кричали: «Камнями их! Камнями!» В ту же минуту я увидела посреди улицы, там, где проходит трамвайная линия, конных полицейских. Несколько притаившихся в кустах мальчишек принялись швырять в них камнями. Я потащила Калле за собой, и мы свернули на Вторую Лонггатан. Там тоже было полно народу. Я всегда боялась этой темной улицы, и мама не раз предостерегала меня против пьяных, которые выходят из кабачков.

Но вот полицейские направили коней прямо в толпу на площади. Мы вместе с другими детьми оказались в самой давке; нас втиснули в боковую улицу, и мы не могли двинуться. Мне казалось, что я перестала ощущать землю под ногами. «А что если полицейские поедут по этой улице? — подумала я. — Надо укрыться где-нибудь в воротах».

— Идите домой, дети! Нечего вам здесь делать! — крикнул нам какой-то толстый старик.

— Да, да, вас здесь могут задавить, — сказала старая дама в черной шали, спустившейся ей на затылок.

— Хорошо бы ее самое задавили кстати, — заметил старик. — Только путаются под ногами.

Калле вцепился в меня, и мы с ним прижались к стене какого-то дома. Тут же в воротах стояли женщины и дети. Протиснуться к ним нам не удалось, и мы стали пробираться вдоль стены. Так выбрались мы на Йернторгет. Народ бежал по площади, и мы побежали вместе со всеми.

Со всех сторон раздавались шум и крики. Мы увидели, что полицейские стараются загнать толпу на Линнегатан и Хагагатурна. Лошадиные копыта звонко били по камням

мостовой. Удары отдавались в стеклянных витринах. Кто-то швырнул в одного из полицейских жестяной, лошадь испугалась и встала на дыбы. И это происходило на аристократической улице Линнегатан!

— Смотри, смотри, они на крыше! — возбужденно прошептал Калле. Мы увидели людей, которые перепрыгивали с крыши одного дома на крышу другого. Калле схватил меня за руку и крикнул:

— Смотри! Смотри туда! — И он показал в сторону Аллеи.

От Хаги к Пустервику, быстрые как ветер, мчались мальчишки. И мы увидели, как они натягивали между деревьями стальную проволоку. Со стороны площади из-за угла спешили полицейские с дубинками в руках, и другие мальчишки швыряли в них камнями откуда только было возможно. Калле захохотал и запрыгал от восторга. Мальчишки исчезли так же быстро, как появились, но камни продолжали лететь в полицейских. Я испугалась, как бы Калле не вздумал увязаться за ребятами, — ведь он такой сорванец! — и поспешила снова увести его на Вторую Лонггатан.

И вот как раз, когда мы поравнялись с воротами, над которыми была вывеска «Контора» и еще что-то, из этих ворот вышел наш папа. Сначала он нас не заметил. С ним было еще несколько человек, и мы хотели спрятаться от него и убежать. Но тут один из его товарищей сказал:

— Смотри-ка, Ларссон! За тобой явились твои дети!

Папа испуганно взглянул на нас, но промолчал. Я хотела сказать, что нас прислала мама, и не могла вымолвить ни слова. Калле оказался храбрее и как ни в чем не бывало выпалил:

— Папа, иди домой обедать.

Все расхохотались.

— Вот это славно! Ты хороший парень! — сказал один из папиных спутников. Папа взял нас за руки, и мы пошли.

По дороге домой мы рассказывали ему обо всем, что видели, но папа молчал.

Когда мы поднимались по лестнице, я думала: что-то скажет мама. Но в передней мы услышали, что она не одна. Раздавался смех — значит, все в порядке.

У мамы сидели фру Свенссон и еще одна женщина. Их мужья тоже ушли на демонстрацию. Они знали, что сегодня на улицах были столкновения с полицией. Демонстрации происходили и на некоторых фабриках. Когда мы вошли, они спросили у папы, не бастуют ли верфи.

— Съешь бутерброд и сейчас же иди спать,— сказала мама Калле, прежде чем папа успел ответить на вопрос.— Иди садись к столу,— продолжала она, обращаясь к папе.— Ведь ты сегодня целый день ничего не ел, наверное, совсем голодный.

— Мы выпили по кружке кофе, и лепешки у нас были,— возразил папа.

— Да, это единственное, что можно получить без талонов: лепешки, твердые как камень, и кофейную бурду! — возмутилась фру Свенссон.— Ничего удивительного, что у людей в конце концов лопается терпение. Ну, спокойной ночи! — И обе гостьи ушли.

Посторонние не должны присутствовать, когда семья сидит за стол. Сейчас никто не в состоянии угощать других, если только не приходит голодающий, как это было с Томсоном, старым Томсоном, другом бабушки, который некогда помог дяде Янне устроиться в его первое плавание.

— Им очень хотелось услышать твое мнение о забастовке,— сказала мама, ставя перед папой разогретый обед.

— Я это понял. Боюсь, однако, как бы все это не кончилось плохо для рабочих. Те, другие, слишком сильны. У них — все, у нас — ничего.

— И мы в их власти, вот что плохо,— сказала мама.

Папа замолчал и принялся за еду. Когда он упомянул о других, я сразу же вспомнила полицейских, хоть знала, что он имеет в виду директоров и прочих хозяев. Мне не терпелось рассказать о том, что я видела сегодня на улицах.

Когда я заговорила, мама быстро взглянула на папу, но тут же снова заработала иглой.

— Если бы народ захотел, он расправился бы с полицейскими,— сказала я.— Все были так злы!

Сейчас я чувствовала еще большее возбуждение, чем там, на площади. Тогда мне все время приходилось следить за Калле. А сейчас мне казалось, что я все еще слышу цоканье конских копыт о мостовую, крики толпы на улицах и эхо, отражающееся от стен домов.

— Скажи-ка,— перебил меня папа.— Ты не преувеличиваешь?

Я так удивилась, что замолчала.

— Зачем бы она стала это делать? — возразила мама.

Папа ничего не ответил, и я возобновила рассказ. Я говорила лишь о том, что сама видела и слышала. Вероятно, папа боялся, что мой рассказ взволнует маму, но мама хотела знать все подробности. Она перестала зашивать штаны Артура, опустила их на колени и слушала.

— Каково-то детям в русских городах,— проговорила она, устремив взгляд в пространство.— По улицам, где они играют, проходят огромные демонстрации... Люди толпятся на тротуарах. Народ идет все вперед и вперед. Но там не бросают камни, как здесь, а стреляют. А как же дети?

— Да, революция! — вздохнул папа.— Многим она обходится дорого. Стоит жертв. Немалых жертв.

— Война стоит еще больших жертв.— Мама опять принялась за шитье.— Ступай, Элин, ложись спать,— кивнула она мне.

Когда я вышла, дверь осталась приоткрытой. Родители долго молчали. Но перед тем как уснуть, я слышала, что папа снова заговорил о забастовке и о переговорах рабочих с хозяевами.

— Директора угрожают в случае забастовки сократить производство, ссылаются на недостаток материалов,— говорил папа.— Многие рабочие могут лишиться работы...

Кажется, мама ничего ему не ответила.

В ту пору я еще не знала, что такое безработица. Взрослые часто про нее говорили, время от времени можно было слышать, что кто-то потерял работу. Но безработных становилось все больше. Мама прочла в газетах, что возникла угроза общей безработицы и что промышленным рабочим придется вернуться к земледелию.

Папа всегда был металлистом и еще ни разу не оставался без работы. Ну а если человек уходит с работы в одном месте и тут же получает ее в другом,— что ж тут особенного? «Если бы папа остался без работы,— думала я,— то он смог бы читать свои книги, сколько ему захочется, и ходить на всякие собрания».

Многие предприятия бастовали. Каждый день происходили демонстрации и в промышленных городах и даже в

деревнях и селах. В Нурланне рабочие совершили налет на магазин, так как у них кончились хлебные талоны. Там тоже устраивались демонстрации против нового правительства.

— Такое же правительство, как правительство Хунгершёльда,— сказала мама, складывая газету.— Рабочие должны брать пример с России.

Началась забастовка и на верфях. Директора не принимали ультиматум рабочих. Эти важные господа не верили, что рабочие осмелятся бастовать.

То был первый случай, насколько я помню, чтобы папа в будни оставался дома. Мы уходили в школу, а он оставался на кухне вместе с мамой. И так день за днем. После обеда к нему заходили товарищи поговорить. И, хотя он часто и подолгу отсутствовал и днем и вечерами, оттого что он не ходил на работу, все было как-то не так. Да и сам он точно совсем другим человеком стал. По воскресеньям он уже не играл с нами, как бывало прежде, и мне не раз приходилось слышать, что соседки жалеют маму,— ведь она должна родить ребенка в такое тяжелое время.

— Все еще может измениться к лучшему,— отвечала им мама.

Дни шли, а забастовка продолжалась. Вначале мама даже рада была, что папа дома. Он помогал ей во всем, в чем только возможно. Чинил наши игрушки и мастерил новые; заново покрыл лаком линолеум и прибил гвоздями отставшие куски; сделал новую длинную палку для щетки, чтобы маме, подметая пол, не приходилось слишком нагибаться. К колыбели он по просьбе мамы приделал высокие ножки и хотел еще починить детскую коляску и заново ее покрасить. Он уже начал было ее разбирать, и мальчики ревностно ему помогали. Но тут папа заболел.

О большой забастовке 1909 года я в то время знала мало. Ведь когда эта забастовка происходила, мне было всего лишь четыре года.

Позже мама рассказывала, что папа был очень подавлен неудачей забастовки. Он не проявил достаточно стойкости, хотел даже уехать в другую страну, как это сделали многие рабочие. Но мама воспротивилась. Он не верил, что социализму посчастливится в старой Швеции, а мама никогда

не верила, чтобы они могли обрести счастливое будущее в Америке. «У тебя не такие локти и кулаки, какие там нужны»,— говорила она ему.

После той забастовки папа в течение почти восьми лет имел постоянную работу. Рабочим удалось снова вдохнуть жизнь в свои профсоюзы. Вновь стали проводиться собрания, новые члены вступали в союз. Возрастало число тех, кто голосовал за социалистов. Молодежь говорила, что неудача с забастовкой — временное явление, что теперь начнутся успехи. Она вела агитацию за иную политику. И похоже было, что она права: все больше и больше социалистов попадало в риксдаг и муниципалитет.

Но то, что произошло в этом году, явилось для папы радостной неожиданностью; он думал, что теперь-то по-настоящему развернется работа в профсоюзной организации. В нее вступали все новые и новые члены, и на подготовку и проведение собраний уходила уйма времени. Крупные демонстрации следовали одна за другой, одна за другой вспыхивали забастовки, и директорам пришлось уступить. На многочисленных рабочих собраниях ораторы высказывали требования рабочих. Когда мама читала папе вслух сообщения в газетах, у папы был такой вид, словно ему трудно поверить, что все это правда.

Весна выдалась холодная. В середине мая по вечерам бывало так холодно, что можно было замерзнуть, если долго оставаться на улице. Когда папа отправлялся на собрание забастовщиков или на какое-нибудь другое собрание, мама говорила ему, точно маленькому мальчику: — Возвращайся скорее домой, не болтай подолгу на холоде!

Забастовка длилась уже три недели. Еды в доме у нас почти не было, у мамы кончались последние деньги. Теперь мне даже непонятно, как мы тогда жили. Может быть, папа что-нибудь продавал или закладывал? Так делали другие. Я вспоминаю, что он пытался продать кое-какие из своих книг, но ему за них ничего не давали.— Если детская коляска получится у тебя хорошо, мы ее продадим,— говорила мама. Однако папа не спешил с починкой.

В одно из воскресений папе предстояло поехать в деревню и привезти хоть немного продуктов. У него были три бутылки керосина, взятые взаймы. Сначала хотели отправить меня вместе с ним, но потом мама раздумала, сочла,

что у меня нет подходящей одежды, чтобы показаться нашим деревенским родственникам. Мама не то боялась этих родственников, не то гордилась перед ними.— Смотри не бегай там слишком много,— наставляла она папу.— И помни, когда человек голоден, у него ничего не ладится! Поэтому если тебя будут угощать, не отказывайся. У них-то там всего вдоволь.

Мама и тревожилась и радовалась, когда папа уехал. Она радовалась тому, что он хотя бы один день сможет поесть досыта и ему не придется сидеть голодным дома или слоняться по городу. Папа любил деревню. Там всегда увидишь что-нибудь новое. Любил он медленно идти по краю проселочной дороги, всматриваясь в раскинувшиеся по обе стороны от нее поля. Но мама беспокоилась: как-то у него там все выйдет? — Главное,— сказала она ему,— не зайкйся о забастовке. Крестьяне питают уважение к хозяевам: люди, которым хорошо живется, не склонны думать скверно о богатых.— Кроме того, мама знала, что папа очень нервничает без своей обычной, каждодневной работы, в постоянном напряжении и ожидании, слыша вокруг себя жалобы голодающих.

То воскресенье показалось мне очень длинным.

Было уже поздно, когда он вернулся домой. Мария и мальчики выпросили себе позволение дожидаться папу, но в конце концов не выдержали и легли спать. Папа привез с собой, сколько смог дотащить. Здесь были хлеб и мука, картофель, свинина, масло, молоко, яйца. Мама даже прослезилась. Молока мы не видели уже больше недели, яиц и масла и подавно. Даже маленьких разбудили, чтобы они могли полюбоваться на все это великолепие.— Целая колбаса, я так ее люблю! — воскликнул Артур. Каждому захотелось получить на ужин яичко. Мама приготовила нам яичницу на масле, мы жадно ели пирожки и колбасу. После этого мама сказала: — Больше ваши желудки не выдержат. Марш в постель! Спите спокойно.

Папа опустил на диван. От кофе он отказался, выпил только сырой воды. Суррогатным кофе его угощали всюду, куда он заходил. Но он очень промерз.— Ты много ходил и, разумеется, вспотел, а потом простыл, когда ехал в поезде и в трамвае,— сказала мама.— Непременно выпей на ночь чашку горячего молока. Ну, как ты съездил?

Папа рассказывал без особой охоты. Так было странно видеть живущих в довольстве людей, в то время как рабо-

чие едва-едва перебиваются с хлеба на воду. Ему казалось, что он не имеет права набирать много продуктов, когда его товарищи в городе рады, если хоть в воскресенье им удастся съесть лишний кусочек хлеба. Крестьяне разговаривают о постройке новых домов и амбаров — они же могут продавать излишки. Про забастовки они читали, но ничего не поняли. Советовали папе перебраться в деревню и заняться починкой сельскохозяйственных машин и велосипедов.

— Снесу-ка я кусочек свинины и яйцо старушке Дитмар.— проговорила мама как бы про себя.

Ночью у папы начались боли в животе. Пришлось маме встать и положить ему компресс. Боли несколько утихли, но на следующий день он чувствовал себя так плохо, что не мог подняться.

Папа пролежал долго. Он кашлял и не мог есть. Мама хотела послать за доктором.

— А чем мы ему заплатим? — сказал папа.— И что мы станем делать, если он пропишет мне диету? Разве лучше, если я отправлюсь в больницу и схвачу там воспаление легких? Сущее несчастье для человека — остаться без работы. В этом вся беда.

— Если будешь голодать, ты не поправишься,— возразила мама.

В те времена, когда рабочий заболел, у него в доме поцарялись нужда и горе. А мама не могла уже зарабатывать стиркой или уборкой. Кажется, папины товарищи собрали для него денег среди тех, у кого еще была работа. Они же прислали и доктора. В один прекрасный день явился молодой врач, который отказался от платы и не жаловался на забастовку.— Мы его вылечим,— сказал он маме уходя, но когда он упомянул о язве желудка, мама побледнела как полотно.

Это было в июне. Занятия в школе уже кончились. А забастовка продолжалась.

Директора боялись, как бы не повторился 1909 год, и стремились положить конец борьбе рабочих. Но часть из них — те, кто не был так силен и упорен, как директора городских заводов,— согласились повысить оплату рабочим на двенадцать эре в час, поскольку все вздорожало. Работа на верфях всегда плохо оплачивалась, и рабочие, когда начали в январе переговоры с дирекцией, требовали только

восемь аре прибавки. Однако директора или отвечали отказом, или вообще ничего не отвечали. Наверное, они своими заплывшими жиром мозгами решили, что рабы станут работать лучше, если хорошенько поголодают. Из их высказываний в печати можно было понять, что для них не существует ничего, кроме голого расчета. «Наши подсчеты и расчеты»,— писали они. Хорошо им заниматься подсчетами себе на благо! В одном только господа просчитались: не думали они, что рабочие выдержат, выстоят все как один человек. Недели шли за неделями — пять недель, шесть недель,— а работа не возобновлялась. Мастерские пустовали, суда стояли негруженными.

Папины товарищи приходили его навещать. Они садились вокруг его кровати и обсуждали положение, точно на собрании. Они оставляли маме несколько крон — забастовочное пособие,— которые нужно было растянуть до следующего раза.

Хуже всего — это лежать, так вот, без пользы, и гладить чужой хлеб,— говорил папа.

— Есть крысы, которые гложут гораздо больше,— возражала мама.— Это похуже.

Но однажды товарищи пришли радостные, улыбающиеся.— Директора пожелали возобновить переговоры,— сообщили они.— Теперь тебе надо поскорей подняться на ноги! — Мне придется еще научиться ходить,— улыбнулся папа в ответ.— Что ж, попробую!

Прошла еще неделя. Когда они явились в следующий раз, папа сидел у кухонного стола и читал. Перед ним стояла кружка молока.

— Начинаешь с пищи младенцев! — засмеялся один из папиных товарищей.— Видно, тебе еще нужно подрасти! Пока не достигнуто никакого соглашения,— сообщили они. Но директора знают, что осенью предстоят выборы. И они не уверены, что правые одержат верх.

— Тогда мы выдвинем требование восьмичасового рабочего дня,— сказал папа.

— Ты явно питаешься не одним только молочком! — улыбнулся один из гостей, подняв указательный палец.

Во второй половине лета переговоры возобновились, и папа уже смог принять в них участие. Господа из акционерного общества все считали и высчитывали и всячески нажимали, но им хотелось скорее покончить с забастовкой.

А рабочие истомились, гуляя без дела, как бароны. «Нужно много сил, чтобы вести голодную войну,— думали рабочие.— Лучше некоторое время поработать, а потом начать новую кампанию. Там, глядишь, и политическая ситуация изменится».

Прошло еще недели полторы, и рабочие согласились на жесткие условия директоров: они будут получать в час на четыре эре больше — в среднем в зависимости от квалификации,— два эре им прибавят на дороговизну жизни, одно эре они получают перед выборами в сентябре. Вряд ли это можно было назвать победой. И все же многие радовались, и мама в том числе.

В понедельник папа должен был выйти на работу. В воскресенье он закончил детскую коляску. Коляска стояла во дворе на солнце, и мальчишки крутились около нее; им очень хотелось бы самим красить коляску. Мария сидела с куклой на пороге дровяного сарая. Вид у нее был задумчивый и мечтательный, словно коляска предназначалась для ее куклы, как сказала мама. Я помогала маме готовить. У нас был настоящий воскресный обед: свежая макрель с картофелем и молочный суп. Такого обеда у нас уже давно не было.

Папа вошел со двора с коляской и тяжело опустился на стул.

— Боюсь, что завтра от меня будет мало пользы,— заметил он.

— Но тебе не придется ехать в деревню, чинить там велосипеды,— сказала мама.— А силы восстановятся. С работой придет и здоровье. Какую замечательную коляску ты сделал! Нам не купить бы лучшую и на весь недельный заработок.

— Скажут, пожалуй, что она слишком хороша для сына пролетария. Но именно такая ему и нужна,— ответил папа.

Мама подошла к нему, провела рукой по его затылку, желая удостовериться, не вспотел ли он.

— Хотела бы я знать, как чувствуют себя сегодня господа из акционерных обществ, отправляясь в своих автомобилях за город. Ведь вчера они много интересного для себя могли прочесть в газетах.

— Если только они читают наши газеты,— заметил папа.

— Ну не наши, так другие. Они прекрасно видят, как обстоит дело. Только притворяются, будто не понимают. Воображаю, как эти высокопоставленные господа кипят от негодования, когда узнают, что рабочий не дал себя согнуть!

— Неизвестно только, научит ли их это чему-нибудь,— покачал головой папа.— У них в головах слишком много цифр, и слишком много у них денег.

Мама села к столу и потянула к себе газету. Ей не пришлось долго искать то, что она хотела прочесть вслух:

«Есть что-то величественное в молчаливой и упорной борьбе, которую вели товарищи на заводах Иэта и Линдхельмен. В наше ужасное время они смогли выдержать так долго и не уступить. И это не ради удовольствия вести борьбу, а ради права на жизнь. Они знали, что рано или поздно им придется вступить в борьбу, потому что дирекция никогда бы не дала им приличной оплаты по доброй воле. Трудно себе представить, что еще находятся предприниматели, отказывающие своим рабочим в прибавке, которая все равно далеко не соответствует общему вздорожанию жизни. Директора не постыдились довести дело до открытой борьбы, чтобы только не дать рабочим этой незначительной прибавки. Они были настолько бесстыдны, что пошли на это, но им не удалось избежать осуждения. Общественное мнение клеймило их, предпринимателей, как виновников этой голодной войны».

— На что им стыд и совесть,— сказал папа.— Правительство на их стороне. Если бы все кончилось иначе, если бы мы потерпели поражение, они не постеснялись бы внести наши имена в черные списки и вышвырнуть нас за ворота. И, как знать, может быть, некоторых из нас они уже и внесли в эти черные списки как социалистов. Они думают, что власть их нерушима на все времена. Однако нас теперь в союзе металлистов уже пятьдесят пять тысяч; только за этот год прибавилось девять тысяч новых членов. Теперь и мы можем сказать свое слово.

Мама отложила газету и встала.

— Да, право на жизнь,— задумчиво проговорила она.— Право иметь у себя на столе тарелку супа. Этого права надо добиваться любой ценой.

Этим летом мама как-то сказала: «Мы еще счастливые!»

Я подумала, что мама, конечно, права — ведь это же все-таки мама, — и тем не менее ее слова меня несколько удивили. Ведь счастливые — это богатые люди, те, кто женится и выходит замуж. Я почувствовала некоторую гордость, когда мама причислила к счастливым и нас, но тогда я так и не поняла хорошенько, почему она это сказала.

Теперь я знаю, что она думала о многих других, которые так бедны!.. Нам часто приходилось слышать об одиноких стариках и о целых семьях в Мастхюггете и в Майурне, получающих помощь от «добрых людей» и из кассы для бедных. Они ходят в тряпье, им не на что купить себе еды. То муж болен и не может работать, то жена постоянно больна; иногда кто-нибудь из них пьет, и к тому же у них много детей. Жили эти люди в жалких, тесных хибарках, где почти не было мебели. Дети их ходят побираться. И это такое обычное явление! Трудно даже представить, что должно быть иначе. Многие из бедняков даже не жалуются на свою судьбу. И стараются только не попадаться людям на глаза, точно заранее хоронят себя.

Да, мы, конечно, еще счастливые.

И я думаю, что в то лето мама действительно чувствовала себя счастливой. Когда забастовка кончилась и папа снова начал каждый день ходить на работу, она сделалась такой спокойной, как будто выздоровела от долгой болезни. Я помню, что в эти дни она все время чему-то радовалась, даже тому, что скоро появится на свет маленький, — она сама говорила об этом соседкам.

Мама надеялась, что война кончится еще до его рождения. В газетах она каждый день читала о мирной конференции социалистов в Стокгольме. Почти каждый день оттуда поступали сообщения. — Во всяком случае, дело подвигается вперед. И русская революция должна привести к миру, дать возможность всем людям жить спокойно, — говорила она. — Но разве они хотят мира? — возражали ей некоторые. — Как будто все остается на месте, и пока трава вырастет, корова околет с голоду... — На это мама отвечала: — Все люди хотят мира так же, как и мы. Беда в том, что слишком много всяких генералов и министров стоят поперек пути миру: генералы и министры хотят, чтобы народ жертвовал своей жизнью ради их власти и славы.

Наконец маме вручили письмо от брата. Прочитав его, она поняла, что это уже второе письмо, предыдущее, видимо, затерялось дорогой. Она так взволновалась, что вынуждена была опуститься на стул и долго не могла произнести ни слова.— Он не забыл меня, хоть не получал от меня писем,— выговорила она наконец.— А сколько он путешествовал! И как хорошо, что он жив!

Янне писал, что намеревается вернуться на родину и обосноваться там. Письмо было отправлено из одного порта в Южной Америке, оно находилось в пути целый месяц. Мама радостно рассмеялась: — Подумать только! Он в любую минуту может оказаться здесь и в одно прекрасное утро неожиданно к нам явится! Элин, нужно навести в доме полный порядок. Сейчас же принимайся за уборку! Скоро он будет расхаживать взад и вперед по комнате, точь-в-точь как он делал раньше, и рассказывать, рассказывать!.. Подумай, Элин!

Она поднялась со стула и прижала письмо к груди. Оглядела кухню, словно думала, что Янне уже на лестнице и вот-вот войдет. Потом стала серьезной.— Только бы он не попал в конвой или на сторожевое судно: немцы пускают их ко дну,— сказала она тихо.— Ведь каждый день эти негодяи взрывают какое-нибудь судно. Есть же на свете такие варвары! Дай им волю — и мир никогда бы не наступил.

Теперь мама совсем успокоилась. Она получила письмо от Янне! Янне возвращается домой! До самого обеда рассказывала она о том, как они были маленькими, как он ребенком играл в корабли. Мы все убрали и вычистили, как перед праздником, вымыли пол и стулья; потом мама принялась за стены, а мне велела выскоблить шкаф. В этот день никто из соседок к нам не зашел, и мама в конце концов захватила с собой письмо и поднялась на чердак к старухе, чтобы хоть с ней поделиться своей радостью.

Папа, вернувшись домой, застал ее с письмом в руках. Едва он открыл дверь, как она бросилась к нему, размахивая письмо.— О, ты не знаешь, что у нас тут произошло! — воскликнула она чуть не плача.

Неужели папа не обрадовался тому, что дядя Янне возвращается домой? Сначала он ничего не сказал. Как и обычно, после работы он от усталости валялся с ног. Август

выдался такой жаркий! И только поздно вечером, когда жара спала, папа смог немного поесть.

— Что Янне станет делать? — спросил он, когда мама прочитала ему письмо.— Ведь здесь столько ходит безработных моряков, чистый ужас! Судовладельцы выстроили суда в длинные ряды. И в порту тоже плохо. Если он будет просить работы, ему в ответ лишь пожмут плечами.

— Янне без дела не останется, он мастер на все руки,— возразила мама.— Было бы странно, если бы он не нашел себе работы в таком большом городе, как Гетеборг.

— Здесь ходят тысячи и ничего не могут найти.

Но мама была в таком настроении, что ей все казалось возможным.

— Янне, наверно, скопил денег и сможет просуществовать первое, самое трудное время,— сказала она.— Так он всегда поступал раньше. В последний раз он ведь и нам помог.

И она принялась строить планы для Янне, словно он уже вернулся. Вырезала из газет объявления о найме на работу. Ей хотелось убить сразу двух зайцев. В начале этого месяца мне исполнилось тринадцать лет, и она уже поговаривала о том, что осенью меня нужно определить на место. Изо дня в день она твердила папе: — Элин должна обучиться какому-нибудь делу.

Но папа всякий раз отвергал ее предложение.

— Пусть остается дома и помогает тебе по хозяйству,— отвечал он.— А потом она поступит в рабочую школу.

— Элин же слишком велика, чтобы бегать по моим поручениям или играть на улице,— говорила мама.— Она уже может заработать несколько крон хотя бы себе на платье.

— Ее не примут ни в какую мастерскую, она еще слишком мала,— возражал папа.— И на фабрику не возьмут.

— Но мы не пытались. Когда Янне будет искать себе работу, я думаю, он сможет замолвить словечко и за нее.

— А чего бы ты сама хотела, Элин? — спросил папа.

— Я хочу быть дома, когда вернется дядя Янне,— отвечала я.

Все лето мама была здорова и деятельна. И постоянно она была чем-нибудь занята: чинила нашу одежду, мыла, наводила всюду порядок. А кроме того, она учила меня, как нужно вести хозяйство, готовить, и открыла мне много та-

кого, что обычно детям неизвестно. И тогда я убедилась, что я действительно уже взрослая. Оказывается, в этом нет ничего особенного, все гораздо проще, чем я думала.

Оставаясь со мной наедине, мама часто заводила речь о «маленьком существе», которое в себе вынашивала. Голос ее тогда становился таким теплым и нежным. Будущего ребенка она иначе не называла, как «маленькое существо». Словно уже ощущала его у себя на руках или видела его внутри себя. Может быть, мама хотела и во мне пробудить к нему нежность, охоту помогать ей нянчить малютку? Она так увлекательно рассказывала, как нужно ухаживать за такой крошкой. Доставала маленькие платица, сохранившиеся еще от тех времен, когда Артур был совсем крошкой, поглаживала их и шептала: — Что может быть лучше этого?

Мальчики целые дни бегали по улице. Удержать их дома не было никакой возможности. Но оба вели себя отлично, и мне редко приходилось разыскивать их по соседним дворам. — Да, да, они быстро подрастают, — говорила мама. — Как идет время!

Затем возвратилась из школьного лагеря Мария. Она была черная, как негритянка, и с июля так выросла, что ее едва можно было узнать. Щеки ее округлились, но красивые волосы были острижены, и голова стала похожа на мальчишескую.

Войдя в кухню, она медленно огляделась вокруг, взглянула на стены, на печку, на стол. — Неужели здесь так тесно? — удивленно сказала она. Казалось, что Мария за нас сконфужена. Но она тут же подошла к маме, потерлась щекой об ее руку и даже попыталась взобраться к ней на колени.

— Моя маленькая куколка, — сказала мама, — хорошо ли ты провела лето?

— Да, — прошептала Мария и засияла, как солнце. — Я купалась пятьдесят четыре раза.

Ей посчастливилось провести лето на шхерах, она покаталась на настоящем рыбацком судне, привезла с собой мешочек ракушек. Но я не испытывала к ней зависти. Я всегда помнила: Мария слабенькая, ей следует жить летом в лагере, чтобы поправиться, а не оставаться дома при маме. «Я намного старше Марии, — думала я. — Мама не называет меня «маленькой куколкой», а папа — «маленькой девочкой». Я могла бы уже, если бы захотела, начать работать на фабрике, а Марии нужно еще три года учиться в школе».

Вскоре после возвращения Марии наступила осень, и Калле пошел в школу. Вот какой он уже стал большой!

Дни проходили за днями, а дядя Янне все не приезжал. Мы ждали его каждое утро, каждый вечер. Если мама слышала шаги во дворе или на лестнице, она застывала на месте и напряженно прислушивалась. Каждый вечер папа с мамой обсуждали предстоящие выборы, но дядю Янне они в разговорах никогда не упоминали.

Ежедневно заглядывал кто-нибудь из соседок: узнать, как у мамы дела, не нужна ли ей помощь, не пора ли бежать за повивальной бабкой,— ей стоит только слово сказать.

— Давно, давно пора,— говорили соседки и озабоченно покачивали головами. Но мама только смеялась: — Не знаю, в чем дело, но живот у меня такой большой, точно там двойня.

— Помилуй нас бог! — ужасалась фру Свенссон.— Это было бы несчастьем по таким временам.

— Мне остается только поступить так, как поступают англичане, когда идет дождь.

— Как же они поступают?

— Предоставляют дождю идти,— улыбалась мама и подмигивала.

И тогда фру Свенссон закрывала рукой свой беззубый рот: она тоже не могла удержаться от смеха.

Но в один прекрасный день все кончилось. Мы и оглянуться не успели.

Накануне самого дня выборов папе, вместо того чтобы отправиться утром на работу, пришлось бежать за повивальной бабкой. Подросли фру Клинт и фру Андерссон. Мне велели захватить с собой Артура и подняться к старухе на чердак. А Марию и Калле мама сама отправила в школу.

Старая фрёкен Дитмар извлекла на свет божий массу таких диковинных вещей, каких мы никогда не видывали. И еще она рассказывала разные истории про своего отца и про его плаванья. Он был морским капитаном и водил по морям крупные парусные суда, а домой привозил маленьких божков из слоновой кости, тонкий фарфор, шкатулки, входившие одна в другую, птиц, оперение которых играло всеми цветами радуги, и многое другое. Артур тихо сидел на полу и играл китайскими зверьками и странными чело-

вечками. Много-много всякой всячины было у фрёкен Дитмар, хотя, что можно было продать, она уже давно продала. Пальцы ее красивых рук были коричневого цвета.— Это оттого,— говорила она,— что мне на своем веку пришлось скрутить очень много сигар.— Долгие годы она жила тем, что скручивала сигары для одного табачного торговца. Но он уже давно перестал приносить ей табак, а сама она не могла двигаться из-за ревматизма.— Он ходил ко мне до тех пор, пока я ему была нужна, давно это было,— говорила она маме.

Матери у нее, можно сказать, не было. Когда ее отец уходил в плавание, мать перебиралась жить к другому мужчине; и так продолжалось все годы, пока, наконец, отец не взял с собой в путешествие и жену. Из этого путешествия корабль не возвратился. Табачный торговец, который вел с ее отцом какие-то дела, оказался единственным человеком, помогшим ей, когда она осталась одна. В то время она еще была красива. Она могла бы выйти замуж за какого-нибудь моряка, гсворила ей мама. Но никто не явился за нее свататься. И ей пришлось крутить сигары.

После полудня поднялся на чердак папа и принес нам кофе с булочками.— Теперь у вас есть маленький братец,— сказал он. Мне позволили спуститься вниз, Артур остался на чердаке играть диковинными вещичками.

Мама лежала, обложенная подушками, вид у нее был какой-то отсутствующий. Она протянула мне руку, но не смогла выговорить ни слова. Маленький уже спал в своей колыбельке. На головке у него торчал черный хохолск, личико было беленькое, и весь он был тоненький, словно выточенный из слоновой кости. И он сжимал два крохотных кулачка.

— Теперь целую неделю ты должна быть примерной девочкой и помогать папе. Мне пока нельзя двигаться,— сказала, наконец, мама.— Он чуть меня на тот свет не отправил, этот разбойник!

Вечером папа ушел на предвыборное собрание и вернулся домой очень поздно. Мама проснулась и попросила, чтобы мы с нею посидели. Папа весь сиял.

— Завтра мы сделаем Брантинга * премьер-министром,— заявил он.

* Яльмар Брантинг (1860—1925) — шведский политический деятель, социал-демократ, премьер-министр в 1920—1925 гг.— Прим.

Мы редко видели его таким возбужденным и счастливым.

— Ну что ж, придется назвать мальчика Яльмаром, — сказала мама.

— Да, можно назвать его Яльмаром. Яльмар Хельге, — согласился папа.

— Элин, тебе хочется, чтобы его назвали Хельге? — спросила мама, и я кивнула.

— Это хорошо, что ты заодно с папой, — сказала она, беря меня за руку. — Для меня же он будет только Яльмаром. Во всяком случае, мы не станем его крестить, хотя его и будут звать Хельге*.

— Крестить, вот еще! — сказал папа. — Он, надеюсь, будет свободным человеком.

Мама кивнула. Она уже утомилась. — Теперь мне надо немного отдохнуть, — прошептала она.

На следующий день опять пришла акушерка и занялась мамой и Хельге. Но папа с утра ушел и вернулся только вечером. Вернулся такой же радостный, как и накануне.

— Вот это выборы! — рассказывал он. — Рабочие голосовали за мир и социализм. Долой рабство! Народ кое-чему научился, его теперь не проведешь.

Он засунул руки в карманы и покачивался на стуле. Папу просто нельзя было узнать.

— Ты не голоден? — спросила мама.

— Тут уж не чувствуешь ни голода, ни жажды, — ответил он и засмеялся.

— Там тебе оставлены щи, отличные щи сварила Элин. И можешь еще съесть манной каши, которую принесла фру Клинт.

— Праздничный обед, — сказал он весело и продолжал рассказывать про выборы.

Всю неделю мне пришлось изображать хозяйку дома: отправлять детей в школу, не подпускать Артура к новорожденному. Мальчики были недовольны, говорили, что я много о себе воображаю. И это действительно было так: управиться с ними троими — нелегкая задача. Но наконец мама поднялась с постели.

В тот самый день, когда она впервые встала, папа, вернувшись домой, принес с собой много газет — все экстренные выпуски.

* Хельге — святой (шведск.).

— Победа на выборах! — выкрикивал он, как заправский мальчишка-газетчик. — Рабочие сделались сильнейшей партией в риксдаге. Важные господа потеряли одну треть своих мандатов. Что ты на это скажешь?

— А ты? Что скажешь на это ты? — повторил он свой вопрос, обращаясь к Хельге, и поднял на воздух его колыбельку.

А спустя еще несколько дней — это было первое октября, — папа опять возвратился домой, не чувствуя ни голода, ни жажды.

— Дело сделано! — он показал нам газеты. — Сформировано новое правительство. Правые сдались. Милитаристам придется прекратить бряцание оружием. Вот это новости, замечательные новости!

— Неужели это правда? — вздохнула мама.

На следующий день я сидела и читала газеты, которые папа принес накануне. Мама и акушерка в это время возились с Хельге. И вдруг я наткнулась на имя Янне. В порт пришло рыбацкое судно, на котором находились оставшиеся в живых из команды шведского парохода, потопленного в Северном море. Некоторые были ранены, их сразу же направили в больницу. Их-то имена и упоминались в газете.

— Мама! — закричала я, вскочив с места и еще раз перечитывая то, что было написано про дядю Янне.

Мама как будто не слыхала. А может быть, она испугается, узнав, что он в больнице?.. Я спрятала лицо за газетный лист. Тогда она спросила:

— Ты что-нибудь там прочла?

Пришлось показать ей газету. Прочитав, она сказала:

— Это мой брат. Но как же мне с ним увидаться?

— Ничего не выйдет, — решительно заявила акушерка. — К нему сходит кто-нибудь другой.

— Может быть, он скоро выйдет из больницы, — спокойно сказала мама, но тут же вынуждена была опереться на колыбель.

Акушерка подставила ей стул: — Сядьте, фру Ларссон. Сейчас мы должны быть такими же благоразумными, какими были до сих пор.

— Я схожу в больницу, — поспешила я предложить.

В воскресенье мы с папой отправились в больницу к дяде Янне. Он ходил, но голова у него была забинтована и

рука в гипсе. А некоторые из его товарищей лежали на койках. И очень много было посетителей. На столиках стояли букеты цветов. Странно было видеть здесь моряков... Никто из них, наверное, и не вспоминал о синих волнах моря.

Дядя был очень рад нашему приходу, но ему не хотелось рассказывать о своем последнем плавании.

— Разве немцы даже не поинтересовались, что с вами стало? — спросил папа.

— Они напали на нас ночью и тут же исчезли.

Разговаривая с нами, дядя Янне все время улыбался. Когда мы объяснили, почему не смогла прийти мама, он кивнул и посмотрел на меня.

— Ты, по-моему, очень похожа на свою мать, — сказал он. — Девочкой она была такая же светловолосая и точно так же краснела без всякого повода!

Мы не могли долго задерживаться, потому что мама просила нас вернуться как можно скорее. И когда мы пришли домой, она потребовала, чтобы мы ей все подробно рассказали. Она спрашивала, смеялась, опять спрашивала. — Я вижу, что он все такой же, хотя столько перенес, — сказала она.

Затем она пожелала еще раз прослушать наш рассказ, то и дело переспрашивала, точно никак не могла запомнить. Наконец опустилась на стул и проговорила как бы про себя: — Янне вернулся!

Прошло еще несколько недель, и снова наступило воскресенье. Я осталась дома совершенно одна присматривать за маленьким братцем. Мама ушла в больницу, взяв с собой Марию и Калле. Для дяди Янне она купила яблок.

С малюткой не было особенных забот. Он все спал да спал. А мне хотелось, чтобы он начал кричать: тогда я смогла бы взять его на руки и носить, укачивая, как настоящая мама.

Я ждала по меньшей мере целый час, пока он шевельнулся. В газете, которая лежала передо мной, уже нечего было больше читать. — Ах ты, соня! — сказала я отчетливо и громко, но это не произвело на брата никакого впечатления. Я зашуршала газетой. Еще раз. Он чуть-чуть пошевелил головкой и продолжал спать. А просто взять и разбудить его я не смела: мама мне строго-настрого запретила.

А что если его перепеленать? Я подождала еще немного, потом ощупала его, не мокрый ли. Нет! Он был сухой и не просыпался.— Несносное ты существо! — проговорила я ему почти в самое ухо, как это делала мама, притворяясь, будто она на него сердится, но тут же рассмеялась. И тут он открыл глаза и взглянул на меня.

Он лежал и смотрел пристально и внимательно. И прежде чем я успела решить, что мне с ним делать, он открыл во всю ширину свой маленький мягкий ротик. Он засмеялся!

Я всплеснула руками, как это сделала бы на моем месте мама. Нет, теперь во что бы то ни стало я должна взять его на руки! Но я успела только снять с него одеяльце. С треском распахнулась дверь, вихрем влетел Калле и затараторил, рассказывая о том, что он видел в больнице. Я пыталась прервать его, но в это время в дверях показалась мама. Калле никак не хотел умолкнуть.

— Мама! — закричала я.— Он сейчас мне улыбнулся.

В один миг мама очутилась около нас.

— Ах ты, маленький плутишка! Так ты вздумал смеяться в мое отсутствие! И это в первый раз в жизни! — восклицала она. Тут вбежала Мария; всем хотелось взять Хельге на руки, но мы только стояли и смотрели на него.

А он двигал ручками вверх и вниз, вверх и вниз, бил пухлыми ножками, точно перевернувшийся на спинку лягушонок задними лапками. И вдруг он опять широко разинул ротик и засмеялся.

Мама даже забыла рассказать мне о своей встрече с дядей Янне.

* * *

В субботу мы ждали дядю Янне. Мы с мамой страшно волновались; прислушивались к шагам на лестнице и во дворе, подбегали то к двери, то к окну. В этот день мы приготовили особенно вкусный обед, и всего было гораздо больше, чем обычно. Мама в первый раз за всю осень сходила на рынок. Ей удалось достать дешевых фруктов, и она сделала яблочный мусс.

Пришел папа. С первого же взгляда нам стало ясно: что-то случилось.

Он прошел к дивану и тяжело опустился на него, не произнеся ни слова. На нас он не смотрел. Казалось, он не знает, что ему делать со своими руками. Сначала он опустил

их на колени и наклонился вперед, затем положил одну руку на стол, но тут же отдернул ее. Стиснул пальцы, потом впился ими в край дивана. Мы следили за ним глазами, но не смели спрашивать. Тут он, наверное, почувствовал, что встревожил маму, и посмотрел на нее.

Я не могла больше сдерживаться.

— Папа, ты заболел?

— Меня уволили,— пробормотал он.

Самое страшное было сказано. И когда мама принялась его расспрашивать, он все рассказал. На верфях мало работы, с понедельника начинаются сокращения, и его увольняют как больного. Он даже глаза зажмурил.

— Да ты же не пропустил по болезни ни одного дня! — воскликнула мама.— Ну, хорошо! Пойди умойся и давайте обедать. Вдруг сегодня придет Янне, это может случиться с минуты на минуту.

Папа поднялся и пошел умываться, послушный, как ребенок. Мама помогла ему снять рабочий костюм и надеть чистую рубашку.

— В кухне тепло, ты можешь не надевать пиджака,— сказала мама.— Сегодня все равно суббота.

Когда она поставила перед ним обед, он сказал, что не голоден, но потом аппетит появился. Мама спросила, многие ли члены его профсоюза остались без работы; оказалось, что многие.

— Важным господам известно, что ты выступал с речью по поводу забастовки на металлургическом заводе и что рабочие там не довольствуются прибавкой в одно или два эре, вот в чем вся беда,— сказала мама.

Папа кивнул. Заметно было, что он ест с удовольствием. На этот раз он съел больше обычного и долго сидел за столом. Вероятно, он думал, что, может быть, в последний раз ест досыта. Казалось, и маме приятно, что он так долго сидит за столом — ест и отдыхает.

Кончив есть, папа не взялся, как обычно, за газету.

Все встали из-за стола. Мы с Марией принялись мыть посуду. Мама вынесла из комнаты Хельге, села рядом с папой и дала маленькому грудь.

— Может быть, тебе дадут работу в правлении профсоюза? — спросила она.— Каким-нибудь уполномоченным?

— Там своих хватает.

— Сколько ты старался для правления и для местной

организации! Неужели они повернутся к тебе спиной, когда ты остался без работы? Что же это тогда за товарищи?

— Сейчас очень много таких, о ком приходится заботиться,— отвечал отец неуверенно.— Во всех отраслях промышленности множество безработных. Я слышал, их уже четыре тысячи и с каждым днем становится все больше.

— Это значит — четыре тысячи голодающих семейств в нынешнюю зиму, вот что это такое! А сколько тысяч разбогатело на войне? Удивительно. Когда идешь по городу, кажется, что их тысяч сорок. Вот у кого денег куры не клюют!

— Если бы Брантинг возглавил рабочее правительство, против безработицы можно было бы что-нибудь предпринять,— сказал папа.— Но он предпочел пойти с либералами, а не с левыми социалистами.

— Нет, безработным по-хорошему ничего не добиться! Но не можем же мы ждать революции, ведь нам жить надо. Если тебе не удастся получить работу в правлении профсоюза, может быть, вы вместе с Янне что-нибудь предпримете.

— Что же именно? — спросил папа.

— Вот послушал бы ты, что сегодня на рынке говорила одна молодая женщина. До забастовки она работала на заводе шарикоподшипников «Нурдиске Куллагер», а теперь помогает своему мужу изготавливать карбидные лампы и продавать их. Им удалось снять подвальное помещение в Мастхюггете, и дело идет превосходно. Они живут лучше прежнего.

Маленький, выпустив грудь, лежал и смотрел на маму.

— Ну как? — улыбнулась она.— Тебе-то есть что кушать, можешь быть спокоен. Вот когда ты вырастешь большой и будешь вести политическую борьбу с важными господами, интересно, как будет тогда выглядеть мир?

Хельге раскрыл свой беззубый ротик и рассмеялся маме в ответ. Тогда засмеялся и папа и взял его на руки.

— Только смотри не надави ему на животик,— сказала мама.— Ведь он у него сейчас так раздут...

На улице было уже темно, когда Калле приоткрыл входную дверь и просунул голову.— Извозчик! — закричал он.— Сюда едет извозчик, везет какого-то человека! — Он с шумом захлопнул дверь и снова убежал.

— Извозчик? — удивилась мама и взглянула на папу. — Может быть, это кто-нибудь к тебе?

Но тут снова ворвался Калле. — Дядя Янне! — заорал он еще оглушительнее и опять исчез.

Артур и Мария бросились вслед за ним.

У мамы был очень растерянный вид. — Выйди, встретить его. — попросила она папу. — Может быть, ему надо помочь.

Папа вышел на лестницу и оставил дверь открытой. Мы прислушивались к голосам внизу. Слышно было очень плохо, едва можно было разобрать одно-два слова, но мама сняла. Извозчик уехал, теперь они все поднимаются по лестнице и вот наконец вошли — целый караван! Впереди Янне с новеньким мешком, затем папа с чемоданом и наконец малыши, возглавляемые Калле. Они несли свертки и пакеты.

— Как же ты приехал? — спросила мама и засмеялась.

— Ведь ты сама мне сказала, чтобы я перебрался к вам со всеми пожитками, пока не наймусь на корабль, — улыбнулся дядя.

— Но как ты добрался? На извозчике?

— Ну, знаешь ли, у кого нет машины, тому приходится сдирать на извозчиках.

— Дядя привез нам подарки! — закричал Артур уже в передней.

Калле стоял рядом с дядей Янне и не сводил с него глаз. В каждой руке у него было по пакету, и он не выпустил их, пока Янне не поставил на пол чемодан. Тогда и Артур положил свои пакеты.

— Отдай маме эти мешочки, — обратился дядя к Марии.

— О Янне! Чего это ты нам навез? — У мамы даже слезы выступили на глазах.

— Тут всего лишь кое-какая мелочь, которую мне удалось захватить, когда я бродил по городу. Без этого ведь нельзя, — Янне широко улыбался, открывая свой чемодан. — Мне же выдали военную страховку.

Для нас словно сочельник пришел. Каждый получил подарок.

В мешочках оказался хлеб и сахар, купленные дядей на дополнительные продовольственные талоны. Мама не знала, как его благодарить, и обводила нас радостным взглядом. Дети бегали взад и вперед, хвастаясь своими подарками. Я получила сумочку, первую в моей жизни, и в ней — кредитную бумажку.

— А теперь мы выпьем кофе со свежим хлебом,— сказала мама.— Какая замечательная у нас сегодня суббота!

— А я, пожалуй, выкурю воскресную сигару,— улыбнулся папа.— Раз безработный имеет возможность курить сигары — значит, в нашей стране живется превосходно!

— И значит нам не надо никакого социализма, по крайней мере до понедельника,— подмигнул ему Янне.

* * *

В доме было очень много хлопот, и мы трудились не покладая рук. С утра до вечера мы готовили, шили и штопали, сушили мокрую одежду, скоблили грязную лестницу и пол. Погода держалась дождливая и холодная. Больше всего возни доставляли башмаки и пальтишки детей, когда они возвращались с улицы.

С этой зимы наша семья увеличилась на два человека: Хельге и Янне. Мама уже не говорила, что мне нужно подыскивать место. Но теперь этого хотелось мне самой. Как-то раз она мне сказала: «Без тебя я бы теперь не смогла управиться, Элин». Эти слова я повторяла про себя много, много раз.

Хуже всего приходилось папе. Он не знал, к чему приложить руки. И дома ему было не по себе и вне дома. Вероятно, он выполнял какие-то поручения своего союза, но я не знаю, получал ли он что-нибудь за свою работу. Иногда он давал маме несколько крон, однако их не могло хватить надолго. Хорошо, хоть Янне за себя платил, для нас это было просто спасением.

Целые дни его не бывало дома — он искал работу. А возвращаясь, почти каждый раз приносил что-нибудь из продуктов, и мама тотчас же решала, что он уже устроился на место. Он так удовлетворенно смеялся, протягивая маме пакетик.— Одно удовольствие ходить по городу и делать покупки,— говорил он.— Как, наверное, приятно женщинам ходить из магазина в магазин и разглядывать все, что можно купить за деньги!

Не всегда легко было догадаться, что у него на уме, когда, разговаривая, он подмигивал одним глазом. Янне был шутник и иногда такие слова употреблял, что сразу и не поймешь.

Как-то раз, в понедельник, он вернулся домой с целым возом дров, который вел за ним возчик. Такого огромного

количества дров я в жизни своей не видывала. Поместятся ли они в нашем сарае? Папа, наверное, подумал то же самое, потому что вид у него был очень озабоченный. Им с дядей Янне пришлось вытащить из сарая все, что там находилось; Калле с Артуром им помогали. На свет божий было извлечено множество вещей, о которых мы уже и думать забыли.

— Немало хлопот зададут нам завтра эти дрова, — сказал Янне. — Но я слышал, что нет ничего полезнее работы на свежем воздухе. Мы впихнем в сарай, что там поместится, а остальное продадим, пока не украли. Будем отдавать по дешевке, но по кроне с мешка заработаем. Надо же что-то делать, пока у меня только одна рука...

Папа ничего не ответил, только кивнул. Когда дрова распилили, то их оказалось гораздо больше, чем могло поместиться в сарае. В такие времена желающих приобрести дров хоть отбавляй, и к нам во двор повалил народ с мешками. Через несколько дней дрова были распроданы. У папы оказалось столько денег, сколько у него давно уже не бывало. Но вид у него был невеселый.

— Что с тобой? — спрашивала мама. — Уж не простудился ли ты, когда возился с дровами?

Было ноябрьское утро. Янне ушел и возвратился с двумя утренними газетами. И вдруг сразу были забыты и дрова и простуда. В газетах огромными буквами сообщалось о новой революции в России. Керенский бежал. В Петрограде революционные Советы. Зимний дворец захвачен рабочими и солдатами. Ну, уж теперь-то наступит мир.

Янне так радовался, словно это была его личная заслуга.

— Неужели, наконец, наступит мир? — сказала мама. — Мирная конференция профсоюзных бонз в Стокгольме тянется вот уже год, и они ни до чего не договорились. А немцы в Эстонии и на Аландских островах. Вчера они потопили конвой судов. Что же это будет за мир?

— Вот увидишь, русские теперь сделают что-нибудь такое, что и нам тоже на пользу пойдет, — сказал Янне. А папа тем временем поглощал столбец за столбцом статью про Октябрьскую революцию и ничего не слышал.

С этих пор стало очень интересно читать газеты. Больше всего их читали мама и я. Папа целыми днями пропадал на собраниях или в правлении профсоюза, редко приходил домой обедать и возвращался обычно лишь поздно вечером. Янне также большей частью отсутствовал; иногда ему уда-

валось раздобыть кое-какую работенку, и, возвращаясь домой, он подмигивал и похлопывал себя по карманам. А затем выкладывал на кухонный стол сверток с продуктами.

Из России пришло известие о предложении Совета рабочих и солдатских депутатов: трехмесячное перемирие и затем мир. Мы все очень обрадовались. То и дело забегали соседки поговорить о большевиках. Однако несколько дней спустя пришли иные вести. Старые генералы решили раздуть революцию: собрав свои армии, они выступили против рабочих, вместо того чтобы прогнать немцев из Эстонии. Керенский вернулся и пытался изобразить диктатора. Некоторые газеты расхваливали генералов и Керенского. Словно мир, которого добивались русские, представлял опасность для всех.

Мама читала газеты, которые приносил ей Янне, и возмущалась. Но тут Керенский снова исчез, и генералы отступили. Большевики остались у власти. Они много делали для того, чтобы поставить на ноги новую Россию. А газеты лгали о том, что происходило.

— Никогда не слыхала ничего подобного! — гневно воскликнула мама, скомкала вчерашнюю газету, подошла к печке и сунула газету в топку. — Чтобы взрослые люди были такими неразумными! Ничего-то они не знают! Пишут о русских рабочих, что им только в голову придет...

Однако, когда вечером Янне принес свежие газеты, мама уже была в другом настроении.

— Ну? Они все еще продолжают петь отходную большевикам? — спросила она.

— Нет, теперь они пишут всякий вздор про Брантинга. Они боятся, что он прячет шведского Ленина среди левых социалистов, — сказал Янне и подмигнул одним глазом.

— И такие газеты ты берешь в руки!

— Когда возвращаешься с моря, очень хочется знать, что делается на суше. Впрочем, следовало бы, конечно, надевать в таких случаях перчатки...

Как-то вечером мы сидели и ждали папу. Мы с Янне были одни в кухне. Мама укладывала маленького спать.

Янне тихо сказал: — Возьми у меня денег, Элин, и купи папе книгу. Если хочешь, можешь преподнести ее как рождественский подарок. Это книга против войны, о ней напечатано в газете.

— Хорошо! — ответила я и почувствовала, что краснею.— Хорошо, я так и сделаю!

Вошла мама, села к столу и развернула газету. Янне приложил палец к губам и подмигнул мне. Я поняла этот знак, но мне трудно было сдерживаться и сохранять серьезность.

— Видно, Ленин победил,— сказала мама.— Теперь опять повсюду твердят о мире. Большая социалистическая мирная конференция в Будапеште. Вот обрадуется народ, если из этого в конце концов что-нибудь получится!

И она снова жадно принялась читать и не слушала, что отвечал ей дядя.

— Наверное, наткнулась на занимательную историю! — подмигнул мне Янне.

— Занимательная история? — проговорила мама как бы про себя. Здесь вот много пишут о книге под названием «Ад». Это книга против войны. Как бы обрадовался папа, если бы получил такую книжку к рождеству! У меня еще остались деньги от продажи дров... Мне ведь никогда не удавалось подарить ему ни одной книги, а он так их любит...

У Янне вытянулось лицо, и он не нашелся что ответить.

— Да, это совсем не такая уж занимательная история,— шепнул он мне.

— Что? — переспросила мама.— Занимательная? Нет, я не думаю. Но хорошая книга.

Тут мы услышали папины шаги на лестнице.

— Как тяжело он ступает,— заметила мама.— Что-то с ним не благополучно.

Папа вошел медленнее, чем обычно, запер дверь на ночь, посмотрел на нас, словно раздумывая, не уйти ли ему обратно.

— Вы еще не ложились? — спросил он устало.

— Нет, как видишь. Ты, наверное, хочешь поесть? — откликнулась мама.

— Нет, я не могу,— сказал он.

— Что с тобой? — спросила мама.— Нельзя же совсем не есть.

— Мой желудок, наверное, никогда не поправится,— сказал он, оперся на стул, но не сел.

— Это все оттого, что ты пьешь плохой кофе и за целый день ни разу не поешь как следует. Мне кажется, тебе надо бы посидеть дома, пока ты совсем не выздоровеешь.

— Если мой организм не принимает пищи, то не все ли равно, ем я или нет,— ответил папа с кислой гримасой, как будто ему надоел этот разговор.— Кто не работает, тот не ест. Лежать дома и есть — это значит отнимать хлеб у других.

— А, не говори вздора! Ты лучше подумай, во что нам станет, если в один прекрасный день тебе придется лечь в больницу,— сказала мама несвойственным ей резким тоном.

Она достала и поставила на стол хлеб, масло и холодную жареную рыбу. Папа присел к столу, но до еды не дотронулся.

— Разве это не аппетитно выглядит? — сказал Янне.— Придется мне подать пример.

Он выбрал самый маленький кусочек рыбы, положил на сухой ломтик хлеба и, придерживая его пальцами, принялся есть.

— Одно дело, хорошо ли это выглядит,— сказал папа,— другое — пойдет ли на пользу.

— Ну, попробуй же,— настаивала мама, намазывая ему бутерброд.

— Может быть, ты потому и чувствуешь себя плохо, что целый день ходишь голодный, отказываешь себе в самом необходимом.

Папа взял бутерброд, мама намазала второй, для меня.

— Пока мы еще не терпим нужды,— радостно улыбнулась мама.

— А талоны? — возразил папа, откусывая бутерброд.

— Не беспокойся! Как-нибудь устроимся.— Она положила ему на бутерброд кусочек рыбы, и папа, продолжая жевать, сказал ей: — Съешь по крайней мере и сама чего-нибудь: ведь тебе нужно есть за двоих.

— О, я-то ем и пью целый день.

Янне взял еще кусочек рыбы.

— У меня такое чувство, словно я опять на корабле и ем матросский паек,— сказал он папе.— В такой вечер, как сегодняшней, можно забыть, что мы с тобой оба безработные.

— От того, что забудем, толку мало,— сказал папа серьезно.

— Чертовски верно! Я не добился никакого толку, читая в газетах объявления о найме рабочей силы, а ты — сидя в конторе профсоюза и занимаясь ее делами. Не создать ли нам свою партию безработных, а? Скоро нас будет

так много, что мы сможем издавать собственную газету. Ага! Я знаю, как назвать эту газету: «Гетеборгская газета безработных и бездомных». Вот было бы шуму!

— Ты думаешь? — недоверчиво спросил папа.

— Конечно! Давай произведем расчет, как заправские предприниматели! Скажем так: выпустим ее к рождеству, когда число безработных наверняка достигнет пяти тысяч. Эти пять тысяч смогут продавать нашу газету по всему городу. Они отправятся с ней по всем лачугам и по всем богатым домам с парадными подъездами. Никто не сможет им отказать. Деньги — в пользу безработных! Два экземпляра — для прислуги и детей; прекрасные рассказы, и хоть один непременно о рождественском ангеле. Нет, четыре экземпляра. Это будет целая крона. Допустим, что каждый продаст по пятидесяти номеров, — это при пяти тысячах продавцов сколько будет? Пятью пять — двадцать пять, а сколько еще нулей? Если мы заработаем хоть по десяти эре на каждой газете... Принеси сюда карандаш и бумагу, Элли! Вот будет денег-то! Ой, ой!

Папа взял последний кусок рыбы и положил его себе на бутерброд. Я помчалась за карандашом.

— А бумагу ты не забыла? — Янне уже чинил карандаш.

— Но кто же будет писать для этой газеты? — спросил папа.

— Ты, конечно!

Мама усмехалась, слушая болтовню Янне; однако я думаю, что она, как и я, была бы очень рада такой газете. Мне все хотелось спросить, не могла бы и я продавать газеты.

Но папа рассмеялся. — Я не могу писать про рождественских ангелов, — сказал он. — Впрочем, и про безработных тоже не напишу. Во всем остальном твой план превосходит.

Янне дернул себя за одно ухо, потом за другое.

— В крайнем случае я мог бы написать свои морские воспоминания. Я уже об этом подумывал, но к рождеству не успею. Ну, не жалость ли это, упустить столько денег, не успев их даже сосчитать?

Мама расхохоталась, но папа хохотал еще громче. — Да, полезно иногда поупражнять лицевые мускулы, — замстил он. — В наши дни смеяться приходится так редко. Все споры, кислые гримасы...

когда он уходил.— И пусть эти правые социал-демократы болтают себе сколько им угодно.

Он вернулся после полудня. Мы уже знали, что объявлено перемирие и должны начаться мирные переговоры. Русские согласились принять участие в Стокгольмской конференции, если она будет руководствоваться демократическими принципами.

— Ну, что же они теперь говорят? — спросила мама.

Папа остановился на пороге, словно не мог идти дальше.

— Ты сам не свой,— забеспокоилась мама.— Что там такое?

Прежде чем ответить, он сел. Оказывается, уполномоченный орал и ругался, как обер-полицейский, сначала в одной комнате, потом в другой, потом вернулся в первую и все поносил большевиков. «Это ты называешь демократической политикой, Ларссон! — орал он.— Когда москвиты предают Англию и Францию! Это диктатура дьявола!» — Вот что он сказал.

— И никто не мог ему ответить? — спросила мама.

Оказывается, папа пытался возразить: будет, мол, мир — будет и демократия, но уполномоченный не дал ему слова сказать, а принялся цитировать наизусть длинный отрывок из статьи в правой газете против опасного Ленина.

— Вот такие-то субъекты и становятся бонзами,— сказала мама.— От них больше вреда, чем пользы.

Видно, папа был очень расстроен. Больше он нам ничего не сказал. Казалось, что все его раздражает и мучит. Мама подала ему обед, но он не смог есть. В этот день он в последний раз был в своем профсоюзе.

Рождественская неделя в этом году была у нас необычная. В прежние годы мама получала к рождеству провизию из деревни от наших родственников. Они приезжали делать рождественские закупки и привозили с собой много всякой всячины: мясо, большие буханки хлеба, масло, сливки. Иногда они останавливались у нас, и тогда мы стелили им на ночь прямо на полу. Мама вместе с ними ходила по магазинам, а потом пекла и варила до поздней ночи, и на праздники у нас был кофе и вкусное печенье с изюмом. Целый день раздавался смех, крестьянская речь, было очень весело. Мы с Марией мало что понимали, больше шептались и фыркали, но нам было так же весело, как и взрослым.

На этот раз никто из родственников не приехал. Папа был дома, но почти все время лежал. А когда поднимался,

то клеил елочные украшения и учил Артура мастерить из картона домики. Казалось, ему очень нравилось это невинное занятие, но он был так молчалив, словно в этом крылось что-то таинственное. Артур тоже притих и против обыкновения не задавал бесконечных вопросов. Янне не показывался с утра до позднего вечера. Он получил работу на складе оптовых товаров, где происходила рождественская кутерьма. Каждое утро мама получала от него деньги, и мы с ней ходили покупать продукты.

В этом году я впервые видела вблизи рождественскую торговлю в городе. Всюду толпился народ, многие товары были нормированы, но люди покупали столько, словно не знали, куда девать деньги. Тут был и простой народ и пышно разодетая публика. И пожилые мужчины и юноши ходили по улицам и продавали все, что только можно продавать: елочные украшения, игрушки, бумажные цветы, звезды, мишуру. Иногда торговали и подростки. На рыночной площади стояли крестьяне и продавали овощи, продукты без карточек и яблоки.

Купили мы с мамой и рождественскую елку. И когда принесли ее домой, нам показалось, что в дом вошло настоящее рождество. Мы знали, как все обрадуются елке, и, может быть, папа тоже. Когда он остался без работы, маму очень заботило, как добыть денег на рождественскую елку. И мы купили, кроме большой, еще маленькую-маленькую елочку. Эту елочку мы с Марией украсим мишурой и снежем на чердак старушке Дитмар.

Весь сочельник папа провел на ногах. Он надел свой воскресный костюм и белую рубашку, хотя без воротничка.— Как ты думаешь, он догадывается, что получит в подарок книгу? — шепнула мне Мария.

— Думаю, что нет. Он просто приделся ради праздника. Ведь сегодня не обычный субботний вечер. Сегодня сочельник, и папа это знает.

Я помогала маме во всех приготовлениях и чувствовала себя много старше Марии. Но откуда ей известно, что папа получит книгу?.. Мы все были очень любопытны, а Калле больше всех. Он не мог дождаться вечера и все пытался потихоньку взглянуть на рождественские подарки. Но если кто-нибудь оказывался поблизости, он моментально отскакивал в сторону, делая невинное лицо.

— Ага, попался! — крикнул Янне, когда ему удалось захватить Калле на месте преступления — у корзины с рождественскими подарками.

И тут Янне рассказал нам историю об одном юнге. Мальчик был так любопытен, что, несмотря на запрещение, открыл тайком крышку корзины. В корзине оказалась обезьяна, которая укусила его за руку и выскочила наружу. «Ну, теперь ты должен ее поймать, дурак!» — сказал штурман, и хотя обезьяна была привязана к корзине и не могла убежать далеко, юнге пришлось провозиться полдня, чтобы ее поймать и снова упрятать в корзину.

— А почему обезьяна его укусила? — спросил Артур.

— Ясно почему! Потому, что он был слишком любопытен.

— О, расскажи нам еще какую-нибудь веселую историю! — воскликнул Калле.

Но пора было уже садиться за стол. Мама приготовила рождественскую колбасу и сварила половину свиной головы. Поставив на кухонный стол красную свечу в подсвечнике, она взяла спичечную коробку.

— Элин и Мария! — позвала она. — Ставьте тарелки и хлеб на стол. Горшок с едой будет стоять на стуле у печки. Так мы делали, когда Янне и я были детьми. Иди сюда, Артур, ты зажжешь свечу!

— Я хочу зажечь! — закричал Калле.

Но Янне нагнулся к нему и шепнул: — А ты тащи сюда пиво, ты знаешь, где оно.

Калле умчался и возвратился с большой бутылкой пива, которое они с дядей купили тайком от нас. Можно себе представить, как был горд Калле, ставя бутылку на стол! И, не сказав ни слова, он устремился за второй.

— Пиво полезно для желудка, — сообщил Янне.

Папа одобрительно кивнул. Он, правда, не употреблял спиртных напитков, хоть и не состоял в обществе трезвенников, но ничего не имел против пива за рождественским ужином.

Калле появился со второй бутылкой и газетой. Газеты только что принесли, — как обычно в субботу.

Папа взял было ее, но мама отобрала. — Не отложить ли это напоследок, как ты думаешь? — предложила она.

— Переговоры о мире, — сказал папа.

Мама тоже увидела заголовок и остановилась с газетой в руке.

— Мирные переговоры в Брест-Литовске начались,— прочитала она громко.

Янне подошел к ней и тоже заглянул в газету. И все трое притихли.

После праздничного угощения мы приступили к украшению елки. В этом наравне с нами, детьми, принял участие и Янне. Мы повесили на елку все игрушки. Затем мы с Марией поднялись на чердак к старушке Дитмар и отнесли ей маленькую елочку. Она так обрадовалась, словно мы явились к ней с дорогими рождественскими подарками.

Потом папа, Янне и мальчики соорудили под елкой целый город с домами, колясками, животными; папа с Артуром сами все это смастерили. Мама не присела ни на минуту. Все должно быть в порядке, чисто и нарядно, когда мы снова сядем за стол и будем есть рыбу и сладкую кашу. А мы сгорали от нетерпения — так нам хотелось поскорее получить подарки.

Наконец мы дождались ужина. Но сначала мама сходила на чердак и снесла немного рыбы и каши фрёкен Дитмар. Когда мы сели за стол, она откинулась на спинку стула, будто решила, наконец, немного передохнуть.

— Подумайте только! Когда я к ней вошла, бедная старушка сидела и горько плакала,— рассказывала мама.— Она ничего себе не приготовила и была так благодарна за те пустяки, что я принесла, словно я устроила ей целое пиршество. Я спросила, о чем она плачет, и она сказала, что она так одинока! Ведь у нее нет ни одной близкой души, она живет лишь воспоминаниями о своем отце. Да, жизнь ее не баловала. Для матери она была только помехой, а отец все время отсутствовал. «При виде маленькой елочки,— сказала она,— я вспомнила все подарки, которые когда-то получала от отца. А если жить только воспоминаниями, то можно сойти с ума».

— Мама, ну давай ужинать,— сказал Калле.— А то мы никогда не получим рождественских подарков!

— Ты думаешь, они убегут? — засмеялся Янне.

— Кто-нибудь придет и утащит их,— быстро нашелся Калле.

— Ну, в таком случае давайте ужинать,— сказала мама, улыбнувшись Калле.— А ты ведь, наверное, уже все рассмотрел? А?

Однако есть нас заставляли чуть ли не силой. Немного рыбы с картофелем, немного каши с сахаром, а потом опять ожидание. Ужин, конечно, был очень вкусный, но в другой день он показался бы еще вкуснее. А Янне ел так медленно, что это брало. Папа больше пил пиво, и даже мама не торопилась. Наконец мы поднялись из-за стола.

— Кто будет раздавать подарки? — крикнули Мария и Калле в один голос.

Это дело взял на себя Янне. Артур с удовольствием бы ему помог, но ему не предложили, и он молчал. Меня тоже разбирало любопытство, хотя я старалась вести себя как взрослая.

Во всяком случае, прежде всего надо убрать со стола. Мы это сделали дружно, в одно мгновение. Мытье посуды пока отложили.

И вот Янне извлек из корзины первый подарок. Прочитав про себя, кому он предназначался, он посмотрел на нас.

— Для Калле, — объявил он.

— Ура! — закричал Калле и протянул обе руки.

— Нет, нет! Сначала угадай, что это такое, — заявила неумолимый Янне.

— Футбольный мяч! — выкрикнул Калле.

Папа расхохотался. Пакет был четырехугольный, размером с коробку для башмаков.

— Отгадывай еще раз, — сказал Янне.

Калле примерился взглядом к пакету и храбро воскликнул:

— Парусная лодка.

— На этот раз не так глупо, попробуй еще раз.

Калле погрузился в раздумье, потом лицо его вытянулось.

— Копилка, — сказал он.

— Ни за что не поверю, — улыбнулся Янне и посмотрел на папу. — Ну, отдать ему, что ли?

Папа кивнул.

Калле снова засиял, схватил свой пакет и сорвал с него обертку. Под ней оказалась картонная коробка, а в коробке много бумаги. Артур, следивший за ним с напряженным вниманием, теперь тоже рассмеялся.

— Мотоцикл! — ахнул пораженный Калле, вынимая игрушку из последней обертки. Держа мотоцикл высоко над головой, он волчком завертелся по комнате, потом бросился на пол, чтобы тут же его испробовать.

— Настоящие колеса, — сказал он.

— Настоящий руль.— вторил ему Артур с видом знатока.

— Бачок для бензина.— продолжал Калле.

— А он трещит? — спросил Артур.

Папа улыбнулся. Это он смастерил игрушку, когда оставался дома один. Она явилась сюрпризом и для мамы. Но Янне уже взял второй рождественский подарок и прочел, кому он предназначается.

— Для Артура.— сказал он и подмигнул.— Ну, теперь отгадай ты.

— Мотоциклет! — воскликнул Артур, не посмотрев, что пакет был узкий и длинный.

Тут наступила очередь Калле расхохотаться.

— Хлопушка с конфетами! — закричал Артур, стараясь заглушить смех Калле.

Все получили рождественские подарки, и каждому пришлось отгадывать, что ему предназначено. Папа понял, что ему дарят книгу, но не мог угадать, какую.

Нам было так весело, что мы и не заметили, как прошло время. И когда Янне опрокинул вверх дном опустевшую корзину, мама сказала, что теперь самое время выпить по чашке кофе.

— Надо бы подняться к фрёкен Дитмар, угостить кофе и ее,— добавила она.

— Не слишком ли поздно? — Янне взглянул на часы.

— Да ведь уже скоро полночь! — воскликнула мама.— До какой поздноты мы засиделись сегодня!

Папа держал в руках полученную в подарок книгу, но не читал ее. Он задумчиво смотрел перед собой и, наверное, не слышал ни маму, ни Янне. Затем перевел взгляд на мальчиков и улыбнулся каким-то своим мыслям. Калле пускал свой мотоцикл и, щелкая языком, пытался изобразить треск мотора. Артур гудел, как идущий в тумане пароход: ему достался корабль, и он уже превратил его в паром, перевозивший рабочих с верфей через реку. Рекой был кусок пола между половиками. Время от времени Калле и Артур принимались спорить, так как Калле утверждал, что полоска на полу — это улица Карла Йоханна, где он должен проехать на своем мотоцикле.

Я примеряла новые башмаки и новые варежки — мой рождественский подарок — и сделала вид, что не слыхала, о

чем говорит мама. Пришлось Янне отправиться в кухню и заняться приготовлением кофе.

Мама спросила, в пору ли мне обновки.— А теперь давайте стелить постели: маленьким пора спать,— сказала она.

Мальчики так устали, что уже улеглись прямо на полу со своими игрушками. Артур уснул, прижав к груди кораблик, пока мы стелили постели. Маме пришлось перенести его в кровать на руках, но он так и не выпустил кораблика, пока она его укладывала. Калле и Мария тоже ничего не имели против того, чтобы лечь спать. Мария, засыпая, обняла маму за шею.

Кофе был готов, и мы уселись за стол.

Казалось, папа сыт одним запахом кофе. Он уже углубился в свою книгу и ни на что не обращал внимания. Мама подала ему чашку, а он все продолжал читать.— Пожалуйста,— сказала она,— рождественское кофе. Настоящий, из зерен!

Но папа не слышал. Мама посмотрела на Янне, он — на нее, и оба они улыбнулись.

— Пей же, пока кофе горячий,— настаивала мама.

— Что? — переспросил папа, поднимая на нее глаза.

— Твой кофе остынет.

Он положил книгу рядом с чашкой и принялся пить, продолжая читать. Пил без сливок и без сахара. Янне вытащил сигару и подложил ему.

— Пожалуйста,— сказал он.— Рождественская сигара. С этикеткой.

— Налить тебе вторую чашку? — спросила мама.

Папа ничего не ответил и с минуту в рассеянности глядел в свою опустевшую чашку. Тут он увидел сигару.

— Откуда она взялась? — спросил он изумленно.

— Вероятно, из Гаваны,— улыбнулся Янне.

— О, очень благодарен,— серьезно ответил папа, но сигару не взял, а продолжал читать.

Мама с Янне принялись вспоминать прежние сочельники. Меня так клонило ко сну, что глаза закрывались сами собой. Наверное, я раза два клюнула носом, но не заметила этого, покуда не услышала, что надо мной смеются.

— Ты очень устала, моя маленькая девочка,— нежно проговорила мама,— иди ложись спать.

— Не снести ли тебя на руках? — так же ласково спросил Янне.

Но я добралась до постели сама.

В первый день рождества мы не заметили, что папе очень плохо. Мы все проспали очень долго, а он лежал и читал. Да и потом он не жаловался, только ничего не ел, а все пил и пил. Мама не могла вытянуть из него ни слова, о чем бы она с ним ни заговаривала. Если он не читал, то погружался целиком в размышления. Он был занят своими мыслями, так же как мальчики новыми игрушками, но только вид у него был не радостный.

На следующий день стало ясно, что папа очень болен. И все-таки ложиться он не хотел. Надев свой праздничный костюм, он опять сел с книгой, но от слабости глаза у него поминутно смыкались. Однако книги он не выпускал из рук и время от времени заглядывал в нее. Казалось, что он учит что-то наизусть и, закрывая глаза, повторяет про себя заученное. Мама настаивала, чтобы он лег, а ему слышалось, будто она у него спрашивает, о чем написано в книге.

— Те, кто против мира, сами не знают, что делают,— сказал он.

После рождества он стал еще больше нервничать. Янне продолжал работать на оптовом складе, где предстояла инвентаризация. Папе тоже хотелось бы что-нибудь делать. Полежав до полудня, он пошел было в контору. Но тут же вернулся: не было сил.

На следующий день за ним явился посланный от профсоюзного уполномоченного. Мама уговаривала папу остаться дома, но он все же пошел. Сказал, что чувствует себя лучше.

Был ли он в конторе и разговаривал ли с уполномоченным, мы так и не узнали. Мы могли только догадываться. Вечером нас вызвали в больницу. Папе предстояла срочная операция кровоточащей язвы желудка. Полицейский подобрал его в бессознательном состоянии на улице Линнея, внес в первый попавшийся подъезд, затем вызвал скорую помощь. Врач, живущий в том доме, ничем не смог ему помочь. Странно, однако, что папа попал в один из подъездов аристократической улицы Линнея. Почему он оказался на этой улице? Ведь ему нечего было там делать.

Операция не состоялась: папа был слишком слаб. На следующее утро мама пошла к нему в больницу, но он лежал в бреду и не узнал ее. Дежурная сестра сказала маме, чтобы она не придавала значения тому, что он говорит. Папа бредил: ему чудился ад, он называл огромные цифры — девять миллионов, четыреста миллионов. «Едут, едут в деревню»

пять мотоциклов», — говорил он. — Это-то я, во всяком случае, разобрала, — рассказывала нам мама, вернувшись домой.

В больнице ей сказали, что нам нечего особенно беспокоиться. Желудочные заболевания — обычное явление после рождественских праздников.

— Как будто бы он заболел от обжорства, — с горечью сказала мне мама. — Мы не должны беспокоиться! А сколько все это будет стоить? Операция и все остальное. И неоткуда ждать помощи, как бывало в дни забастовки. Тебе надо обязательно поступить на работу, Элин.

Я вполне с этим согласилась. Но папа говорил, что после Нового года я поступлю в рабочую школу. И мне хотелось дожидаться его возвращения.

Мама навещала его каждый день. Ему стало лучше, и он ждал операции. По-видимому, папа был рад, что попал в больницу. Обращались с ним там хорошо, но он был очень слаб и большей частью лежал в забытьи.

Наступил канун Нового года.

Я проснулась от маминых рыданий. Бросилась в кухню и застала там маму одну. Янне ушел на работу. Мама сидела над папиной книгой, видно, она долго ее читала.

— Что-нибудь с папой? — спросила я.

— Нет, ничего. — Она вытерла глаза.

— Ты не должна волноваться, мама.

— Да, да. Мы не должны волноваться. Это говорят мне и в больнице. Но все так плохо. Наступает праздник, а папы нет дома. Он лежит там совсем один, а ведь он привык быть всегда с нами. Мало того, что он так долго страдал, теперь около него нет ни одной родной души. И мы не знаем, каково ему там. Нет, мы ничего не знаем. Что они там думают о человеке? Может быть, они воображают, что если человек беден, если он простой рабочий, так у него нет ни рассудка, ни чувства и он ничего не стоит? И потому нечего беспокоиться! Рано или поздно его заруют в общей могиле для бедняков, словно он и не жил на свете. А сколько, сколько таких, как он! — Мама не могла больше сдерживаться. — Вот только почитай, что они делают с рабочим людом, — громко всхлипнула она и, рыдая, склонилась над книгой.

«Она закрыла лицо, чтобы я не видела ее слез и сама не расплакалась бы», — подумала я. И я не заплакала, хотя комок подступил у меня к горлу, когда я подумала о папе и о том, что его нет с нами. А мы так хорошо могли бы про-

вести новогодний вечер! Янне обещал вернуться домой с сюрпризом.

Утром мама пошла в больницу. Папе опять стало хуже. Он не мог говорить, но находился в сознании и улыбался маме. Лежал тихий и спокойный, словно отдохнувший.— Он вообще никогда много не говорил,— сказала мама, вернувшись из больницы.— Ах, если бы я могла хоть услышать его голос!

На обратном пути она должна была купить продуктов к празднику, но совершенно забыла об этом.

— Что же мы будем есть? — спросил Калле.

— Вспомни о папе, который ничего не ест, когда другие едят,— сказала мама.

— Вряд ли папа захочет, чтобы мы из-за этого сидели голодными,— недовольно возразил Калле.

По маминым губам скользнула легкая улыбка, будто ей понравился ответ Калле.— В таком случае идите с Элин и купите чего-нибудь,— сказала она.

— В один миг! — воскликнул Калле.— Только сначала спрячу игрушки, чтобы Артур их не взял.

Он бросился в комнату. Мама кивнула мне и опять улыбнулась. Я была рада, что она не расплакалась от бесчувственности Калле. Я сама чуть было не заплакала.

Но прежде чем мы с Калле успели собраться, вошел Янне. Он принес два больших пакета.— Мы кончили сегодня раньше, потому что наш хозяин отправился встречать Новый год,— сказал Янне. Он хорошо им заплатил за работу. Поэтому Янне решил нас побаловать: накупил всякой всячины, так что нам хватит еды на несколько дней.

Принес он и газет. И прежде чем разобрать пакеты, мама хотела их просмотреть.

Янне аккуратно поставил оба пакета на стол, прислонив их один к другому. Затем вытащил из кармана газеты. «Он не торопится, чтобы разжечь мамино любопытство»,— решила я. Мама следила за ним, молчаливая и серьезная. Она продолжала молчать и когда он развернул первую газету и показал ей.

— Заключен мир между Россией и Болгарией,— прочла мама.

— Первый мир,— сказал Янне.

— Первый мир! — воскликнула мама.— Вот оно! Неужели это правда?

Они посмотрели друг на друга. Но мама тут же вспомнила о папе.

— А он об этом, может быть, уже никогда не узнает,— прошептала она Янне так тихо, словно не хотела, чтобы мы слышали ее слова.

И не в состоянии больше сдерживать слезы, она ушла в комнату.

В этот новогодний вечер у нас было очень тихо. Мама и Янне говорили о заключенном мире, о том, что скоро жизнь станет легче. Артур и Калле то и дело затевали ссоры, но мы с Марией следили только, чтобы они не кричали слишком громко. Мы были очень рады хорошему ужину, однако все молчали. Янне провел дома весь вечер. В елочные подсвечники мы вставили новые свечи и зажгли их. Но они горели недолго: мама сказала, что их должно хватить до Нового года.

— Зачем это? — спросил Калле. Мама ничего ему не ответила.

Все решили не ложиться и дожидаться Нового года. Артур узнал от Калле, что, когда пробьет двенадцать, все суда в порту дадут гудки. А мы выйдем во двор и будем слушать.— Можно и мне, мама? — спросил Артур.

— Ты к тому времени будешь спать без задних ног,— насмешливо сказал ему Калле.

Артур боялся темноты, но решил бодрствовать и во что бы то ни стало выйти в полночь на темный двор вместе со всеми. Однако скоро его начал одолевать сон. Марию тож. Жалко было смотреть на них.

— Я не засну, а то вы меня засмеете,— сказал Калле совсем как взрослый мужчина.

Мама еще раз приготовила кофе, чтобы разогнать сон и чтобы у всех были полные чашки, когда наступит Новый год.— Год мира,— сказала она.

— Не спи! — шепнула я Марии, клевавшей носом над своей наполовину пустой чашкой. Мама подложила ей лишний кусок праздничного пирога и посоветовала: — Ешь маленькими, маленькими кусочками, теперь уже скоро двенадцать.

Янне надел на Артура пальто и помог одеться Марии. Она спростонья не попадала в рукава, а тут еще ноги ей плохо повиновались. Потом Янне взял Артура и Марию за

руки, и мы отправились. Во дворе был крошечный мрак, лишь вдали светилось несколько окон да уличных фонарей.

И вот в ночной тишине раздался первый удар башенных часов.

— С Новым годом! — сказала мама, и мы все повторили: «С Новым годом».

И тут загудели сирены кораблей: «ту-ту-у-у»... На все лады — и рокочущие, и свистящие, и словно охрипшие, и низкие басовитые неслись из огромного порта звуки, сливаясь в мощный нестройный аккорд. Издали доносился звон церковных колоколов. Но мы недолго оставались на улице.

— Пойдемте скорее в тепло и выпьем кофе, — сказала мама.

Янне вошел последним. Ему хотелось еще послушать.

Наступил тысяча девятьсот восемнадцатый год. «Год мира», — сказала про него мама.

Но когда Янне вернулся в комнату и сел, он мрачно сказал: — Я не думаю, чтобы те, кто в нынешнюю ночь находится в море, чувствовали себя спокойно. Всегда ведь есть злодеи, готовые вредить и мучить других людей. Те самые, что без конца твердят об обороне.

— Да, а на фронте, — подхватила мама. — Они лежат там, притаившись и подстерегая друг друга, каждую минуту готовые напасть и убить, совсем как дикие звери. И, может быть, в эту самую минуту многие лишаются жизни.

— Нам хорошо, и мы ничего не знаем, — сказал Янне. — И даже не знаем, где правда...

Казалось, их обоих не радует наступивший год.

Пора было укладывать Артура и Калле; они оба потребовали, чтобы мама уложила их сама. Мама задержалась у них в комнате. Проснулся Хельге. Мы слышали, как она его кормила. Но огня она не зажгла. Мы с Марией тоже отправились спать. Спросили маму, кого из нас она завтра возьмет с собой в больницу, но она не ответила. Тут мы увидели, что она сидит с Хельге на руках и плачет.

Когда мы проснулись на другой день, настроение в доме было еще более тревожное. Я видела, что мне придется остаться дома и нянчить Хельге. Мария, обычно такая тихая, способная целыми днями сидеть дома одна и играть, совсем вышла из себя, увидев, что мальчишки надевают праздничные костюмы. Она надеялась, что это ее мама возьмет

к папе в больницу. Она редела и ничего не хотела слушать, шум подняла ужасный.— А ты не думаешь, что дядя Янне съедит от нас, если ты будешь так себя вести? — спросила ее мама.— Я хочу к папе! — кричала девочка. Кончилось тем, что мама отправилась в больницу одна.

Вернулась она не скоро. Папа лежал без сознания. Вечером она снова пошла туда. На этот раз Мария настояла на своем: надела праздничное платье и отправилась вместе с мамой. Может быть, и самой маме было легче идти с ней, а не одной.

Первый день нового года был тяжелым. Он весь прошел в ожидании. Мы сидели дома и все ждали, ждали... Что-нибудь должно произойти, должно прийти известие о папе, привет от него самого, думали мы. А вдруг он сам, вопреки всему, покажется в дверях? Это было невероятно, и тем не менее мы надеялись, временами нам даже казалось, что мы слышим на лестнице его шаги, и тогда мы шептали друг другу: «Тс-с, тише, тише!»

Когда мама с Марией пришли в больницу, они узнали, что папу перевели в отдельную комнату. Маме показалось, что он их ждал. Он был в полном сознании. Улыбнулся, немножко поговорил с ними, но больше лежал молча. Мария едва осмелилась взять его за руку.— Сердечко мое,— прошептал он. Мама держала его руку в своей руке и чувствовала, как жизнь из нее уходит.— Не могу больше,— сказал он,— но, взглянув ей в глаза, улыбнулся. Затем голова его склонилась набок, и он сказал: — Спокойной ночи. Передай всем привет.

Мария, выходя с мамой из больницы, еще не понимала, что папа умер. Ей хотелось вернуться и сказать ему что-то такое, чего она не успела сказать. Ей стало страшно, потому что папа вдруг сделался каким-то другим, непохожим на себя, очень старым.

— Мы многого не успели ему сказать и никогда не скажем,— вздохнула мама. Но она не решилась прямо сказать нам, что папу мы больше никогда не увидим.

II

Не знаю, выучилась ли я чему-нибудь за те недели, что провела в рабочей школе. Наверное, все же чему-нибудь я научилась. Мы повторяли там то, что проходили раньше. Это было не очень-то весело. Но я многое поняла теперь гораздо лучше, чем прежде. Товарищи у меня оказались

очень шумные. Им вовсе не улыбалось пережевывать материалы из старых учебников, с которыми они уже покончили. Они считали, что нет ничего скучнее школьных учебников. Хлопали книжками по партам, швырялись ими через весь класс и громко хохотали, когда из летящей по воздуху книги выпархивали страницы. Скоро наступит время, когда мы вообще больше не заглянем ни в одну книгу, говорили они, а я вспомнила, что говорил о книгах папа: «Книги — сокровища, и каждый человек должен иметь право ими пользоваться». Самому папе в детстве пришлось учиться в такой плохой школе, где даже учебников почти совсем не было.

У нас дома теперь часто вспоминали о том, чего папе хотелось. Поначалу даже могло показаться, что у мамы не осталось собственных желаний. В каждом случае она прежде всего думала, а что сказал бы папа, как бы он поступил. Как и папа, она прочитывала в газетах все, что в них писалось о рабочих школах. В тот год о них писали и говорили много. Но нам-то от этого было мало толку.

Мы решили, что, окончив рабочую школу, я поступлю на место. Как это ни странно, оказалось, что я могу получить работу.

Это была целая история.

Янне иногда работал по нескольку дней на том же складе оптовых товаров, где и до нового года, когда там были срочные работы. Заведующий складом хотел бы оставить его на постоянной должности, так как он был исполнительным и надежным работником, но хозяин прочил на это место одного своего родственника, молодого человека, которого заведующий называл «слизняком». Если бы не это, Янне мог бы получить хорошее место. «Слизняк» должен был стать бухгалтером склада. «Он болтун и пустой малый, — возражал заведующий складом, — и нам не нужно его услуг». Однако оптовый торговец был склонен принимать на службу родственников и знакомых тех работников, которым он доверял. — Таким образом он их привязывает к предприятию, — объяснял Янне. Но к весне фирме потребовалось несколько девушек, и заведующий спросил Янне, нет ли у него какой-нибудь родственницы, окончившей школу. Конечно есть! И было решено, что с февраля меня возьмут на испытательный срок. Если я подойду, то заведующему будет легче устроить у себя на постоянную работу и Янне. «Надо пробраться туда хитростью», — сказал он.

Но тут заболела мама. И мне пришлось остаться дома. Каждое утро я кормила из соски маленького, отправляла Калле и Марию в школу, да и за мамой требовался уход. Артур тоже в эту зиму все прихварывал. «Что будет, если мы останемся без папы и без мамы!» — думала я с ужасом. Я ни на минуту не забывала, что несу ответственность за моих маленьких братьев и сестру.

Может быть, если бы я поступила на склад и начала там сортировать галантерейные товары, то все сложилось бы иначе. Может быть, наша семья зажила бы тогда хорошо, мы «пошли бы в гору», смогли бы перебраться с окраины в центр города, поближе к месту работы, к новой среде. Так бывает. И тогда то, ради чего жил отец, наверное, перестало бы для нас существовать: человеку ведь всегда хочется пойти наиболее легким путем.

Вначале меня очень огорчало, что я не могу поступить на работу. Мама замечала это и расстраивалась. — Это моя вина, что ты не получила хорошего места, — сказала она. Тогда я поняла, что неправа. Мы заплакали с нею вместе, и потом все прошло. О складе галантерейных товаров мы больше не вспоминали. Зачем только она говорила, что это ее вина? Янне получил другую случайную работу — сторожа на продовольственном складе. На таких складах бывает много воровства. Его рекомендовал туда начальник со старого склада. — Там лучше оценят честного человека, чем у нас, в этом я уверен, — сказал он Янне.

Мама пролежала больше месяца. Она боялась, как бы и ей не попасть в больницу. Вот почему она не хотела, чтобы позвали доктора, хотя Янне и сказал, что заплатит, сколько бы это ни стоило. — Ты не должен тратить свои сбережения на подобные вещи, — убеждала его мама. Разумеется, мне бы не управиться со всеми делами, если бы мамы не было дома и если бы она не давала мне указаний. Ее часто навещали соседки, подавали советы, приносили лекарства. Боль в пояснице иногда была такая сильная, что мама лежала пластом целые дни, не в силах пошевелиться. Соседки считали, что это от чрезмерной работы, — ведь она никогда себя не щадила. «Не струсил бы чего-нибудь в этом роде и с девочкой», — говорили они и помогали мне, чем только могли.

Да, это было тяжелое время! Янне почти не бывал дома — ни днем, ни ночью. Иногда я так уставала, что готова была заплакать, но сдерживалась. Только бы мама не подумала, что я тоже заболела.

Очень часто, стоя у печки и следя за горшками и кастрюлями, я представляла себе, будто нахожусь на оптовом складе и сортирую галантерейные товары. Масса лент, ниток, пуговиц, но я все держу в образцовом порядке. Эти мечты были очень приятны, и работа от них становилась легче игры. Я представляла, что вместе со мною работают другие девочки, а с веселыми подругами трудиться было еще веселее.

Я знала, что все это лишь мечты, и тем не менее отдавалась им с таким жаром, что кушанья у меня нередко подгорали. Я тяжело вздыхала и чувствовала себя очень несчастной, когда мои мечты так грубо разрушались. И мне очень хотелось спросить у мамы, не была ли она в детстве такой же сумасбродной фантазеркой, как я.

Но вот снова наступила пора года, когда дети играют в шарики. Мария отнеслась равнодушно к тому, что у нее нет шариков, но Калле во что бы то ни стало хотел принять участие в игре. Он раздобыл себе один-единственный шарик, но начинать игру с одним шариком было слишком глупо. Каждый день он приставал ко мне, кланчил у меня денег на шарики.

— Нет, — отвечала я и оставалась непреклонной. С какой стати он получит то, чего я не могла получить, когда еще был жив папа?..

— Но я все же добуду себе шарики! — упрямо заявил он. — Я возьму их взаймы. Вот!

— Смотри только не связывайся с Куртом, — строго предупредила я его.

— А ты не изображай из себя нашу маму! — огрызнулся он.

Как видно, он уже с Куртом договорился. На следующий день он пришел и шепнул мне: — Если ты снимешь штаны и выйдешь сегодня вечером к Курту, он даст мне за это целый мешочек шариков. Он будет тебя ждать в саду.

— Дурак! — сказала я и почувствовала, как покраснела.

— Тебе ничего не стоит это сделать, — просил Калле. — Только смотриними штаны. Так он велел.

— Замолчи! — крикнула я ему прямо в лицо, и Калле пустился наутек.

После этого разговора я не думала больше о Курте, хотя и не забыла, как он в прошлом году надул меня с шариками, — заставил для него выигрывать и ничего мне за это не дал. Но если я воображала, что с ним уже покончено, то я ошиблась.

В один прекрасный день явился Калле и, ухмыляясь, показал мне мешочек с шариками.

— Откуда ты их достал? — спросила я.

— Откуда? Выиграл! — отвечал Калле.

— На один шарик? — спросила я недоверчиво.

— Ты небось думаешь, я их у кого-нибудь свистнул? — ухмылялся Калле.

— Ты взял их взаймы у Курта?

— Все эти шарики до единого — мои. Я занял только три шарика. Все остальные я выиграл, если хочешь знать.

— Он у тебя их заберет, можешь быть спокоен.

— Он сказал, что возьмет только свою часть.

Но на следующий день у Калле был уже совсем не такой гордый вид: в его кармане лежало всего лишь пять шариков.

Он был рассержен и сконфужен, но не хотел признаться, что остался в дураках. «Послушай, — сказал ему Курт, — ты ведь умеешь считать, да? У тебя было четыре шарика, и ты на них выиграл шестнадцать. Значит, на каждый шарик ты выиграл четыре, не так ли? Но у тебя был всего лишь один шарик. Вот он, и получай еще четыре, которые ты на него выиграл. Это вполне справедливо. Но остальные — мои». Калле не был так силен в арифметике, как Курт; он промолчал, взял шарики и сделал вид, что понял все расчеты и признал их справедливость.

— Остерегайся Курта, — сказала я. — Видишь, какой он.

— Не потому ли он так хорошо считает, что у его папы магазин? — спросил Калле.

— Он ведь старше тебя, — объяснила я. — Когда ты походишь в школу, сколько он, ты будешь считать еще лучше, вот увидишь.

Калле немного утешился, но предостережениям моим не внял. На следующий день у него совсем не оказалось шариков, так как он все пять штук проиграл старшим мальчиком.

Курт узнал об этом и сказал ему: — Вот видишь, мои шарики счастливые. И я тебе снова дам взаймы. Но играй только с теми, у кого можешь выиграть.

Калле день ото дня становился все веселее. У него уже было множество шариков, четыре дюжины, утверждал он. Но однажды вечером он бурей ворвался во двор. Я как раз вышла в сарай за дровами. Калле был совершенно вне себя.

— Идем скорее со мной! — крикнул он. — Курт хочет забрать у меня все шарики!

Не думая о том, что я делаю, я пошла за ним. За углом стоял Курт и озирался по сторонам. Он, конечно, опасался других мальчиков. Да, он хотел получить все шарики. — Ведь это мои шарики, — сказал он, — ты это знаешь, Элин. — Я не могла произнести ни слова. — Я должен был получать их с тебя каждый раз, как ты выигрывал, — сказал он Калле. Калле молча отдал ему шарики. Но тут его вдруг охватило бешенство. Он бросился на Курта с кулаками, хотя тот был много старше. И я сама была так возмущена, что тоже чуть не кинулась на Курта. Калле изогнулся, со всего размаху ударил Курта, как это делают большие мальчики; подпрыгнул и еще раз ударил, куда пришлось. Я не знала, что Калле такой сильный. Курт не выдержал нападения и бросился бежать, а отбежав на некоторое расстояние, принялся звать на помощь маму. Калле повернулся и пошел назад. Но шариков он так и не получил.

— Мы никому ничего не расскажем, — сказала я, когда мы были уже в сарае.

— Нет, — сказал он.

— Ни одной живой душе!

— Нет, — обещал он и помог мне отнести домой дрова. — Но здорово я его отколотил! — прошептал он уже в передней.

Это было в марте. По вторникам Янне обычно бывал свободен и вечера проводил за кухонным столом.

Калле был необычно молчалив. Он сидел, подперев голову руками, и смотрел перед собой. Теперь смеркалось позднее, и ему, наверное, хотелось погулять. Но у него не было шариков. Я не думаю, чтобы он боялся Курта. Я так гордилась своим братишкой и вместе с тем удивлялась ему, точно он стал каким-то новым Калле. Теперь это уже не маленький мальчик, а настоящий взрослый брат, на кото-

рого можно положиться. Хотя, по правде сказать, мне было стыдно, что мы связались с Куртом.

Янне заметил, что Калле перестал говорить про шарики, а ведь совсем недавно он ни о чем другом не мог думать.

— Уж не потерял ли ты их? — спросил Янне и по своему обыкновению слегка подмигнул.

Калле обернулся, посмотрел на меня, потом на Янне. Тут я испугалась! Неужели эта история выплывет наружу?

— У меня их отнял один большой парень, — сказал он мрачно.

— Вот видишь, как поступают большие, — улыбнулся Янне. — Как им заблагорассудится.

Калле, вероятно, очень хотелось сказать ему, что большой мальчишка получил по заслугам. Я смотрела на него, затаив дыхание. Прошло по крайней мере с полминуты, прежде чем я оказалась в состоянии выговорить: — Если бы у Калле нашлось десять эре, он смог бы купить себе другие шарики.

Янне благодушно кивнул. — Я тебе дам, — сказал он.

Я считала, что Калле заслужил эти десять эре! Он расцвел такой гордой улыбкой, словно праздновал полную победу над Куртом.

— Вот теперь я смогу играть! — воскликнул он и больше не возвращался к этой теме.

* * *

Когда мама поднялась на ноги, была уже весна. Она чувствовала себя не совсем хорошо, но не могла улежать в постели. — Солнце светит слишком ярко, — сказала она улыбаясь. — Видно, зима уже прошла окончательно. Впрочем, как знать.

У нее совершенно не было сил. Она едва могла просмотреть газету. И у нее не было больше молока для маленького. Мы кормили его из соски, но он капризничал и пищал, не получая материнского молока. Мама была далеко не так счастлива тем, что поднялась, как она это хотела нам показать. Как-то раз она принялась шить, но скоро опустила шитье и прикрыла глаза руками. «Слишком ярк дневной свет, наверное», — подумала она. И сказала с глубоким вздохом: — Не знаю, как я смогу жить без папы. А ведь все могло бы быть иначе... — Мне очень хотелось спросить, что

могло бы быть иначе, но у меня не хватило решимости. Я не могла себе представить маму и папу иными, нежели они были. Папа редко бывал всел в последнее время, но разве это мамина вина? Разве он не всегда был замкнутым, не всегда много читал и думал?.. Нет, я не хотела говорить с нею о папе. А то мы обе расплачемся.

Я считала, что и маме будет легче, если не говорить о нем, особенно теперь, когда она чувствовала себя такой усталой и больной. Да и некогда было хныкать, столько было всяких дел по хозяйству! Но ее все время тянуло к окну, откуда было видно кладбище Санна. Я как-то подошла к ней и только хотела сказать, что не нужно думать о могиле, ведь это так печально, как она обернулась ко мне: — Сколько они там строят, у Кунгсладугорда!

Я поспешила поддержать разговор: — Это строит компания «Трансатлантик». Там будет много квартир. Коммунальных квартир для бездомных.

— Вот такие квартиры город может строить. Можно подумать, что все городское управление состоит из домовладельцев, которые хотят нажиться на жилищной нужде. Позор! Если бы найти в себе силы и высказать им все. — Мама вздохнула и села на стул. — Но они хорошо знают, что им нечего бояться простых рабочих. Мы измучены, слабы, и времени у нас нет. Будь иначе, мы не дали бы им покоя. До тех пор пока в риксдаге и городском управлении не будут заседать женщины, нам нужно было бы требовать, кричать, чтобы отцы города наконец поняли, какое безобразие эти жалкие жилища, в которых должен селиться бедный люд. Но они ведь знают, что, пока у нас плохие жилища, мы сами будем больны и слабы. И хорошо если у нас хватит сил хоть на то, чтобы не дать умереть нашим детям.

— А мы не можем переехать в Кунгсладугорд? — спросила я.

— Раз мы не могли перебраться туда раньше, то теперь и подавно не сможем. Мы должны еще радоваться тому, что у нас есть. Так все устроено на этом свете, Элин. Мне бы очень хотелось, чтобы ты приняла участие в перестройке его к лучшему.

«Если бы мама могла все это высказать!» — подумала я. Но к кому она пойдет и кому скажет? Сколько бы она об этом ни рассказывала соседкам и другим знакомым женщинам, ей все равно не удастся увлечь их за собой и

устроить демонстрацию женщин. И не все живут так тесно, как мы.

Если у бездетных супругов есть комната с кухней, они могут хорошо жить. Не с ними же пойдет мама разговаривать. Она может говорить это мне или Янне, но что мы в силах сделать?

А мама часто говорила о дурных условиях, в которых живут рабочие. Она считала, что именно в этом главная причина распрей и несчастий в семьях. Насколько я помню, она и папе часто говорила, что хорошо было бы нам переехать в какую-нибудь другую квартиру, где больше места и больше удобств. Поэтому я обрадовалась, когда она вновь заговорила о домах и жилищах. Может, это отвлечет ее от горя и болезни.

— Удивительно! Есть же люди, которые находят вот такие старые, темные лачуги поэтичными,— заметила однажды мама.— Они созерцают их лишь снаружи и не думают о том, как нам живется внутри. Они не знают, что мы живем в них только потому, что не в состоянии платить за достойное человека жилье. Недавно один из таких вот сентиментальных наблюдателей написал статью в газете, я читала. До чего же плохо они видят, эти господа писаки! Им бы поговорить с людьми, тогда бы они узнали, какая здесь поэзия. Почему-то они не пишут о том, что в больших квартирах в городе живут одинокие старики-богачи, которые забивают свои громадные комнаты старинной мебелью.

— Теперь, когда так много строят, город приближается к нам,— сказала я.

— Если бы это были настоящие дома! Но для рабочих они строят лишь однокомнатные квартиры. И те, кто строит, конечно, никогда не думают о том, что в такой квартире придется жить целой семье. Что в семье дети и что дети растут. Как они устроятся в одной комнатушке,— это никого не интересует. Домовладельцы на десяти маленьких квартирках наживают больше, чем на пяти больших,— а это для них главное. И потом они хотят, чтобы соблюдалась разница между простым народом и богачами. Богачи могут жить как им угодно, а для бедняков сойдут и лачуги. По крайней мере богачи издали слышат запах нищеты от нашей одежды и держатся подальше от нас.

— Мы и знать с ними не хотим!

— Конечно, нет, упаси бог! Подумать только, вытягиваться перед такими господами в струнку, как это делают их слуги. Сгибаться перед ними в три погибели! Я помню, мне пришлось как-то разговаривать с одной молодой женщиной, которая служила у господ на авеню Кунгспорт. Ее хозяева были такие важные, что слуги не смели входить в комнату иначе, как по звонку. Если надо было что-нибудь сделать в барских комнатах — ну, там подать или прибрать, — прислуга должна была входить или в специальных туфлях, или в одних чулках. Когда бывали гости, хозяйку надо было величать «ваша милость», а стелить им постели приходилось в перчатках.

— Это не настоящие люди, — сказала я.

— Если послушать, как они разговаривают при посторонних, можно подумать, что они не люди. Но когда они запираются у себя в спальне и начинают между собой ругаться, это у них выходит, как у самых обыкновенных людей. Не все, правда, богачи таковы. Некоторые из них такие благосклонные, такие ласковые в разговоре, просто диву даешься. Можно подумать, они выучились так разговаривать у самих ангелов небесных.

— Значит, они такие же люди, как и все обыкновенные люди? Так же ходили в школу, играли в шарики, прятки и прочее?

— Я думаю, что они даже делали в штаны. Важность приходит с деньгами.

Тут я громко расхохоталась, и мама засмеялась вместе со мной. Я очень обрадовалась, потому что теперь была уверена, что мама поправится.

* * *

Янне прочно обосновался на продовольственном складе. Ему прибавили жалованье, и теперь он получал больше, чем в свое время папа на верфях. Рука у него совсем зажила. Но он все еще продолжал жить с нами.

— Я не понимаю, почему ему так нравится у нас, — удивлялась мама. — Далеко отовсюду, тесно, шумно. Он мог бы жить и не в такой старой лачуге, как наша. Но подумай, что будет с нами, если он встретит хорошую девушку, захочет на ней жениться и уйдет от нас?

— Она может поселиться с нами и помогать тебе, — заметила я. — Ведь квартиру им не дадут.

— Ну нет. Она, конечно, не захочет,— вздохнула мама.

Но Янне оставался по-прежнему милым и добрым. Уходил и возвращался, и никогда не жаловался, что дети слишком шумят, и не заикался о том, что собирается взять себе жену. Читал он гораздо меньше папы, но каждый день приносил с собой газеты. И все было почти совершенно так же, как при папе: мама и Янне садились каждый со своей газетой, читали и обсуждали прочитанное. Играл с нами Янне чаще, чем папа.

Весною Мария стала прихварывать. Ее часто лихорадило. Она очень полюбила сидеть на коленях у Янне. Это произошло после одного случая, когда у нее болело горло и он взял ее к себе на колени. Мария сразу же почувствовала себя лучше, и боль как рукой сняло.— Тебе хочется быть дочкой Янне,— улыбнулась мама.— Да,— прошептала девочка.

У Янне был очень довольный вид.

— Да, хорошо иметь детей,— сказала мама.— А то жизнь такая мрачная, что даже страшно подумать. Словно что-то грозит упасть на тебя и похоронить под собой. Когда я была больна, я ни о чем не думала. А сейчас читать газеты страшнее, чем когда бы то ни было.

Янне пристально на нее посмотрел, но ничего не ответил, только крепче обнял Марию и прижал к себе. Она свернулась в комочек в его объятиях.

— Что с ними будет, когда они подрастут? — продолжала мама.— Как жить людям? Все дорожает с каждым днем, а продуктов все меньше. Иногда прямо плакать хочется. За маленький хлебец приходится отдавать шестьдесят пять зре, картофель достаешь редко, свинины нет совсем, гороха тоже. В каждом доме лишь брюква, рыба да сухой хлеб; изо дня в день слышишь жалобы. Мужья ругаются, жены ворчат, но от этого никому не легче.

— Когда ясли пусты, лошадки кусаются, известное дело! — отшутился Янне.

— В том, что люди недовольны, что они громко ропшут, нет ничего удивительного. Но толк-то какой? Важные господа по-прежнему все забирают себе, а бедным остается только радоваться их благоденствию, это им разрешается.

Янне подмигнул: — Надо учиться смирению.

— Осторожнее, не вздумай учить таким вещам детей! — рассмеялась мама.— Мы-то с тобой никогда особым смире-

нием не отличались. Человек, если не хочет пропасть, должен держать голову высоко.

Все жаловались на сухую и холодную весну. Меня это удивляло. Ведь стояла такая прекрасная погода, в «Майских горах» весело играли дети и щебетали, соревнуясь с птицами.

Я вывозила Хельге в колясочке на Слоттсскугсгатам и на наши холмы. У нас в Майурне воздух был очень чистый. Ясное голубое небо расстиралось над горами и хижинами. Далеко внизу вилась река, словно широкая иссиня-серая дорога. Каждый день сияло солнце. Старики и маленькие дети грелись на солнышке, и в солнечном свете лачуги не казались такими убогими.

Я очень гордилась моим маленьким братцем и охотно останавливалась, когда соседки хотели на него посмотреть. Меня ничуть не задевало, что мальчишки, пробегая мимо, кричали: «Это твой младенец, ха, ха!..» Маленькие девочки с удовольствием гуляли вместе со мной, фыркали на глупых мальчишек и восхищались Хельге. Некоторые из них, завидя колясочку, подходили к нам со своими куклами. Они мне завидовали.

Я знала, что выросла. Люди говорили, что я выгляжу старше своего возраста. «Только не стать смиренной,— вспоминала я разговор мамы с Янне.— Человек должен высоко держать голову!»

Когда меня видели вместе с маленькой худой и бледной Марией, то шутя спрашивали: — Уж не объедаешь ли ты свою сестричку?

— Она потому такая худенькая, что много болела,— объясняла я.

— Мария очень похожа на своего отца,— говорили соседки.— Хорошо, что у твоей бедной мамы есть такая дочка, как ты. Ты должна радоваться, что можешь ей помочь.

Мама была теперь далеко не такой крепкой, как прежде. Часто жаловалась на поясницу и очень быстро уставала, если ей случалось много ходить или подолгу стоять на одном месте.

— Так всегда бывает после болезни, со временем пройдет,— говорила она.— А вообще я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно.

Она не хотела признаться, что у нее очень беспокойно на душе, но я это отлично понимала. В ту весну многие нервничали и волновались: очень уж трудно было сводить концы с концами.

— Счастье, что папа не видит этого,— сказала мама как-то раз, когда мы с ней сидели вдвоем за столом.— Не стоило бы читать газет, да хочется все знать. Подумай только, как они ненавидят социализм! Кто бы мог поверить, что в Финляндии произойдут такие ужасы. Но если бы у нас рабочие восстали за свою свободу, то наши важные господа проявили бы такую же жестокость, как и финны. Я уверена, что папа выполнил бы свой долг и отдал, если бы понадобилось, свою жизнь. «Человек не должен творить несправедливость, но он не должен также терпеть несправедливость»,— вот что сказал бы папа, я знаю.

«Папа был социалистом, и мы должны быть социалистами. Я проявлю твердость. Сожму кулаки, ничего не испугаюсь. Если сюда вьются немцы на помощь нашим буржуа, то нас, может быть, даже расстреляют,— думала я.— Но тогда мы спрячемся — ведь им неизвестны те места, где мы можем спрятаться. И мы возьмемся за камни...». Я даже решила внимательно следить по газетам и не упустить момент, когда немцы придут и к нам.

Однако шли недели и ничего особенного не происходило. Приближалось лето. Но погода стояла холодная и сухая. В июне по ночам бывали заморозки. Люди опасались неурожая ко всем прочим напастям. Неурожай, по их мнению, неизбежен во время войны. В газетах мы прочитали, что немцы и на западе не продвигаются вперед.

— Они начинают выдыхаться,— сказал Янне.

— Сюда они не посмеют сунуться,— решила мама.

В середине июня пошла дожди.

Этим летом Калле и Мария должны были отправиться в летний школьный лагерь. Янне предлагал маме забрать обоих младших и поехать с ними в деревню к нашим родственникам.— Мы с Элин управимся тут вдвоем,— сказал он.

Но мама не согласилась.— Поехать в деревню и сесть на шею родственникам, нет, что ты!..— Она полагала, что лучше быть дома, на тот случай, если она вдруг опять сляжет, чем оказаться обузой для чужих.

Она и сама понимала, что хуже всего у нее обстоит дело с нервами.— Что-то все глохнет меня и глохнет, и такую чувствуешь усталость,— говорила она.— Но со временем все пройдет.

Наступило лето. На солнце было очень жарко. Стены домов пахли старым деревом. На улицах было пыльно, от канав и помоек смердило.

— Ой, горячо! — кричал Артур, когда ему случалось ступить босыми ножками на песок или камни, нагретые солнцем. Жгло везде, куда ни ступи, и он принимался хныкать и проситься на руки, такой большой мальчик!

Мама очень страдала от жары, она была такая слабая, в глазах у нее часто темнело. Но она не щадила себя. Часами простаивала у раскаленной плиты, жарила селедку или другую рыбу, и часто ей приходилось за что-нибудь держаться, чтобы не упасть. Если я ее уговаривала отойти от печки и посидеть, она отказывалась.

— Притвори скорее дверь, — говорила она, — не то весь чад пойдет на чердак к нашей старушке. Жаль бедняжку: в такую жару ей приходится сидеть под самой крышей!

Тяжелее всего маме было ходить в город за покупками и стоять там в очередях. Я всегда за нее беспокоилась. Ей никак нельзя было этого делать.

— Разве я совсем уж ни на что не годна? — нетерпеливо возражала она, когда я упрекала ее за это.

— Янне может купить, — говорила я.

— Все Янне да Янне! У него довольно своих забот, — сердилась мама, и я умолкала, потому что так дело могло дойти до ссоры и даже до слез.

Однажды, вернувшись с младшими братьями домой, я застала ее низко склонившейся над газетой. Я думала, что она спит, но она плакала. Затем она показала мне фотографию, где были изображены сдавшиеся в плен немецкие солдаты, и прошептала: — Вот этот так похож на папу... Мне даже страшно смотреть...

Я опять принялась с нею спорить и доказывать, что старики на фотографии ни чуточки не походили на папу, и нечего ей думать об этом, лучше лечь отдохнуть в такую жару...

— Сколько им приходится переносить, — прервала она меня. — Как они страдают, в жару и в дождь, — и все только, чтобы приносить вред друг другу. Больные, раненые — и никакой помощи. Это так ужасно, что не хочется верить. В конце концов смерть — не самое страшное. А для чего все это? Какая польза? Одно лишь разрушение.

Я попробовала ее отвлечь, заговорив об Артуре и о его обожженных ножках, но она снова перебила меня:

— Они, должно быть, не в своем уме. Они лишь повинуются, как неразумные животные. Их мучители идут сзади и погоняют стадо, куда им заблагорассудится. И впереди и позади один лишь черный страх. Они не смеют сами сделать выбор. Они не люди.

Не проходило дня, чтобы мама не бралась за что-нибудь такое, чего ей никак не следовало делать. Она таскала воду и надрывалась над стиркой, хотя у меня-то было больше сил. Мыла лестницу и вытряхивала половики, когда я уходила гулять с детьми. Если я просила ее перестать, она возражала, что у меня и без того дел довольно и нечего изнурять себя прежде времени.

Мама считала, что ей еще лучше живется, чем многим другим, и печалилась о чужих невзгодах. Без конца говорила она о том, как тяжело одним, как бедствуют другие,— у них же нет Янне, который приносил бы домой дешевые продукты,— и, захватив немного хлеба и остатки обеда, она отправлялась к кому-нибудь из бедных соседей.

Я не смела возразить, но мне было досадно: ведь она отнимала у нас, чтобы накормить чужих. Мама заметила мое неудовольствие и однажды сказала:

— Как знать, может быть, и вы когда-нибудь окажетесь в нужде,— вас ведь пять душ, мало ли что в жизни случается... И тогда, может статься, вам помогут, как я сейчас помогаю другим.

В конце концов она не выдержала такой жизни. Как-то раз, с трудом дотащившись домой, после того как целый час простояла в очередях, она принялась растапливать печь. Сырые щепки разгорались туго, мама подложила бумаги, но печь только дымила. Тогда она присела на корточки и принялась раздувать огонь. Внезапно вспыхнуло яркое пламя. Мама упала навзничь и осталась лежать на полу. Артур громко закричал.

Я видела это из комнаты, где возилась с Хельге. Прежде всего я подумала, не обожглась ли мама, не загорелось ли на ней платье, не распространился ли огонь по кухне!.. Но, вбежав в кухню, я убедилась, что огонь погас.

Однако почему же мама не поднимается? Артур орал не переставая. Я выпустила Хельге из рук и даже не заметила этого, спохватилась, лишь увидев, что он ползет по полу. Я не потеряла присутствия духа, и передо мной отчетливо встал вопрос: что мы будем делать, если останемся одни?

Как сейчас вижу маму безжизненной, расprostертой на полу. Особенно поразило меня отсутствие какого-либо выражения на ее лице.

Артур спросил у меня: — Мама умерла?

«Ты-то хоть не ори», — хотелось мне ему сказать, но я не решилась. Только взяла его за руку, и тогда он замолчал.

Хельге с голым задиком полз через порог в комнату. Он выбрался из штанишек, которые я на него надевала, и, казалось, был очень доволен, потому что весело смеялся. Он дополз до мамы, обвил ручками ее шею и улегся рядом, засунув большой палец в рот.

Я хотела поднять его и унести, но Артур вцепился в меня и не отпускал. В это время мама открыла глаза и испуганно огляделась. Поднесла руку к шее и нащупала ручки Хельге.

— Где я? — прошептала она хрипло.

— Мама! — закричал опять Артур и хотел броситься к ней.

Она не могла подняться. Я помогла ей сесть. Хельге, по-видимому, считал, что мама с ним играет: хохотал и отбивался от меня, когда я взяла его на руки. Мне пришлось помочь маме добраться до постели. Она сильно ударилась затылком и спиной.

Когда я приготовила обед и вошла к ней с тарелкой рыбного супа, она опять была без сознания. Сначала я хотела бежать за помощью к кому-нибудь из соседей, но не решилась оставить ее одну с двумя маленькими детьми. Может, лучше послать Артура к фру Клинт и попросить ее прийти? Только бы он опять не испугался... Я не знала, что делать. Но нельзя же оставить маму так, без помощи; мне казалось, что она умрет, если не привести ее поскорее в чувство. Позволив Артуру спокойно играть старыми часами, я смочила полотенце и приложила маме ко лбу, как она когда-то прикладывала Марии. Мгновение спустя она глубоко вздохнула и застонала. Затем устремила взгляд в потолок, будто не понимая, что здесь происходит.

Но тут пришел Янне. На этот раз худшее осталось позади.

С того дня мама все время лежала. Она ужасно ослабела и временами даже бредила. Ей казалось, что она лежит уже очень давно.

— Что, все еще зима? — спрашивала она. — У нас еще остались дрова? Что пишут в газетах о мире?

О папе она как будто совсем забыла. В первое время она почти о нем не упоминала. Зато охотно рассказывала про Янне и много вспоминала о том, как они оба были детьми. Рассказывая о нем, она всякий раз оживлялась.

Когда Янне находился дома и сидел около нее, она была счастлива. Он читал ей вслух газеты, и они разговаривали о самых разнообразных вещах. Почти на все, что она говорила, Янне откликался короткими шутливыми замечаниями. Если речь шла о чем-нибудь серьезном, он только молча кивал. Мне казалось, что мы, дети, для них где-то на втором плане.

На Западе, там, за шхерами, свирепствует война. С другой стороны — город и все остальное: кризис, политика, кражи, несчастия, Финляндия, Россия. Повсюду опасности, тревога, борьба, хотя все это далеко от нас. Мама считала, что все напасти связаны между собою в один клубок и что все они из-за войны.

— До тех пор, пока на свете продолжается война, не может быть ничего хорошего, — говорила она. — Если Англия вздумает напасть на русских, то и там может получиться, как в Финляндии. Это будет ужасно.

— Белогвардейцев везде довольно, — отозвался Янне. — Вот один журналист обозвал их убийцами, когда шведская бригада вернулась из Финляндии, и ему пришлось заплатить за это семьдесят пять крон штрафа. А белогвардейские молодчики как ни в чем не бывало разгуливают и распевают песни о свободе на земле. Журналист-то эту песню не поет.

— А если бы запел, он был бы лжецом, — сказала мама.

— Лишь бы он не боялся говорить правду и впредь. Если за каждое слово правды придется расплачиваться семьюдесятью пятью кронами, то это, конечно, окажет свое действие. — Хотя Янне и засмеялся, но сказал это вполне серьезно.

— Чего только тебе не приходится слышать! Это потому, что ты все время находишься на людях, — сказала мама. — Просто страшно становится, когда подумаешь, как все это нелепо. Но должен же когда-нибудь наступить конец, чтобы люди могли спокойно жить. Как ты думаешь?

Они много говорили о белогвардейцах. Мне казалось, что Янне тоже стал интересоваться политикой. Да ведь и газеты почти каждый день об этом писали. Белогвардейцы

часто попадали в тюрьму за мошенничество, за пьянство и дебоши. Их настолько не терпели на предприятиях, что слово «белогвардеец» сделалось ругательством. Тем не менее многие директора нанимали их в качестве управляющих или надсмотрщиков. Может быть, это был приказ партии правых. Ведь сержанта — участника финского восстания на работу не взяли.

В один прекрасный день Янне сообщил нам, что и у них на складе появился белогвардеец. Никто не мог понять, в чем заключаются его обязанности. Он называл себя прапорщиком и решительно ничего не умел делать. Бестолково слышался он по складу, держа в руках какую-то бумагу. «Будет подсчитывать капустные кочерыжки», — говорили рабочие.

Но вышло иначе. Специально для него была учреждена должность контролера, и первый удар обрушился на Янне. Не прошло и недели, как новый контролер объявил, что Янне на складе делать нечего. Его уволили, он стал перебиваться случайной работой; в это время свирепствовала испанка и многие рабочие болели.

— Теперь главное — уберечься от испанки, — говорил Янне. — Если заболею, всякой работе конец.

Он подмигивал по своему обыкновению. Ведь он был моряком и привык на море ко всяким передрягам. Но на этот раз не уберется.

Когда Янне слег, маме пришлось подняться, чтобы ухаживать за ним. Только бы он не схватил воспаления легких! Она ухаживала за ним так, словно у нее появились новые силы. Янне пролежал дома две недели. Это было тяжелое для нас время.

Мария и Калле возвратились из школьного лагеря. Наступила осень. Но из-за испанки школы были закрыты. Теперь в хорошую погоду с Хельге выходила гулять Мария, и Артур их сопровождал. Он стал очень хворым, совсем не походил на прежнего живого мальчика, не играл с товарищами. Дома все сидел в сторонке, занимался старым будильником и папиными инструментами. Теперь я ходила покупать провизию и стояла в очередях. Иногда Калле помогал мне нести домой покупки.

В тот самый день, когда Янне выздоровел, и всего лишь полчаса спустя после того, как он в первый раз отправился на работу, явились двое полицейских, чтобы его арестовать.

Они сказали, что он украл на складе товар, и обыскали весь дом, ища краденое. Это произошло до того, как я сходила в магазин, поэтому они не нашли решительно ничего: ни одной картофелины, ни кусочка хлеба — ничего. Полицейские старались держаться строго официально, но все же время от времени они недоуменно переглядывались. Признаться, что попали впросак, они не решались. Спросили маму, нет ли у Янне какой-нибудь другой квартиры.

— А где ее взять? — отозвалась мама. — Разве в Гетеборге так много свободных квартир?

На это они ничего не ответили, но поинтересовались, часто ли он бывает дома.

— Часто? Он две недели пролежал в испанке.

Услыхав про испанку, полицейские заторопились и скоро ушли.

Пока они рыскали по дому, Калле не отходил от них ни на шаг и следил горящими глазами за каждым их движением. Когда они вышли за дверь, он сжал кулаки.

— Вот я их камнем! — крикнул он, посмотрев на меня.

— Не смей выходить! — остановила я его.

Но он уже был в передней. Полицейские стояли внизу у лестницы и оглядывали двор. В дровяной сарай они уже успели наведаться.

— Проклятые разбойники! Когда я вырасту большой, я им задам, — бормотал Калле.

Янне вернулся в конце дня. Он был в полиции, его допрашивали. На складе ужасный переполох. Произошло массовое хищение товаров. Целый воз закупленного товара так и не попал на склад. Подвергли допросу многих служащих, но контролер-белогвардеец в первую очередь указал на Янне.

Не так уж трудно оказалось выяснить, что товары украл и продал этот самый белогвардеец. Слишком грубо он действовал, уверенный в том, что сможет свалить вину на кого-нибудь другого.

— Это самый глупый вор, какого мне когда-либо приходилось встречать, — сказал Янне и подмигнул. — Тот, кто собирается оклеветать честного человека, должен действовать хитрее.

Янне вернулся на склад и был восстановлен в своей прежней должности. Он был рад, а мы еще больше, потому что теперь ему не придется искать себе нового места. Пока он лежал больной, мы здорово изголодались.

И снова у нас все пошло так же, как до болезни Янне. Мама лежала иногда половину дня, но чаще весь день. Возвращаясь с работы, Янне по-прежнему садился около нее и читал ей газеты, а она в это время что-нибудь чинила или шила, покуда у нее хватало сил. Но теперь они оба повселели. Каждый день приносил радостные вести. Дела немцев очень плохи, Австрия и Болгария хотят мира; весь германский фронт трещит. События опережают одно другое. В Германии новый рейхсканцлер, Германия запросила мира. Чехи добились освобождения.

— Лежишь вот здесь,— вздохнула мама,— а на свете все движется, меняется...

Впрочем, она теперь не выражала ни беспокойства, ни нетерпения. Не жаловалась, что у нее что-то болит. Много спала. Случалось, что она как будто погружалась в забытие, но тут же приходила в себя, покрасневшая и вся в поту. Глаза ее иногда лихорадочно блестели, а потом становились красными. Когда я по утрам спрашивала, как она себя чувствует, мама вместо ответа заговаривала о чем-нибудь совершенно другом. Так, однажды она мне сказала: — Бастующие рабочие в Германии организуют демонстрации и поют революционные песни.

Она могла без конца слушать, когда Янне, усевшись около нее, принимался рассказывать. Казалось, что эти рассказы ей нужны больше, чем пища, которую я ей приносила. Ела она очень мало, зато много пила. И становилась все тише и тише, даже когда Янне сидел около нее.

— Я думаю, что теперь наши белогвардейцы угомонятся,— весело сказал он как-то вечером.— Немецкие газеты пишут, что кайзер собирается отречься от престола. Генералу Людендорфу пришлось убраться. В Вене будет провозглашена республика. Мир близок, у самого порога. Только вот никак не успокоятся финские белогвардейцы: собираются немецкого принца сделать королем Финляндии.

— Ах, если бы был жив папа,— проговорила мама медленно, не открывая глаз.— Видно, наступают новые времена.

Хельге исполнился год. Но он еще не ходил.

Теперь он ползал повсюду, и его не всегда можно было сразу найти. Он научился подниматься на ножки, держась за мамину кровать. Свои первые шаги он сделал от одного конца кровати до другого. С тех пор это стало для него

самым большим удовольствием: покачиваясь и держась за кровать, ходить вперед и назад.

Хельге доставлял маме много приятных минут. «А?» — произносил он и вопросительно на нее смотрел. «А! А! Вот!» — говорил он, улыбаясь и показывая на что-нибудь своим крошечным указательным пальчиком, чуть согнутым так, словно он собирался кого-то ущипнуть. И он произносил еще какие-то звуки и, наверное, думал, что мама все понимает.

Если он говорил «мама», обращаясь к нам, это значило, что он хочет взобраться к ней на кровать.

Как-то Хельге подошел к ее кровати, когда там только что уселся Янне. Мама взяла его за ручку и долго на него смотрела.

— Да, и русской революции тоже скоро исполнится год, — сказала она Янне.

— Похоже, что матросы германского флота собираются отпраздновать эту годовщину, — улыбнулся Янне. — Они устроили восстание в Киле и захватили власть. Солдатские Советы взяли власть в городе! Да, дело подвигается вперед, безусловно...

Хельге возбужденно выкрикнул: «А-а, а-а!» — и издал еще ряд непонятных звуков.

— Да, да, я понимаю, — кивнула ему мама. — Тебе тоже хочется поговорить. Это хорошо.

В воскресенье вечером Янне вернулся домой поздно. Маме стало хуже, я совсем растерялась и едва дождалась, когда он придет. Не знала, что мне делать.

— В Берлине революция! — сказал он, как только вошел. — Кайзер бежал.

Янне весь сиял. Он был в городе и читал расклеенные там последние сообщения. На улицах масса народу. Я ни слова не успела ему сказать, как он уже вошел в комнату.

— Революция в Берлине победила, — сказал он. — Рабочие водрузили красное знамя на дворце.

Калле выскочил на улицу. Мне очень хотелось пойти с ним, я взглянула на маму. Но она на меня не смотрела. Она металась и стонала так, что мы очень за нее встревожились. По-видимому, у нее был сильный жар. Янне хотел немедленно бежать за доктором.

— Сейчас уже поздно, не стоит беспокоить людей, — сказала мама. — Дайте мне хины.

У нас оставалась хина после болезни Янне, и когда я взяла бутылку, я увидела также и порошки, которые он принимал. Но мама выпила только хину.

Ночь была тяжелая. Первая ночь, проведенная мною без сна. Янне надо было поспать хотя бы немного: рано утром ему идти на работу. Я тоже несколько раз начинала дремать, но тут же вскакивала: мама лежала не двигаясь, несколько раз мне казалось, что она умерла. Она то погружалась в забытие, то начинала метаться и хотела встать. Немного успокаивалась она, только когда ей давали пить.

Наконец вернулся Калле. Я не посмотрела, который был час. Калле очень хотелось рассказать о том, что он видел и слышал, но нам было не до этого, и он тут же лег и заснул.

Утром Янне ушел на работу, а я только и знала, что давала маме порошки или просто воду всякий раз, как она приходила в себя, да еще следила за тем, чтобы она не сбрасывала одеяло. В полдень явились доктор и медицинская сестра. Я считала, что у меня очень хорошо все прибрано в доме, однако первое, что они сделали, это принялись возмущаться нашими квартирными условиями.

— Больному человеку нельзя здесь находиться, — сказал доктор. — Пятеро детей и двое взрослых в такой дыре! Да здесь никому нельзя жить.

Но мы ведь ничего другого не видали. Это был наш дом, и слова доктора меня обидели. Я тут же решила про себя, что не пущу больше посторонних, пусть никто не видит, как у нас тесно и невзрачно. Может быть, именно поэтому мама и не хотела звать доктора? Она-то, поддерживавшая свой домашний очаг, пока у нее хватало сил, знала, чего это стоит. Легко говорить доктору: «Никому нельзя жить в такой дыре!..»

У мамы была испанка, теперь началось воспаление легких и, может быть, еще что-то похуже, — ее немедленно надо отправить в больницу. Так распорядился доктор. Сейчас там есть свободные места, так как эпидемия испанки пошла на убыль.

— Нет, нет! Уехать от своих маленьких? — взмолилась мама, переводя полный отчаяния взгляд с доктора на сестру.

Но доктору некогда было выслушивать возражения. Он ушел, велел сестре дожидаться кареты скорой помощи.

Артур кричал, Мария всхлипывала, когда маму увозили. Калле с диким видом сжимал кулаки и скрежетал зубами.

Даже сестра была тронута; на глазах у нее выступили слезы, и она осталась, чтобы нам помочь.

Сестра оказалась доброй и ласковой женщиной. Она занялась Хельге и Артуром, хотя сначала они и знать ее не хотели. Благодаря ей я смогла пойти купить что-нибудь на обед. Но когда вернулся домой Янне, она ушла.

Янне был очень удивлен, когда узнал, что маму увезли. Он уже договорился с одним доктором, чтобы тот прислал сиделку, которая бы ухаживала за мамой. В доме стало так пусто, так необычно! Мы только и думали о том, каково маме в больнице. Мария хныкала и непременно хотела пойти к маме. Хельге ползал по полу и удивленно повторял: «Мама, мама!». Он, конечно, ничего не понимал, но мы видели, как он поражен тем, что мамина кровать пуста. Артур принялся уговаривать его и несколько раз повторил, что мама вернется к нам, как только выздоровеет.

Мы с Янне тоже верили, что именно так оно и будет. Не будь у нас этой веры, мы не могли бы в тот вечер заснуть. Но мы все-таки очень устали, и нас угнетало ощущение пустоты и тоска. Один за другим, едва добравшись до постели, мы заснули.

Мне было страшно. Я боялась, что и на следующий день произойдет что-то неожиданное, ужасное. Я проснулась рано, лежала и думала о том, как было бы хорошо, если бы Янне остался дома. Но попросить его об этом я не решилась: ведь ему нужно идти на работу. Я знала, что, оставшись одна, я буду вроде Хельге тосковать по маме, не понимая, что случилось.

Весь день я никуда не ходила дальше дровяного сарая. Мария и Калле были в школе. Мне все пришлось делать самой; теперь я почувствовала, как мне помогала мама, даже когда лежала в постели. Временами мне очень хотелось пойти в больницу, спросить про маму. Что бы я ни делала, мне все казалось, что я столкнулась с этим впервые в жизни. Все валилось из рук, все было трудно, непривычно, и я так устала, так устала, но не хотела себе в этом признаться. Артур и Хельге следовали за мной по пятам, словно боялись, что меня тоже увезут. И мне приходилось еще сдерживаться, чтобы не заплакать, глядя на опустевшую комнату и на двух маленьких братьев.

Когда Мария и Калле вернулись из школы, я заставила их помогать мне, и они повиновались без малейшего возражения. Они хорошо понимали, что теперь мы должны помогать

друг другу. Калле даже без моей просьбы наколол дров. Мы работали дружно. Но было очень тихо. Мы старались все время оставаться в кухне. Только Хельге ползал по комнате и жалобно хныкал: «Мама, мама!»

Янне вернулся домой раньше обычного, и мы немного повеселели. Он принес продуктов, я начала жарить рыбу, и все пошло своим чередом.

Но после того как мы поели, он увел меня в комнату и сказал, что был в больнице. К маме его не пустили, а сказали только, что у нее сильный жар и бред. Врачи ждут кризиса.

— Нам тоже остается только ждать, — сказал Янне.

Когда мы легли, я не смогла больше крепиться. Трудно было уснуть. Я слышала, что и Мария всхлипывает, стараюсь сдержаться. — Мария, — шепнула я. Она сейчас же по-вернулась ко мне, обняла меня за шею, и так мы с нею лежали, а слезы текли и текли... Словно нам уже давно хотелось поплакать вот так, вместе, но мы не смели в этом признаться. Теперь можно было бы поговорить о маме. Однако вскоре мы уснули.

Проснувшись утром, я постаралась думать только о том, что мне предстояло делать по хозяйству. Янне уходит на работу, надо приготовить ему завтрак; потом отправить Марию и Калле в школу... Немного постирать. В комнате должно быть чисто и уютно к возвращению мамы. Потом заняться Артуром; потом вернутся Калле и Мария, и все пойдет, как обычно...

Однако день показался таким долгим и странным. Ждать... Только ждать...

Пока я стирала, Хельге так тихо сидел в комнате, что я пошла взглянуть, чем он там занят. Я нашла его за дверью, где висел на крючке мамин фартук. Хельге сидел, крепко вцепившись в фартук и засунув в рот большой палец. Артур вошел в комнату вслед за мной. Остановился, посмотрел на Хельге, но ничего не сказал. Хельге смотрел на нас и тоже молчал.

К счастью, никто из соседок к нам не заходил справиться о маме: все они очень боялись заразиться. Мне следовало бы подняться на чердак к старушке Дитмар, поговорить с нею, но я не могла себя заставить. Ждать, только ждать... Вернулся из школы Калле и спросил, ходил ли кто-нибудь в больницу.

— Кому же было ходить? — ответила я грубо, хотя во все этого не хотела. Калле больше ничего не спросил.

Мария вернулась на час позже и сразу же заговорила о том, что надо идти в больницу.

— Детей туда не пускают, — сказала я.

И снова воцарилось молчание. Много спустя, без всякого к тому повода я проговорила:

— Нам остается только ждать.

Я была бы рада, если бы Калле мне тоже нагрубил, если бы кто-нибудь сказал хоть слово. Но было так тихо, что становилось страшно. Мы все пятеро по-прежнему сидели в кухне.

Я намазала бутерброды, и мы стали есть. Достала вчерашнюю жареную рыбу. Очистила одну рыбешку для Артура, другую размяла для Хельге, как меня учила мама. На этот раз Калле и Мария не подняли шума из-за костей. Молча и спокойно они ели, терпеливо вытаскивая изо рта косточки.

«Почему вы молчите?» — хотелось мне им крикнуть.

Поев, они встали и по очереди вытерли руки о полотенце. Артур последовал их примеру.

— Если вам заданы уроки, то лучше всего сделать их сейчас, — сказала я.

Калле взялся за книги, затем села заниматься и Мария.

И они принялись делать уроки. А я-то надеялась, что хоть теперь они запротестуют!

Было нестерпимо тихо в этой великой пустоте вокруг нас, и я, чтобы не расплакаться, пошла в сарай за дровами. Артур пошел вместе со мною. Возвратившись, мы увидели Хельге у самой двери. Он сидел и сосал большой палец.

В этот день Янне возвратился домой еще раньше, но обед у меня уже был готов. Я стояла спиной к двери и расставляла на столе тарелки. Мария раскладывала ножи и ложки.

Янне остановился позади меня совершенно неслышно. Я обернулась... Как хорошо, что в эту минуту у меня в руках не было тарелки, — я бы непременно ее уронила.

Янне смотрел на меня, лицо у него было серое, словно ему не хватало воздуха. Наверное, он тоже испугался моего вида и опустил глаза.

— Все кончено,— пробормотал он и всхлипнул.

Я не поняла, или, вернее, не хотела понять. Он повернулся и медленно прошел в комнату. Но должен же он рассказать! Я пошла за ним. Калле за мной, потом Мария и, наконец, Артур.

Он был в больнице и видел маму. Она внезапно скончалась.

— Они врут! — закричал Калле и остался стоять с открытым ртом.

Янне взял его за руку, взял за руку Артура и долго стоял так, держа их обоих за руки, и молчал.

Я никому не могла взглянуть в лицо, вышла в кухню, Мария — за мной. Нет, это невозможно! Я подняла с пола Хельге, прижала к себе. Ко мне подошла Мария, взглянула на меня расширенными от ужаса глазами и прошептала:

— Неужели это правда?

— Молчи! — ответила я.

— Мама, мама,— лепетал Хельге, протягивая маленькую ручку к дверям.

Я опустилась с ним на стул. Мария примостилась рядом на полу. Совсем как тогда, когда была маленькой и сидела около мамы, а мама держала на коленях Калле.

Вошел Янне с мальчиками.— Ну, что ж, давайте поедим,— проговорил он тихо.

Его слова вернули меня к жизни. Но посмотреть на него я не отважилась. Я никогда не слыхала у Янне такого голоса, покорного, отрешенного. Мне было так его жаль.

— Я только подогрею суп,— сказала я ему.— Возьми Хельге!

Мария быстро вскочила и хотела взять братишку. Но Янне чуть улыбнулся и предупредил ее: он сел на стул и взял к себе на колени их обоих — и большую Марию и маленького Хельге. Мария крепко прижалась к нему, а Хельге сидел спокойно и сосал палец.— Ты теперь моя маленькая дочка? — улыбнулся Янне.— Да,— прошептала Мария.

— Положи в печку щепок и разведи огонь, Калле,— сказала я, ставя на плиту кастрюлю с супом.

Артур бросился к печке.— А мне что делать? — спросил он.

— А ты достань соль!

Стало легче оттого, что мы снова могли говорить.

Но это чувство облегчения скоро прошло. За обедом я не могла ни на кого взглянуть. Мне все время было как-то страшно, остальные тоже ели с трудом. Не понимаю, чего я боялась, сидя вместе со всеми за столом.

Время от времени я бросала украдкой взгляды на Янне: не страшно ли и ему? У него было такое лицо, когда он вошел! Раньше, когда он возвратился из полиции или когда сообщил, что лишился работы, по нему ничего не было заметно. Он все так же подмигивал, не унывающий в беде храбрый моряк! А теперь он был такой тихий, глаза у него сузились... Он занялся Артуром, посадил его рядом с собой, помогал ему справляться с обедом.

Мария кормила Хельге, но дело у нее шло медленно. «И хорошо, что медленно», — думала я. Хорошо, что оттягивается минута, когда кончится обед и нам придется заговорить о маме; этого я больше всего боялась.

Мне было так страшно, что все тело у меня ныло от головы до пят, и боль временами становилась настолько сильной, что я едва могла дышать. «Мама, мама», — повторяла я про себя. «Одни, совсем одни», — пронеслось у меня в мыслях. Наконец я больше не выдержала, бросилась в комнату и громко расплакалась.

Через некоторое время, успокоившись, я стала прислушиваться, что делается в кухне. До меня доносились голоса и шаги, но я не могла разобрать, что там происходит. Вдруг мне показалось, что они собираются войти ко мне, и я готова была закричать: «Не входите сюда, не входите!» Но никто не вошел. Я понимала, что дел очень много и что мне никак нельзя лежать здесь одной и плакать, надо выйти к ним. Когда я вышла в кухню, Янне мыл посуду, а Калле и Артур вытирали. Они убрали со стола остатки еды. Никто не попрекнул меня за то, что я им не помогала. Только Мария спросила, не пора ли укладывать Хельге. И было так странно тихо...

Кончился и этот день.

Артур и Калле захотели лечь спать в кухне вместе с Янне. Я разрешила. Мы легли с Марией, крепко обнявшись, шептались и плакали, пока не уснули. Если мы замолкали, нам становилось страшно во мраке. Казалось, мама где-то ждет нас, а мы не можем к ней пойти. «Бедная мама», — думали мы и не могли представить себе ее мертвой. — Я по-

стараюсь уснуть и увидеть во сне маму,— прошептала мне Мария.

Да, это было единственным утешением, оно нам помогло пережить эту ночь. Но за ночью наступил новый день.

Янне не мог освободиться, он должен был пойти на работу, как обычно. Ах, если бы я могла пойти вместе с ним! Будь у меня место, работа, как у других! Если бы я могла взять с собой Артура и Хельге и уйти с ними, пока Мария и Калле будут в школе, я бы непременно это сделала.

Но оба малыша еще спали, и передо мною был длинный страшный день. Я не знала, что мне им сказать, когда они проснутся. Не могу же я сидеть с ними и только плакать. «Стыдись, такая большая девочка! — наверное, сказала бы мне мама.— Ведь у тебя так много дела...» Да, я послушаюсь маму. Но стоило мне застелить кровати и немного прибраться в комнате, как мною снова овладела тоска. Пусто и страшно. На каждом шагу я ощущала отсутствие мамы. Я представляла себе, как она лежала в больнице одна, среди чужих людей. Мне казалось, что я слышу ее голос. «Ты вот все бродишь, девочка, и фантазируешь. О чем ты думаешь? Ведь надо кормить детей...»

Оба мальчика уже проснулись. Артур разговаривал с Хельге, как старший. Я достала хлеб и посмотрела, есть ли еще крупа для каши. И тут я заметила, что брожу по дому, словно в тумане: голоса мальчиков доносились до меня откуда-то издали; что бы я ни делала, все представлялось мне ненастоящим; и в кухне все было какое-то ненастоящее. Мне хотелось думать о маме, снова ее услышать. У нее найдется что мне сказать, и я сделаю все, что она скажет, она останется мною довольна. Мне хотелось вновь увидеть ее ласковую улыбку, ее радостный взгляд, как это бывало, когда мы вместе с ней трудились по хозяйству, точно два добрых товарища. А как я была счастлива, когда мы сидели рядом, чинили и штопали чулки и она меня учила, как это делается. Нет, нет, только бы опять не заплакать...

Принимаясь за что-нибудь, я сразу же старалась себе представить, как бы это сделала мама. Никто не говорил мне, что я должна заменить моим маленьким братьям и сестре мать. Это она сама мне внушила. Я не могла и не хотела отказаться от завещанного мамой. Я примирилась с тем, что

она ушла, словно она сама разъяснила мне, почему это было нужно.

Так проходил день за днем в каком-то тумане, так прошел и день похорон. А мне даже не хотелось, чтобы было иначе. День был заполнен множеством дел, и я работала почти машинально. Я все думала, как бы упросить Янне остаться жить с нами. Но пока что он и не собирался уходить и проводил дома все свое свободное время. И тогда я поняла, что и он тоже выполняет мамину волю.

Я не могла отделаться от впечатления, что Янне стал другим. Словно он вдруг постарел. Он сделался много молчаливее и все время сидел дома, если не был занят на складе, разговаривал с Калле, помогал Артуру мастерить игрушки. А главное, он стал почти таким же тихим, каким всегда был папа. Но меня это не удивляло: мы все изменились.

Теперь нередко случалось — все в сборе, и все молчат. В такие минуты я не смела взглянуть кому-нибудь в глаза, но знала: мы все думаем о маме. Как остро ощущала я внезапно возникшую пустоту, ведь все вокруг напоминало о маме. Если Хельге не давали того, что он просил, он уползал от нас и начинал жалобно пищать: «Мама, мама...»

Но мы не поддавались, у нас ведь тоже нет мамы, нам тоже не с кем поговорить, не с кем посоветоваться. Мы должны держаться друг за друга. Иначе мы почувствовали бы себя такими же беспомощными, как маленький Хельге, одиноко ползающий по комнате.

Наступил ноябрь, но о зиме никто не думал. Все радовались окончанию войны. А для нас радость была омрачена. Как была бы счастлива мама! Как она ждала мира! В газетах писали о революционных настроениях, распространившихся после войны; вся Европа бурлила. Многие народы расправились с королями, генералами и прочими тиранами. У нас в стране собирались ввести всеобщее избирательное право и восьмичасовой рабочий день: об этом шло много толков, особенно после русской революции. Ах, как жаль, что мама не дождала до всего этого! Потому-то нам и газеты грустно было читать. Мы даже с Янне об этом не разговаривали. Как будто нас это не касалось! И без того много было такого, о чем мы старались не думать, слишком это было тяжело. И все мировые события казались далекими, раз нельзя было обсудить их с мамой.

Те же люди жили в лачугах вокруг нас, но теперь мы избегали их, нам как-то не о чем было с ними говорить. Я почувствовала это в тот день, когда к нам зашли сразу две соседки. Дома, кроме меня, были только Хельге и Артур.

Их интересовало, как мы справляемся.— Ведь вас так редко видно,— сказали они. Их разбирало любопытство, но мне вовсе не хотелось разговаривать с ними о маме. Они обе, фру Свенссон и фру Клинт, навевались к нам и раньшс, но я не нуждалась в помощи, пока Янне был с нами. А слышали ли мы о том, что дом будут сносить?

Я ничего об этом не знала и очень растерялась. Тогда они принялись меня успокаивать: это, мол, произойдет не раньше будущего года. Наш домохозяин, крупный коммерсант, продал все свои дома одному архитектору,— он погорел на спекуляциях, потому что война кончилась слишком скоро.

— По-видимому, он чересчур полагался на немцев,— заметила фру Свенссон.— Если бы война затянулась, он получил бы крупные барыши на военных поставках. Но смотрите не вздумайте съезжать с квартиры, пока он вам не предоставит другую. Когда будете вносить квартирную плату, запишите квартиру на вашего дядю.

— Конечно,— сказала я с облегчением.

— Не забывайте платить за квартиру,— подхватила фру Клинт.— Не вздумайте также обращаться за помощью в кассу для бедняков! С сиротами они поступают, как им заблагорассудится. Они разлучат вас: одних поместят в приют, других отдадут на воспитание чужим людям. Так уже не раз бывало.

Соседки желали нам добра, но они так меня взволновали, что после их ухода мне захотелось плакать. В это время в комнату вполз Хельге, он слышал чужие голоса. Ухватившись за мое платье, мальчик поднялся на ножки. Посмотрел на меня, потом на дверь, потом опять на меня.— Мама,— проговорил он,— мама.

— Ты меня называешь мамой? — спросила я, беря его за маленькие ручки.

— Мама,— повторил он снова, глядя на меня сияющими глазками, точно ждал от меня чего-то.

— Да,— кивнула я ему в ответ.— Злым людям не удастся нас с тобой разлучить! Но теперь тебе хватит ползать, пора уже самому ходить, Хельге. Иди же! — Я опустила его и сделала несколько шагов назад. И он пошел.

Сначала он пошатывался, пытался ухватиться за мои руки. Но я продолжала отступать, и тут он осмелел. Пошел, широко расставляя ножки и топая, как взрослый мужчина. И глазки у него сияли.

— Хельге ходит! — крикнула я Артуру. — Хельге ходит! Иди посмотри!

Артур тут же примчался. Мы с ним весело смеялись, наблюдая за маленькими шагами Хельге. Он притоптывал, сиял от радости, выпрямил спину и сжал кулачки. Под конец ему захотелось побежать. Но тогда я подхватила его на руки и подняла кверху.

— Ну вот ты и научился ходить, Хельге! — сказала я. — Ты прошел полкомнаты!

Прижимая его к себе, я снова подумала: «Что если кто-нибудь отнимет у нас Хельге, или Артура, или Калле! Нет! Никогда, никогда! Янне нам поможет... Если же он опять уйдет в море, я сама справлюсь. Я готова на все... И Мария тоже. Я скажу Калле: «Иди и воруй, иначе явятся из приюта, заберут Хельге». И я скажу Артуру: «Иди и торгуй или попрошайничай в гавани, где тебя никто не знает». Но прежде всего нужно напомнить Янне о квартирной плате.

Неужели архитектор выбросит нас за дверь?.. Мы с Калле подстережем его на улице. Мы не станем его умолять. Калле наберет полные карманы камней, я отращу себе ногти... «Это классовая борьба! — скажу я Калле. — Мы имеем право где-то жить. На худой конец ты подложишь динамит под дом. Буржуев слезами не разжалобишь!»

Тут Хельге снова попросился на пол.

— Ты хочешь ходить? — спросила я.

— Ходить, — повторил он.



ТОВАРИЩИ

I

«Вот оно — мое спасение!» — думала я, снова оказавшись у своего шлифовального станка. Работа, работа... Не поддаваться тревоге. Внимательно следить за станком. Не слишком задумываться. Смотреть, как сталь становится гладкой. Вырабатывать свою норму. В этом мое спасение...

Но почему Бертиль именно сегодня, в понедельник утром, сказал мне, что собирается в Испанию?

Как и обычно, из дома мы отправились вместе, насколько можно себя чувствовать вместе в битком набитом вагоне трамвая — я здесь, он там. Остановившись перед светофором, мы прочитали на движущейся ленте последних известий: «Фашисты остановлены под Мадридом». Это сейчас пажнее всего. Мы посмотрели друг на друга, нам ничего не нужно было говорить.

Но по пути от трамвая до фабрики, в потоке товарищей по работе, он сказал мне, что собирается в Испанию. И тут же мы оба почувствовали себя одинокими. Не здесь же он принял это решение, но только теперь он нашел нужным кратко сообщить мне об этом. Он поедет с несколькими молодыми товарищами.

— Ты мог бы и здесь работать для Испании, как это делают другие, — сказала я. — Ведь ты уже не так молод.

— Люди нужнее всего там, — ответил он сухо.

Короткий путь до фабричных ворот показался мне еще короче. Как одно дыхание. Я не успела даже собраться с мыслями. «Мы еще поговорим об этом, — хотелось мне сказать. — Почему ты не сказал мне ничего дома?..» Но мы шли и молчали. Вокруг нас разговаривали об Испании, о Мадриде. Фашисты остановлены.

Прошло восемнадцать лет с тех пор, как умерла мама, но все ужасы, каждодневное напряжение, тревоги и заботы — все это теперь повторяется снова... Старые тревоги волной нахлынули на меня в ту минуту, когда мы с Бертилем расстались на фабричном дворе и я направилась в свой цех. Мне казалось, что я вот-вот упаду, словно я опять заболела.

— Фру Марк уже выздоровела? — спросил Блуммен. Он внимательно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на станок. — Прекрасно.

— Насколько может быть здоров человек, лишь два дня назад поднявшийся с постели, — ответила я. — Если я чихну, остерегайтесь заразиться.

Он только молча кивнул и отошел. Не знаю, расслышал ли он. Надо будет поместить над своим станком дощечку, как у вагоновожатых: «Разговаривать с водителем воспрещается»... Я снова подумала о Бертиле. Может быть, он просто шадил меня, пока я лежала с головной болью?

Во время моей болезни его большей частью не бывало дома. По-видимому, он боялся заразиться. Но Гуннар, тот же боялся: он находил время и посидеть около меня и сбе-

гать в аптеку. От него я больше узнала об Испании, чем от Бертиля. Пожалуй, он был лучше осведомлен.

Это в первый раз Бертиль сказал: «Люди нужнее всего там». Может быть, он так думал и раньше. Но это слова Гуннара. Я промолчала, и он остановился, не договорил, но я почувствовала, что он готов добавить: «Раз Гуннар не едет, то поезду я».

Гуннар первым заговорил о поездке в Испанию. Я долго думала, что он поедет. Но я просила его остаться. Остаться здесь и работать в комитете помощи Испании: ведь он умеет так хорошо говорить и у него время найдется для этого. Он меня увлек и воодушевил еще до того, как этим заинтересовался Бертиль. К тому же Гуннар холост и может поехать, когда ему вздумается.

«Ты едешь ради Испании?» — хотелось мне спросить. Я чувствовала себя достаточно сильной, чтобы задать Бертилю такой вопрос. Вопрос прозвучал бы жестко и прямо. Если бы мы жили во Франции, ты мог бы сказать: «В Испании надо преградить дорогу африканским фашистам, иначе они придут к нам». Но здесь-то коричневые и черные бандиты гораздо ближе, раз уж ты рвешься защищать демократию.

Но я хотела быть еще жестче. Я его спрошу: «Не мечтаешь ли ты о приключениях?» Я заставляю его высказать, что у него на уме. Тогда по крайней мере все станет ясно... Да, но разве это так легко? Вряд ли я так спокойно рассуждала бы, если бы дело касалось Гуннара.

«Работа, работа», — пел мой милый станок. Выполняй работу. Если Бертиль уедет, у меня останется моя работа, я это знала. Нет, ни одной минуты я не думала: «У меня останется Гуннар!» Моя работа поможет мне справиться со всякими мучительными проблемами.

Вернулся Блуммен, решил посмотреть еще раз. Его сопровождал один из новых инженеров.

— Как у вас идут дела сегодня, фру Марк? — спросил он, и я почувствовала, что он хочет продемонстрировать новому инженеру не только мой станок, но и себя самого.

— Понемножку, — ответила я.

— Фру Марк несколько дней отсутствовала из-за простуды, — пояснил он своему спутнику.

Ах, вот оно что! Он хочет проявить внимание к рабочим и одновременно подготовить себе оправдание, если станок окажется не на высоте.

— Хорошо, что болезнь так быстро прошла,— сказал молодой инженер.— Не всегда так бывает.

Инженер старался казаться опытным специалистом: осмотрел станок, внимательно взглянул на меня; он старался держаться официально, но я уловила в его тоне подозрительность и насмешку. Я не нуждалась в оправданиях. Станок работал прекрасно. Вероятно, они хотели провести хронометрирование, но меня это ничуть не волновало. Я выполняла свою работу, и станок действовал, как немой союзник. Мы с ним понимали друг друга, а на остальных нам наплевать.

Они постояли немного, посмотрели. Затем Блуммену захотелось показать, что он тоже знает толк в технике. Он взглянул в станок и заговорил как специалист. Инженер старался держаться сухо, официально даже с управляющим; удостоил лишь беглого взгляда некоторые части машины, как и подобало эксперту. Поостерегся к ним прикоснуться, вероятно, боялся испачкаться маслом. Гм... хотела бы посмотреть, как этот парень без помощи наладчика собрал бы мой станок и привел его в действие... Они оба слишком много о себе воображают, чтобы снизить до каких-нибудь вопросов ко мне. Мне хотелось хлестнуть их по пальцам грязной тряпкой, чтобы они поскорее убрались. Мы с моим станком хорошо знаем друг друга. Когда они уйдут, я его налажу, и мы будем продолжать работу.

Наконец они ушли, оба важные, строгие. Им наплевать, что они помешали мне работать. Но я была рада, что они хоть ушли. Самое лучшее, когда видишь только их спины. Ну их к черту!

Мой станок работал так, словно ничьи посторонние руки его не касались. Я покосилась на моих товарок. Ведь я хорошо знала, что далеко не все они в таком же ладу со своими станками, как я с моим. Станок надо знать до последнего винтика, тогда он будет работать как бы сам собой. Тогда чувствуешь себя свободной и работа превращается в удовольствие. Я увидела Блуммена и инженера посреди цеха. Они продолжали осматривать и проверять станки, но у Блуммена был недовольный вид.

И это называется руководить производством! Мы сами виноваты в том, что они смеют приставать к нам и отвлекать от работы. Нас здесь так много, что стоит нам захотеть — и

мы стали бы силой. Мы могли бы выбрать своих руководителей и не допускать, чтобы кто-то садился нам на шею, вместо того чтобы показывать пример в работе. Эти живодеры хотят, чтобы мы их боялись, чтобы мы трепетали перед ними, хотят заставить нас пойти против наших собственных интересов, согласиться на более низкую оплату. Они служат своим господам и, само собой разумеется, не забывают и себя. Им тоже хочется стать господами, приобрести акции, почувствовать себя маленькими капиталистами, плывущими на том же корабле, что и богачи, в первом классе. А мы для них — «издержки производства», и наша рабочая сила — «капитал предприятия». В настоящее время это больше не называется рабством: ведь мы получаем заработную плату, на которую сами соглашаемся. И мы тоже плывем на одном корабле с господами, только не как пассажиры, а кочегарами.

Все это мы хорошо понимаем, но остерегаемся слишком громко говорить об этом, чтобы нас не подслушали Блуммен и прочие. Мы очень деликатные, хотя они могут вообразить, что мы просто глупы. Поэтому нам и трудно иметь собственную волю. Ведь господа называют это политикой. «Прослышешь еще коммунистом», — опасаются некоторые. Разве нам так уж плохо? И можно ли поручиться, что станет лучше, если мы начнем бороться?

— Если бы наши родители не боролись, — возражаю я, — то разве нам теперь было бы лучше, чем им? Старые рабочие не хотят даже и вспоминать, как им жилось всего каких-нибудь двадцать лет назад. Сколько зарабатывали тогда металлисты? — Да, этого не забудешь, — соглашаются собеседники. — Времена меняются. — А кто изменил времена? — спрашиваю я. — Собеседники удивлены. — Разве не демократия? — спрашивают те, кто помоложе, желая показать, что кое в чем разбираются. А разве это «демократы» бастовали и голодали? Теперь не опасно называть себя демократом. Но демократия кончается у фабричных ворот. В качестве вахтера там стоит негибачаемый социал-демократ. Собеседники считают меня еретичкой. Но все дело в том, что у меня память не такая короткая, как у них...

Ко мне осторожно подходит Агда.

— Что он тебе сказал, этот новый? — шепнула она мне на ухо.

— Какой новый?

— Не прикидывайся. Ну, этот инженер, как его там! Что он сказал? Я ведь видела, как он на тебя глаза пялил.

— Тебе показалось.

— Ну нет! Ты ведь не рыжая, вроде меня. Ты добьешься всего, чего захочешь.

— Отстань ты со своими глупостями!

— Если не о чем мечтать самой, подумаешь и о подругах... Иногда я на тебя злюсь, иногда ты мне нравишься. Хе-хе! Везет тебе!

Она сделала гримасу и отошла хихикая. Что это? Небольшое развлечение, подходящий случай почесать язык?.. Агда всегда хочет казаться хуже, чем она есть на самом деле. А ведь она молодец. Я восхищаюсь ею. Много говорит не в ее пользу: она неряшливо одевается, голос у нее визгливый. Но она мужественна, у нее двое детей, большой муж, теперь безработный, и она тянет всю семью и никогда не жалуется. Временами, правда, она становится очень раздражительной, может вспылить, крепко выругаться сквозь зубы. Сначала она работала на контроле, но долго там не могла выдержать. Теперь работает на своем станке, как заправский механик, но совсем за собой не следит. Она могла бы быть красивой с ее ярко-рыжими волосами и белой кожей, не будь она так худа и бледна. Вырастить детей — вот великая цель ее жизни. Осуществляя ее, она преждевременно состарилась.

Как-то весной она отсутствовала целую неделю и, появившись снова, сказала с усталой улыбкой: — На этот раз не пришлось травиться газом.

Не объяснять же ей, что она говорит глупости. Она социал-демократка, состоит в партии, но партийные дела ее мало интересуют. К чему ей это? Она принимает участие в голосовании, потому что другие так делают. У нее нет времени обзавестись собственными политическими взглядами. Она никогда ничего не читает. «Вид длинных рядов букв навеивает на меня дремоту», — говорит она. Ее муж читает журналы, всякую чепуху, которая попадает ему в руки, но после этого у него начинается головокружение и одышка.

Чем бы помочь Агде?

До перерыва я чувствовала себя хорошо и совсем не устала. «Как всегда», — могла я себе сказать. Простуда, впрочем, еще давала себя знать... Надеюсь, Бертиль, обрассумится, когда мы вернемся домой и поговорим начистоту.

В перерыв я вышла сделать кое-какие покупки: у нас дома не было ни хлеба, ни обеда. Пока я этим занималась, мне некогда было думать. Но когда я возвращалась на фабрику, в висках у меня все время стучало: «Бертиль едет в Испанию». Все остальное не имело значения. И у меня кружилась голова.

Все, что я передумала во время работы, вернее, что я заставляла себя думать,— все это было не то... Я все время находилась в напряжении, будто получила непривычную работу или меня поставили к новой машине. Старалась внушить себе, что ничего не произошло. Надо выполнять свою работу, что мне еще остается? Нужно примириться с тем, что случилось. Испанские события касаются всех — и меня также.

Так мне удалось вновь отогнать тревожные мысли. Мой милый станок! Он заставлял меня быть внимательной и деятельной. Я гордилась своим станком. Что бы ни случилось, я останусь ему верна. Буду его холить и ухаживать за ним.

Это походило на игру, хотя играть на работе нельзя. Чувствуя усталость, я прислонялась к своему станку, слегка похлопывала его. Приятно было гладить его шершавую поверхность.

«А что если мне не удастся убедить Бертиля? — промелькнуло у меня в мыслях.— Или он уклонится от разговора?..» Я представляла себе все, что могло произойти. Он куда-нибудь уйдет: к своей матери или на собрание. Мы, кстати, хотели посмотреть один фильм... А может быть, к нам кто-нибудь придет: Хельге и Артур или Мария... Найдется у меня чем их угостить? От таких мыслей становилось легче.

Если он избегает меня — значит, он передумал, решила я. Во всяком случае я подожду его у ворот завода.

Я знала, что нужно ему сказать: «Из тебя никогда не выйдет вояка, Бертиль; твое сердце не выдержит тягот и трудностей боевой жизни... Лучше всего тебе остаться у своего токарного станка...»

После работы меня задержала болтливая Агда. Всегда так бывает, если человек спешит.

Бертиль не ждал меня у ворот. Вместе с Агдой я дошла до трамвайной остановки, но его не оказалось и там. Впрочем, в этой сутолоке трудно было найти кого-нибудь: все спешили к трамваю. Точно весь завод нужно было освободить в одно мгновение. Я пробиравась сквозь толпу на

трамвайной остановке, вглядывалась в лица, знакомые и незнакомые, но все напрасно. Скоро мне пришлось остановиться: было очень тесно. Оставалось только ждать.

Серые, усталые, сумрачные лица вокруг. Все мужчины похожи один на другого. Работа сделала их такими. Когда они возвратятся домой, умоются, поедят и немного отдохнут, быть может, они оживут и станут меньше походить друг на друга. Во всяком случае — для своих жен и детей. Здесь же они чувствуют себя одинокими, им нечего друг другу сказать. У некоторых такой вид, словно они сердятся или размышляют о чем-то неприятном. Женщины ежатся и дрожат от холода в ноябрьском тумане. Я злилась на Бертиля, поэтому мне было жарко. Я решила подождать еще на остановке и уехать одной из последних.

Следующий трамвай долго не приходил, и люди начали выражать нетерпение. «У меня, наверное, такой же унылый вид, как и у других», — думала я. Я ходила в толпе и искала Бертиля. Он мог тоже задержаться. Народ подходил к остановке непрерывно. А впрочем, не впервой мне возвращаться домой в одиночестве. К тому же лучше вернуться пораньше, чтобы успеть приготовить обед. Если Бертиль возвращался первым, он никогда не догадывался заглянуть в кухню и взять что-нибудь поесть. Он с детства привык, чтобы ему подавали все готовое.

Темный густой туман стал еще плотнее, когда трамвай въехал в город. Мутными желтыми пятнами светились уличные фонари. Раздавались гудки судов на реке и в гавани. Можно было только угадывать, что делается на улицах, видя тени перед витринами магазинов и светящиеся фары машин, мчащихся мимо. Так же темно и туманно было и утром, когда мы с Бертилем ехали на работу. Казалось, все то время, что мы проводили на заводе, среди яркого электрического света, город был погребен в этом тумане.

Я успела приготовить обед и накрыть на стол еще до его возвращения. Он пришел вместе с Гуннаром.

* * *

Они встретились в Комитете помощи Испании. Так по крайней мере они мне сказали. Я поспешила накрыть на стол, чтобы они не мешали мне в кухне сделать последние приготовления к обеду и намазать бутерброды. Яблочного супа, слава богу, у меня было достаточно.

Нельзя сказать, чтобы нам было весело, пока мы ели первое. Я не проявляла любезности, с трудом разговаривала, без толку суежилась. Как и обычно, на столе стоял графин с водой. В кухне разогревался гуляш.

— Сегодня нам следовало бы распить бутылку испанского вина,— сказал Бертиль, когда я поднялась с места.— Отпраздновать Мадрид... Там остановили фашистов.

— Нам негде взять испанского вина,— сказала я.

— Ну, хотя бы испанских апельсинов.

— Нет у нас и апельсинов,— отвечала я, направляясь в кухню.

— Ты все же кое-что приготовила? — спросил Бертиль, когда я внесла гуляш.

Гуннар пристально на меня посмотрел. Он не привык, чтобы я так встречала его. Но я уже раскаялась.

— Если вас устроит апельсиновый сок, то я могу вам его раздобыть,— сказала я.— Обед очень горячий, ешьте не спеша, и я успею сбежать за соком.

Я выбежала из дому, плохо представляя, где я достану что-нибудь похожее на вино. Мне хотелось забыть обо всем и хоть на несколько минут остаться одной. Мне было жарко. Не стало легче и после того, как, купив в кондитерской на Йернторгете лимонный сок и сахарную воду, я направилась домой. Я думала о том, что я скажу Гуннару. Сегодня он молчаливее, чем обычно. Нужно объяснить ему, в чем дело. А может быть, он уже знает... И тут я внезапно решила, скажу Бертилю: «Делай как знаешь, если хочешь, поезжай в Испанию!»

Они только что кончили есть, когда я вернулась. Но это ничего. Теперь я была совсем в другом настроении. Поставила бутылки на стол и сбросила с себя плащ.

— Убирайте воду! — воскликнула я.— Вот вам напиток, сделанный из испанских лимонов, из республиканских лимонов, разумеется. За Мадрид!

Мы выпили лимонный сок и сахарную воду. Мужчинам хотелось пить после еды, я была разгорячена быстрой ходьбой. Все получилось очень хорошо. Мы произносили тосты и пили, пока у нас не кончился лимонный сок. Да здравствует испанский народ! Да здравствует мужественная Испанская республика!.. Слово мы сами помогали остановить фашистов под Мадридом.

Затем Гуннар помог мне снести в кухню посуду. Потом

он предложил мне сигарету, и мы остались в кухне покурить, дожидаясь, пока закипит кофе.

— Бертиль сказал тебе, что он собирается в Испанию? — спросила я.

Гуннар кивнул.

— Он уже записался. Разве ты этого не знала?

Я глубоко затянулась сигаретой и только молча на него посмотрела. Мне стало страшно, я побоялась выдать свои мысли. Но, конечно, Гуннар понял мое состояние.

— Пусть он сам тебе об этом скажет.

Я молча кивнула.

Снимая с огня кофе, я спросила:

— А ты остаешься?

— Теперь я могу работать для Испании и здесь, сколько мне захочется, — ответил он и улыбнулся. — Ведь меня прогнали с работы. Видишь ли, я приносил с собой брошюры и производил сбор средств для Испании среди товарищей. «Никакой политики на работе!» — заявил хозяин. Это произошло как раз сегодня.

— Боже мой! — ахнула я.

— Розенлунды злы на республику, это ни для кого не новость. А тут им представился случай вышвырнуть коммуниста. Вот будет радость сегодня вечером в их семействе!

— Что же ты теперь будешь делать?

— Пока что — распространять брошюры. Я уверен, они будут расходиться очень хорошо!

За кофе мы вели себя сдержанно, словно были мало знакомы друг с другом. Я поглядывала на Бертиля и на Гуннара, и мне казалось, что они стали какими-то другими после того, как выпили лимонного сока. Я могла бы догадаться, почему у них такой отсутствующий вид. Но и я сидела, погруженная в свои мысли, и тоже молчала. Что же мне делать? Ни о чем не спрашивать и собирать Бертиля в Испанию?..

Но меня мучили вопросы. Много вопросов. Теперь я уважаю Бертиля. Неужели он покончил со своей вечной нерешительностью? Во всяком случае, конец его капризам. Он не сможет из Испании убежать домой под крылышко к маме, как это он делал, когда ему становилось трудно со мной. Он не сможет добиться, чтобы все поступали так, как ему хочется, какую бы обиженную мину он ни строил. Ему придется примириться кое с чем похуже тех мелких неприятностей, какие ему доставляла жизнь со мной.

За шесть лет нашей супружеской жизни он стал крепче и как-то солиднее. Это ему шло. Он выглядел старше своих двадцати восьми лет. Темные густые волосы, широкие плечи, крупные черты лица, густые прямые брови и складки вокруг рта, какие бывают у людей сильной воли,— он не производил впечатления человека, способного лишь к шуткам и забавам.

— В тебе уже есть что-то испанское, мой дорогой Бертиль! Раньше я этого не замечала,— сказала я. В словах моих не было насмешки, но я невольно рассмеялась.

— Ты находишь? — спросил он уклончиво, немного задетый.— Похоже, что ты рада моему отъезду. А сегодня утром...

— Ты ведь не собираешься упрекать меня за это? — перебила я.— Итак, ты едешь...

— Я должен.

— Кто тебе сказал, что ты должен? Не Гуннар ли?

Они оба посмотрели на меня в изумлении. До чего же наивными они мне показались!

Вот так из трусости, чтобы отмахнуться от чего-то нежелательного, человек и высказывается. Не знает, как вести себя, и становится слишком уж откровенным. Может быть, Бертиль и Гуннара привел потому, что надеялся, что при нем легче будет зысказаться или чтобы я не противилась его намерению? А может, он подозревает, что между мною и Гуннаром что-то есть, что мы с ним не просто товарищи, и он рассчитывал, что мы себя выдадим? Нет, Бертиль не из тех, кто способен на подобный маневр.

— Меня никто не принуждает ехать,— ответил он наконец.— Я записался добровольцем.

«Вот ответ мужчины,— подумала я.— Но такой мужчина не должен жениться».

Они переглянулись, и Гуннар рассмеялся. Наконец-то! Славный, веселый Гуннар. А пока Бертиль не ответил, у Гуннара был смущенный вид. Да, я приперла его к стене. Но ему придется с этим примириться. И быть веселым. Свободным и веселым. Он мог бы и не смеяться: веселость исходит от всего его молодого тонкого лица, ясных глаз, от светло-волосой головы, когда он ею слегка встряхивает, от всей его мимики. В особенности, когда это лицо освещено солнцем.

— Есть у тебя сигарета? — спросила я его.

Он подал мне сигарету и зажег ее.

Бертиль обратился ко мне:

— Так как же? Можно считать, что мы договорились?
— Во всяком случае, не о том, как ты все это осуществишь,— ответила я упрямо.

— Стоит ли об этом говорить?

— Следовало бы.

— Я поступаю по-своему,— ответил он угрюмо.— Ты же поступаешь, как хочешь.

Он поднялся и пересел в плетеное кресло, захватив свою чашку с кофе. Значит, я могу говорить только с Гуннаром. Ну что ж, он сам подал мне пример. Я оглядела комнату и подумала, что мы с Гуннаром могли бы сесть на диван и побеседовать.

Бертиль с улыбкой следил за мной, точно угадывая мои мысли. На что только не идет человек ради свободы!

Мы с Гуннаром остались сидеть за столом, хотя на диване было бы удобнее. Я сначала обращалась главным образом к Бертилю.

— Ведь мы хотели сегодня отпраздновать победу над Мадридом, не так ли?

Он помедлил с ответом.

— Мы уже закусили и выпили,— сказал Гуннар.

В нем было что-то веселое и вызывающее; именно таким он и должен быть, настоящий Гуннар. И я поддерживала его.

— Кто знает, как там с продовольствием в той стране, куда ты едешь, Бертиль...

— Разве здесь так уж благополучно? — возразил он.— Например, для тех, кто лишился работы? А там надо только бороться вместе с испанскими республиканцами — и все пойдет хорошо.

— За свободу можно драться и здесь,— сказала я.

— Можно-то, можно! Однако никто этого не делает. Никто не смеет и пикнуть. Целую неделю трудишься в поте лица. Еле можешь свести концы с концами. И если не будешь, как последняя мразь, лизать пятки хозяевам, то околднешь с голоду. Рабочий человек здесь стоит меньше, чем станок, за которым он работает.

— Просто ты не умеешь ладить с хозяевами, вот и все.

— Не умею, как ты, отругиваться от этих скотов. Поэтому-то ты и зарабатываешь больше моего. И очень этим довольна.

— Ты отлично знаешь, что нет,— ответила я и хотела было засмеяться, но не получилось.

— Я знаю также, что мною ты недовольна. Я ведь не умею драться за свободу здесь на собственный страх и риск. Но в Испании борются за свободу иначе. И там самый обыкновенный рабочий может внести в борьбу свою лепту. Я записался как механик. Там это пригодится. Здесь же таких слишком много.

Ай да Бертиль! Такой длинной тирады я от него еще не слыхала. Я обрадовалась, когда вместо меня ему ответил Гуннар.

— Разумеется, в Испании каждый человек пригодится,— сказал он.— Но бороться надо и здесь. Все это одна линия фронта, на которой рабочие борются за свои права.

— Ты имеешь в виду Народный фронт? Ничего не выйдет. Он запрещен.

— Мы можем драться и за то, что запрещено.

— Это слишком длинный путь,— сказал Бертиль, несколько понизив голос.— Прежде чем мы здесь начнем действовать, фашисты задушат испанский народ.

— Да, путь длинный,— сказала я.— Но этот путь ведет к цели. Должен же кто-то работать и здесь. И мы можем это сделать.

— Пока мы будем вступать на этот путь, предатели и негодяи превратят мир вокруг нас в груды зачумленных развалин. Ведь многие из наших соотечественников благославляют совершающиеся безумства. Боюсь, что мы тут ничего не добьемся. Это дело безнадежное.

— Все зависит от того, во что мы верим,— сказала я, поднимаясь из-за стола.

Кофе кончился, нужно было пойти сварить еще. А они пусть продолжают спор о борьбе. Я устала после долгого дня. Но дело не только в этом: меня охватила какая-то неуверенность, уныние. Я могла гораздо больше сказать Бертилю. Но к чему говорить, раз он хочет вернуть себе свободу?..

Я стояла и смотрела на мой новый кофейник. Я так была горда, когда его купила! Теперь же он меня вовсе не радовал. Он ничего не значит... для Бертиля. «Наш домашний очаг ничего для него не значит»,— подумала я. Ему не жаль с ним расстаться. Он рвется на свободу.

Мне казалось, что ему все-таки придется побороть в себе какую-то привязанность. Но он собирался в путь так, словно

и не думал сюда возвращаться. Ну, конечно! Домашний очаг не представлял для него такой ценности, как для меня. Он женился, потому что ему хотелось уйти из родительского дома, сменить обстановку — точь-в-точь, как теперь. Может быть, он был слишком молод, когда мы поженились, — он на три года моложе меня, ему тогда было всего-навсего двадцать два года. Гуннару в ту пору было двадцать лет, да и еще недавно ему больше нельзя было дать... По крайней мере до того, как он стал безработным.

Может быть, Бертиль считал, что я хочу так же над ним властвовать, как его мать, точно зеницу ока оберегавшая своего единственного сына? И вот теперь он хочет освободиться от нас обеих.

Виновата ли я, что он чувствовал себя здесь связанным?

Да, конечно. Я заботилась о доме, готовила мужу завтрак, обед, подавала кофе, — он ведь ни разу не подал мне кофе. И вообще он всегда был как-то пассивен. Его участие в нашей общей жизни было ничтожно. А я так заботилась о нем, словно он был мне не мужем, а младшим братом. Мне хотелось, чтобы он чувствовал себя не хуже, чем когда-то у матери... А теперь и мои заботы ему надоели?

Да, да, он должен вернуть себе свободу.

Когда я внесла свежий кофе, они сидели на тех же местах: Бертиль — в плетеном кресле, Гуннар — за столом.

— Ты говоришь по-книжному, — сказал Бертиль. — Слишком ты много читаешь.

Молча подала я кофе Гуннару, затем налила до краев чашку Бертиля и села в сторонке скромно, как служанка. Они даже не заметили, что я вошла.

— А ты читаешь слишком мало! — сказал Гуннар и засмеялся. — Ты не догадываешься, что я пересказываю тебе то, что написано в книгах. Ведь я сам не помню того времени, когда считалось, что теперь, после мировой войны, все будет прекрасно. Все люди тогда были демократами. Социал-демократы сулили новую жизнь. Либералы вели себя сдержанно. Немцы были побеждены, Россия свободна, чехи и венгры тоже, вот-вот должна была освободиться Польша, только Испания отстала.

— И в этом тоже виноваты социал-демократы? — насмешливо вставил Бертиль.

— Повсюду есть люди, называющие себя социал-демократами, но служат они интересам господствующих классов. И, может быть, в Испании — далеко не самые худшие

представители. Английские капиталисты вложили в Испанию огромные суммы. Точь-в-точь как было с Россией: иностранные миллионеры сделали слишком большую ставку на русских аристократов и капиталистов. Но русские прогнали и англичан, и американцев, и своих палачей и с Белого, и с Черного моря, и с Тихого океана.

Тут Бертиль заметил налитую ему чашку и залпом выпил ее. Как всегда, Гуннар говорил, а Бертиль слушал. Но сегодня вечером Гуннар говорил больше, нежели обычно, а Бертиль — еще меньше. Я сидела и все ждала, что Бертиль спросит: «Почему же ты сам не едешь в Испанию, ведь ты теперь безработный? Ведь многие едут... Неужели ты удовлетворюешься распространением брошюр и сбором средств для комитета помощи Испании?..» Я могла бы спросить и сама. Но не хотела. Незачем вынуждать его ехать, если ему этого не хочется. Да и кто бы мог принудить Гуннара? Всякий, кто попытался бы это сделать, потерпел бы полную неудачу. А может быть, Бертиль уже спросил его, пока меня не было в комнате.

— Нужно действовать, — проговорил Бертиль в задумчивости, и слова его прозвучали совсем не как ответ на вопрос. — Ты читаешь больше, чем нужно рабочему.

— Знания полезны всем. Действовать можно не только кулаками. Нужно научить народ читать.

— Какой смысл учиться читать, если фашисты сжигают книги?

— Знаний им не сжечь, — сказал Гуннар.

Мне нечего было больше предложить, а то бы я вышла в кухню и принесла бы чего-нибудь к кофе. «Бессмысленный спор, — подумала я. — Бертилю, разумеется, хочется, чтобы все набиралось знаний, а Гуннару — с оружием в руках защищать новую Испанию. Они только дразнят друг друга, сами не зная зачем. Совсем как маленькие мальчишки».

— Послушай, Бертиль, — сказала я. — Как же испанцы смогут построить свое государство, если у народа не будет знаний?

Он пожал плечами и бросил на меня сонный взгляд.

— Ладно, пусть я глуп, — ответил он.

Гуннар расхохотался.

— Ну! Вы, конечно, заодно, — проворчал Бертиль.

— Если ты хочешь сделать что-нибудь не очень глупое, то помоги мне убрать со стола, — предложила я.

Бертиль даже не шевельнулся.

— Я помогу тебе,— сказал Гуннар.

— Неси чашки,— сказала я и поспешила отвернуться, чтобы они не заметили, как я покраснела и как разозлилась на Бертиля.

Я выскользнула на кухню.

Гуннар пришел не сразу. Я стояла в кухне, мыла посуду, а внутри у меня все кипело, я чувствовала себя мученицей. Брошенная женщина! Вода булькала и плескалась через край, а я прислушивалась к голосам в комнате. Может быть, они там надо мною смеются? Нет, не похоже.

Надо подумать, как сложится моя жизнь после отъезда Бертиля. Неужели я останусь здесь одна? Меня разбирало зло на мужчин.

Можно было, конечно и не греметь так громко посудой. Я схватила свое любимое блюдо и крепко в него вцепилась, боясь, что оно выскользнет из моих мокрых рук. Вдруг кто-то очутился у меня за спиной; две руки прикрыли мне глаза и откинули назад мою голову. Я судорожно вцепилась в блюдо и пыталась протестовать.

— Кто это? — спросил тихий голос, которого я не узнала. Но я догадалась, что это Гуннар.

— Это ты,— сказала я.

Он не засмеялся, не отпустил и своими теплыми руками пригибал все ближе к себе мой затылок. У меня забилося сердце, прервалось дыхание.

— Пусти! — прошептала я, начиная дрожать и все думая, как бы не выронить блюдо.

Он ничего не сказал, но теперь его руки соскользнули на мои щеки. Он обнимал меня крепко, но так нежно, словно я была стеклянная. Осторожно взял у меня из рук блюдо и поцеловал меня. Я могла бы сопротивляться, но вдруг меня охватило безумное желание все бросить и убежать куда-то вместе с ним. Он выпустил меня и закрыл дверь. Поднос с кофейными чашками он поставил на шкаф.

— А Бертиль? — прошептала я.

— Он собирается лечь,— ответил Гуннар и обнял меня.

Его пыл лишил меня последней воли. Он так меня целовал, словно хотел съесть: целовал в уши, в шею, повсюду. Я не чувствовала ног под собой, не соображала, где нахожусь. Пришла в себя я, лишь когда ощутила его руку у себя на голой груди. Тогда я прильнула к нему и начала бешено его целовать. Он хотел снять с меня блузку.

— Нельзя! — сказала я, но не выпустила его из объятий. Еще одно мгновение. Счастливая минута — я грудью тесно прижалась к его груди. Еще две секунды... Он опять попытался снять с меня блузку. — Не надо, Гуннар! — взмолилась я.

— Элин! — позвал из комнаты Бертиль.

Гуннар выпустил меня, взял полотенце и начал вытирать посуду.

Я распахнула дверь и откликнулась: — Что тебе?

— Ты еще не кончила? — спросил он.

— Сейчас, — ответила я и кивнула Гуннару. Мы не спеша перетерли посуду, затем он крепко пожал мою руку, поцеловал меня и вышел.

II

Имеешь ли ты право быть счастливым? Да, если ты счастлив не в ущерб другим. Я рада случившемуся, и моя радость никому не причиняет вреда.

Я не решалась думать об этом, как о чем-то серьезном, не решалась сказать себе: я счастлива. Счастье — это слово не для рабочих. К тому же это нечто такое, что нельзя получать большими порциями. Но если человек все время радуется и большому и малому, если он постоянно чувствует себя преисполненным светом и теплом, тогда он может назвать себя счастливым.

И все же это очень странно. В такое тревожное время, как наше, можно ли думать о светлом, о прекрасном? А я так легко прихожу в восхищение от малейшего пустяка, от всего — и от людей, в особенности от некоторых. Если я влюблена, то влюблена в очень многое. Не в одного только Гуннара.

Иногда мне даже кажется, что дело здесь вовсе не в Гуннаре. Что главное во мне. Временами я так на него сержусь, что готова ему крикнуть: «Убирайся прочь!» — хотя я знаю, что он гораздо лучше меня. Он такой умный и тонкий, такой настоящий человек, что мне становится за себя стыдно. Ему только не следовало бы обращать внимание на мою воркотню, когда я устану. Что я могу с собой поделаться, если иногда сержусь, иногда без причины испытываю страх, а потом снова отдаюсь бурной радости? Ах, если бы научиться владеть собой!.. А то он, чего доброго, подумает, что я просто ведьма.

Когда я сержусь, ему кажется, что я сержусь на него, и он ведет себя так, как будто виноват во всем. Не знаю, уживемся ли мы с ним. Может быть, мой нрав отталкивает от меня мужчин. Однако когда гроза проходит, я первая же смеюсь. И, слава богу, он смеется вместе со мной.

Знает ли Гуннар, что именно он сделал меня такою, какая я теперь? Я таю от одного его прикосновения. Никогда раньше я не была так несдержанна, никогда не была такой счастливой. И если я с ним ссорюсь, то только для того, чтобы он не заполонил меня окончательно.

Я уверена, что смогла бы подчинить его себе. Смогла бы сделать это уже сегодня и на все времена. Сегодня, когда он забыл принести молока.

Вид у него был жалкий. Я поздно вернулась с работы; пришлось походить по магазинам. У меня сейчас волчий аппетит, я хожу и смотрю на всевозможные продукты, выставленные в витринах. А как хорошо, вернувшись домой, выпить стакан молока...

— Где же молоко? — спросила я.

Он растерянно взглянул на меня. — Ах, молоко, — пробормотал он. — Надо же было достать молока...

— У нас нет ни капли, — сказала я с бóльшим упреком в голосе, чем мне этого хотелось. Впрочем, я тут же поспешила загладить свою резкость: — Разве у тебя нет денег? Они лежат в моей черной сумке. Почему ты не взял?

— Я совершенно забыл, — ответил он. — Прости меня.

— Забыл! Ты ведь целый день просидел дома — писал свой доклад.

— Я уходил совсем не надолго в библиотеку.

— А когда ты завтракал, не вспомнил о молоке?

— Я только выпил чаю с бутербродами. Правда, мне все время казалось, что я что-то забыл.

— Хорошо хоть, что тебе это казалось!

— Мне надо было закончить доклад, — проговорил он виновато.

Уже давно мы условились, что ходить за молоком — его обязанность. И еще ни разу он не забывал этого сделать. Мне казалось, что я догадываюсь, почему он так забывчив именно сегодня.

— Наверное, еще где-нибудь открыто, как ты думаешь? Не сбегать ли мне сейчас? — спросил он.

— Нет, — ответила я, нарочно хмурясь. — Сейчас ты нигде молока не достанешь.

Он был смущен и даже не заметил, что я вот-вот расхожусь. Я не могла больше его мучить. Гуннар совершенно не умеет ссориться. Если он, полный раскаяния, не знает, как поправить дело, не смеет меня обнять, то я обниму его первая. Весь день меня томило желание его поцеловать, почувствовать себя в его объятиях. Я взяла его за щеки и спросила:

— А больше ты ни о чем не забыл?

Он осторожно привлек меня к себе.— Нет, этого я не забыл. Но мне очень хотелось окончить доклад до твоего возвращения.

Это было так странно: он сохранял полную серьезность, а я едва удерживалась от смеха.— Ну, а теперь у тебя все готово?

— Не совсем,— сказал он.— Но остальное я доделаю дорогой.

— Значит, мы можем с тобой спокойно провести весь вечер? — спросила я.— Я вот только переоденусь и приготавливаю поесть.

Но ему хотелось видеть, как я переодеваюсь. Хотелось знать, не заметно ли уже по мне, что к осени у меня будет ребенок. Он принялся меня раздевать. Я снова почувствовала его близость...

И мы оба были очень счастливы.

Я одна. Если я сама не произвожу какого-нибудь шума, кругом тихо, как в могиле. В кухне одиночество переносить легче, но в нашей комнате, где все так тихо, где одни только вещи, оно давит. Все выглядит ненужным, заброшенным. Мне не хотелось бы сейчас находиться дома.

Одна со своей ответственностью. Я не жена Гуннару, но именно он мой муж, а не Бертиль. И у нас с ним есть «маленькое существо», которое растет во мне. И телом и душой меня неудержимо влечет к Гуннару. Мне хотелось бы находиться при нем в Бохуслэне, помогать ему в Комитете помощи Испании, слушать его выступления, видеть его успех, восхищаться его работой, которую он так любит и с которой так хорошо справляется. Тогда бы я чувствовала себя сильной и спокойной.

Я стараюсь быть с ним хотя бы мысленно. Постоянно себе представляю: сейчас он находится там-то, теперь пошел туда-то, теперь он на собрании, а вот он сидит в поезде и

просматривает свои записи. Я совершенно уверена, что и он точно так же в эти минуты думает обо мне, хотя и находится среди людей и видит много нового. У меня нет оснований чувствовать себя одинокой.

Но так трудно на работе... И каждый день одно и то же. Я никогда не чувствовала себя настолько оторванной от всех, как теперь. Товарищи мне не говорят, но замечают, что у меня есть какая-то тайна. Я сама отдалась от них. Им известно, что Бертиль в Испании и что Гуннар живет у меня, так как он теперь безработный и ему негде жить. На такие вещи они не обращают внимания. Они не знают, что я беременна, но знают, что Гуннар — коммунист, и поэтому относятся ко мне недоверчиво. Думают, что я стала иной из-за того, что мой друг — коммунист.

Я могла бы им сказать, что они ничего не понимают, бояться политики и революции, смотрят на все глазами своих профсоюзных бонз, потому и чуждаются коммунистов. Но как мне все это им объяснить, чтобы они поняли? Они не станут меня и слушать. У девушек такой вид, словно они опасаются, как бы я не начала подбивать их на саботаж. Кто-то внушил им подобную мысль относительно Йенни Норд, потому что ее муж — коммунист.

Я куда крепче Йенни, но и мне они здорово треплют нервы. Когда я разговариваю с ними, у меня начинается сердцебиение. Мне так нужен кто-нибудь, с кем можно было бы поделиться своими мыслями. Рано или поздно все станет известно, и я не буду скрывать то, что доставляет мне такую радость. Мне часто приходит в голову, что они просто завидуют мне, потому что я так счастлива. Но ведь они же ничего не знают! А может быть, догадываются, что со мной произошло?

Письмо от Гуннара!

Теперь все опять хорошо. Я больше не одинока. Тишина в нашей комнате меня больше не угнетает, достаточно взять в руки его письмо. Его работа идет полным ходом. Многолюдные собрания, создание новых комитетов, сбор денег по подписным листам. И всюду люди понимают, за что борется Испания. Надо только пойти к ним, поговорить с ними. Он прав. В письме столько прекрасных слов для меня — слов, которые он не решается мне сказать, когда находится рядом со мной. Стоит мне приложить письмо к щеке, и я ощущаю прикосновение его рук.

Он так доволен, что я почти завидую людям, которые его видят и с ним говорят. Может быть, он радуется также и будущему ребенку. Об этом он ничего не пишет. Но ведь новая жизнь, растущая во мне, принадлежит также и ему. Он не может об этом не думать, совершенно ясно. Сначала он вовсе не был в восторге. По-моему, он немного испугался. Ответственность, обязательства, трудности, связанность. Он думал, что это будет очень тяжело. Но потом он увидел, как это приняла я. Удивился тому, что я рада. И наконец понял, что все это вполне естественно.

В его изумлении было что-то очень смешное. Будто он не знал, что делал. Я сказала ему, что я такая же женщина, как и всякая другая, и что мне хочется иметь ребенка. Он, конечно, боялся, что окажется лишним. А ведь он такой умница!

Будь на его месте Бертиль, он обязательно бы сказал, что его поймали в ловушку. Он и слышать не хотел о том, чтобы у нас был ребенок. Стоило мне завести об этом речь, как он приходил в ярость и настроение у него портилось на несколько дней. Он бы, конечно, попытался заставить меня сделать аборт. Он ведь такой упрямый. Тогда бы я ушла от него. Теперь я это знаю.

За пять месяцев своего отсутствия Бертиль прислал мне всего лишь одну открытку. Как знать, может быть, он рад, что ему не приходится обо мне думать.

А если бы я заподозрила, что Гуннар так охотно выезжает со своими докладами тоже потому, что хочет от меня избавиться, что бы я тогда сделала? Нет, мне незачем бояться. Гуннар — человек совсем иного склада.

Бывает иногда, что мужчина хочет избавиться от женщины. Но только не ребенок отчуждает их друг от друга. Напротив, ребенок их лишь крепче связывает. Они могут надоесть друг другу. Различие в интересах и убеждениях — вот что разъединяет их. А ребенок... Нет, невозможно! Мужчина, который не хочет связать себя с женщиной, боится ребенка. Но у Гуннара не может и мысли возникнуть о том, чтобы бросить меня теперь. И вообще нас объединяет иное.

Он ничего об этом не пишет, но я между строк читаю, что он вернется, как только сможет. Он не должен чувствовать себя связанным. Иначе и я не смогу быть счастливой.

Я словно пробудилась от какого-то сна. Когда Гуннар бывал дома, я не замечала, что надо о многом подумать: обо всех делах, касающихся меня и его. С его появлением воз-

никло много вопросов. С Бертилем все было проще и скучнее. Все тяготило, от всего хотелось отделаться. Но все вопросы, связанные с Гуннаром, мне хочется непременно разрешить, хочется все довести до конца.

Нет, я не одинока. При одном взгляде на письмо Гуннара я чувствую, как прекрасна жизнь, и маленькое существо внутри меня становится таким огромным, словно заполняет всю меня. У нас с Гуннаром так много общего, мы так много должны сделать вместе! Я прижимаю письмо к груди и громко говорю: «Я надеюсь, надеюсь, надеюсь!»

Сегодня утром я не могла удержаться от смеха. Проснувшись, я подумала: «Всему городу теперь известно, что у меня будет ребенок!»

Я не смогла больше скрывать свою тайну, а виновата Мария. Сначала узнала она, потом я ходила к акушерке. И теперь об этом знают все мои товарищи.

Мария — удивительная женщина. Она ждет третьего ребенка. Когда она мне об этом сказала, я как-то невольно открыла ей свою тайну. — Не обращай внимания на людские толки, — посоветовала она мне тогда. — Ты ведь помнишь, мама всегда так поступала.

Мама! Она стоит перед нами как недостижимый для нас идеал. Какая она была сильная, мужественная и независимая! И как много она знала, не имея образования и не читая книг. Нам только кажется, что мы знаем больше ее. Потому что нам все досталось легче, чем ей.

Мы с Марией снова почувствовали себя дружными сестрами, какими были в детстве. Нам так хорошо вдвоем. Мы можем быть откровенны и не замечаем, какие мы разные. Мария мягкая, материнство у нее тихое, спокойное, она застенчива, у нее кроткая улыбка. Не удивительно, что муж и дети ее обожают. А во мне столько острых углов!

Побывав у Марии, я всегда чувствую себя укрощенной полчицей. Мне часто приходилось быть более суровой с людьми, чем мне хотелось. Особенно с Бертилем. Сколько раз я давала себе зарок быть сдержаннее, но тут же его нарушала и снова становилась резкой и грубой. Возможно, что и Гуннару иногда нужно отдохнуть, побыть вдали от меня. Вот, например, теперь. Он выехал в двухнедельное турне с новым докладом. Но он вернется!

Ему нравятся перемены, и я сама хочу перемениться к его возвращению. Стану мягкой и ласковой. Он хочет, чтобы

я всегда была весела, и я буду веселой. Он такой нежный, добрый, мечтательный, он наслаждается игрою настроений. Когда он говорит: «все живое на земле», — я вспоминаю, что мама тоже часто говорила: «все, что живо». Только бы я сама была для него достаточно живой!

Но я уже перевернулась. Разве не все уже замечают, что я не такая, какой была прежде? Я радовалась будущему ребенку, но в то же время подумывала о том, как мне защищаться. Я так боялась за свою тайну еще задолго до того, как Гуннар о ней узнал.

Мне кажется, что это было так давно! Каждый день происходит что-нибудь новое, приятное. Временами я снова чувствую себя девочкой. Наверное, поэтому меня всегда так тянет к Майурну, в наш родительский дом. И теперь мы, братья и сестры, стали чаще встречаться.

Братья редко заходили к нам. Им не нравился Бертиль: они считали его сухим и скучным. У меня тоже редко выдавалось свободное время их навестить. Они, конечно, думали — я поняла это из слов Марии, — что я стала такой же, как Бертиль. В ту пору мы виделись с Марией не чаще, чем раз в полгода. Ее муж говорил про нас с Бертилем, что мы слишком «современные» и гордые; ему казалось, что мы смотрим на них свысока и презираем их за то, что у них уже двое детей и что Мария ничем не занимается, кроме домашнего хозяйства. А на самом деле я ей завидовала, завидовала тому, что у нее двое малюток, и поэтому мне было немного тяжело у них бывать!

Впрочем, выйдя замуж, я действительно несколько отдалась от сестры и братьев. Я как бы вступила в совершенно иную среду. Женщина, выходя замуж, оказывается в ином окружении, у нее иная жизнь, иные друзья. Она применяется к изменившимся условиям. В классовом обществе все различия превращаются в классовые. Бертиль и я с нашей «современной» маленькой квартиркой в Хаге казались моей родне «аристократами», тем более, что родители моего мужа — домовладельцы в Редбергслайде.

Дом моя свекровь получила в наследство от одной из своих теток. Он окружен небольшим садиком, и в нем три квартиры: одна большая и две поменьше. Мой свекор был машинистом и «имел деньги в банке». Сначала они и слышать не хотели о том, чтобы Бертиль на мне женился, хотя мы с ним были товарищами по работе и по союзу социал-демократической молодежи. Они угрожали ему лишением наследства

и пустили в квартиру на втором этаже своего дома, ранее предназначавшуюся для Бертиля с его молодой женой, одного из дальних родственников. Они сдались лишь после того, как я стала зарабатывать на сдельной работе больше Бертиля. Тут я сразу выросла в их глазах, и они принялись пилить сына за то, что он не сумел найти себе более теплого местечка. «Бертиль ленив и непредприимчив»,— говорил мой свекор. Свекровь же возлагала надежду на меня: я, мол, помогу Бертилю подняться. Это была моя маленькая победа.

Когда Гуннар уехал в первый раз, я в воскресенье отправилась к Янне и братьям. Мне казалось, что я иду в родной дом, хотя теперь они жили в Горде. У них была одна комната с кухонькой. Калле бывал дома редко: он собирался жениться.

— Все становятся взрослыми и умными и скоро уйдут от меня,— говорил Янне и по своей старой привычке добродушно подмигивал.— И я останусь один на корабле.

— А почему бы тебе самому не жениться? — спросил Хельге.

— Да вроде ничего другого мне не остается,— улыбнулся Янне.— Но каждый день приносит столько забот, а сегодня вот воскресенье, надо отдохнуть.

Я пришла к ним около полудня, однако застала их всех четверых без пиджаков, еще за утренним кофе.

Янне-то встал рано, чистил и скреб квартиру, как он говорит. В нем еще осталась старая закваска, хотя он уже много лет работал комендантом в большом учреждении и под его начальством было много уборщиц. Я хотела помочь приготовить завтрак, но мальчики сказали, что им некуда спешить, и предложили мне сначала выпить с ними чашку кофе.— А после завтрака мы отправляемся шататься по городу,— пояснил Янне.— Гуляем весь день до позднего вечера, вот как!

Однако я не могла сидеть сложа руки. Я обязательно должна была помочь им по хозяйству: нужно было что-то делать, чтобы хоть немного загладить мою невнимательность к младшим братьям и Янне. Они уверяли меня, что прекрасно управляют с хозяйством, но я все же проверила их одежду и белье.— Не вздумай изображать из себя служанку! — запротестовал Артур.— Нет, нет, а то ты к нам опять долго не заглянешь! —поддержал его Янне.

Я пообещала им, что скоро приду снова. Они все же были рады моей помощи. Воскресенье выдалось замечательное,

как в старые времена. Позавтракав вместе со мной, они не пошли гулять в город: у нас было о чем поговорить. Мне хотелось узнать, как они живут.

— Ничего, живем понемножку, — сказал Хельге.

Мы с ним были закадычными друзьями, когда он был маленьким. А теперь он настоящий мужчина, выше меня ростом.

— У тебя нет еще невесты? — спросила я.

— Тише, тише, — смущенно буркнул он.

— А что ты читаешь?

— Что попадет под руку.

— Он не проглатывает книги и газеты, как ты! — подмигнул Янне.

— А следовало бы, — сказала я, — Ведь у него, наверное, времени больше моего.

— Ты думаешь, у меня много свободного времени! — воскликнул Хельге.

— Мы играем в шахматы, — пояснил Артур.

— Посмотреть только на них, когда они играют в шахматы! — расхохотался Янне. — Сидят дома, а будто их и нет!

Мне показалось немного странным, что в наше время можно так увлекаться одними лишь шахматами, но хорошо хоть, что не картами. Бертиль пытался научить меня играть в карты.

Все они чрезвычайно удивились отъезду Бертиля в Испанию.

— Опасно так увлекаться политикой, — сказал Янне,

— Но ты ведь был во флоте во время войны.

— Когда я был во флоте, была война — это другое дело.

— Сейчас в Испании много моряков — и шведов и других национальностей. Они не более воинственны, чем ты, но хотят помочь испанскому народу отстоять свои права.

Янне кивнул. Артур и Хельге внимательно слушали, но ничего не сказали. «Милые мои шахматисты, — подумала я, — будь у вас желание помочь шведскому народу, вас заинтересовала бы и Испания...»

После этого воскресенья у меня долго сохранялось радостное настроение. Каждый день собиралась я навестить и Марию. Мне только не хотелось застать домашнего мужа. Ведь он нас с Бертилем не переваривает. Не была ли я слишком строга с моими мальчиками? Не кажется ли им, что я очень

горда своей ролью старшей сестры? Я ничего не сказала им о Гуннаре. Трусость, конечно. И я вовсе не была так собой довольна, как им могло показаться. Я обещала в ближайшее время зайти к ним еще... Схожу как-нибудь вечером, когда они играют в шахматы.

Но сначала я пошла к Марии. Отправилась наугад: будь что будет, положусь на волю божью, как говорится. И мне повезло: мужа не было дома — он ушел на собрание. Мария гладила белье. Малышей она уже уложила. Не прошло и пяти минут, как мы снова почувствовали себя такими близкими, будто только вчера мы спали обнявшись, чтобы не ощущать своего одиночества.

Какой чудесный вечер провели мы вдвоем! Я гладила, а она варила кофе. И мы смеялись! Мне вдруг очень захотелось взглянуть на ее спящих малюток. Я только теперь поняла, что мне хочется этого уже очень давно. Девочка была похожа на маленького Хельге.— Какое сокровище! — сказала я Марии. Она только усмехнулась и стала такой же очаровательной, как ее дети.— Обязательно приходи к нам как-нибудь в воскресенье и захвати их с собой! — пригласила я. Мария, конечно, заметила, что я сказала «к нам», но ничего не спросила.

— Как-нибудь зайду,— согласилась она.

Когда мы сели пить кофе, я упомянула о Гуннаре. Мария не проявила особенного любопытства. «Может быть, она уже что-нибудь слышала?» — подумала я. Но она его не знает. Мария должна увидеть Гуннара, а он должен увидеть ее детей. Я еще не знала, что она ждет третьего. Какая это была хорошая встреча! Мы будто играли в какую-то игру: Мария украдкой взглядывала на меня, и я взглядывала на нее, тоже украдкой, и мы снова смеялись.

И все же, уходя от нее, я унесла мою тайну с собой; но не успела пройти и несколько шагов, как меня потянуло обратно. Мне было стыдно моей трусости. Неужели я стеснялась? Стеснялась Марии?! Но дело не в одной Марии, у нее есть муж. Упомянув о Гуннаре, я сразу же вспомнила о нем. Ведь мы с Марией не одни со своими детьми. Мне следовало бы спросить Гуннара, можно ли рассказать нашу тайну сестре. И я непременно его об этом спрошу, нежно и ласково. И буду чувствовать себя счастливой. О, наша радостная тайна... Гуннар тоже так волновался за нее, что неизменно понижал голос, когда у нас заходил разговор о «маленьком су-

шестве». «Это так ново, так непривычно об этом думать», — говорил он. Не от Гуннара ли передалась мне эта робость? Но Гуннар сделал меня не только робкой...

* * *

Когда я сижу и вяжу что-нибудь для маленького, у которого все должно быть мягким и теплым, я псвторяю себе: «Никогда больше я не буду одинока!» — Это так успокаивает. Я радуюсь и горжусь той ответственностью, которая отныне придет на смену моему одиночеству.

Не Бертиль был повинен в приступах одиночества, когда мне казалось, что сердце останавливается. Хуже всего было после смерти мамы, когда мы остались одни. Я вспоминаю об этом, и мне кажется, что мама причинила нам какое-то зло. Если другие люди от горя ожесточаются, как это случилось тогда со мной, то мне понятно, что они могут остаться злыми до конца своих дней. Да! Не будь у меня тогда на руках малютки Хельге и Марии...

Гуннар вернулся. Гуннар дома.

Гуннар во всем, что у меня есть. Гуннар во мне, в каждой частице моего существа. Он владеет мною безраздельно. Я ощущаю его, когда стою на фабрике у своего станка. Я ощущаю его поцелуи у себя на губах и на груди, когда готовлю на кухне обед, а он сидит и ждет. Я полна им. Удивительно, как он во мне вмещается. Я смотрю его глазами. Я слушаю его ушами. Когда он обнимает меня, во мне, во всем моем мире — землетрясение.

Пока я не испытала того, что мы с ним пережили в саду наших наслаждений, я даже не представляла себе, как прекрасна жизнь.

Гуннар дома, и я счастлива.

В жизни ничто не дается даром. Всему надо учиться, ведь из худого мешка много не извлечешь. Но к тому, что имеешь, ты крепко привязан, хотя и не всегда себе в этом признаешься. Человек уверен, что знает, что нужно для его счастья, и думает: раз птицы летают, — значит и ему ничего не стоит взлететь в небо.

Когда я выходила замуж, я думала, что сумею ужиться с мужем. Кое-как некоторое время мы с ним прожили. Но в конце концов он ушел от меня своей дорогой, и я сочла его

и жару. Но почему все-таки на «Шарикоподшипник»? Такое желание возникло у него после того, как я навестила их в воскресенье, — ему захотелось чаще со мной видаться, объяснил он и даже глазом не моргнул, как будто высказал самую простую вещь на свете! С детства он работал в конторе, но не утратил своей мальчишеской чистосердечности. У него такое открытое лицо, такой ясный взгляд!.. Конечно, ему лучше на завод. Я за него очень рада. Мне хотелось бы ходить на завод вместе с ним, держа его за руку, как прежде. Я помню его маленькую теплую ручку в моей руке. Маленький мальчик, которому мне пришлось заменить маму. Я ему еще нужна.

Гуннар спросил, как ему работается в конторе.

— Чепуха, — ответил Хельге.

Я расхохоталась. Коротко и ясно. Они с Артуром всегда так.

— Да, да, — продолжал Хельге, — Отвратительно. День-деньской мотаешься в трамваях.

Гуннар все спрашивал, а Хельге отвечал короткими, меткими фразами. Время от времени он весело смеялся, заранее радуясь предстоящему освобождению от надоевшего ярма. Раблепствовать перед хозяином, сгибаться перед кассиром, стоять на цыпочках перед бухгалтерами и угождать барышням — нечего сказать, большое удовольствие!

Он рассказал, как ему случается нарушать правила хорошего тона. Барышни в конторе очень за этим следят, у них вытягиваются лица при малейшем грубом слове, непривычном для их слуха. Мужчины чопорные и зализанные, как лакеи из кинофильма, но притворяются, что обладают чувством юмора. Хозяин — тот даже не удостаивает взглядом такую мелочь, как Хельге; знай сидит за своей дверью из красного дерева, порог которой никто не смеет переступить, не постучав предварительно два раза. А брюзгливый кассир считает себя всеведущим, как сам господь бог. Только взгляд у него далеко не ангельский.

— Но что они тебе там скажут, когда ты заявишь, что хочешь перейти на завод, и попросишь у них характеристику? — спросила я.

— Ничего не скажут.

— Может быть, на этот раз твой хозяин удостоит тебя взглядом! — сказал Гуннар и расхохотался.

— Нет. Секретарь напишет бумагу, а старикан только поставит свою подпись.

— Видно, у них не в большой чести те, кто на них работает, как, а?

— Честь! Получку получил, вот тебе и честь.

Гуннар бросил на меня вопросительный взгляд. Но Хельге, конечно, сказал правду. Это то, что он видит вокруг себя.

В следующий раз Хельге пришел с Артуром.

— А Янне? — спросила я.

— Гм, в конце-то концов, мне следовало тебя навестить, я и пришел, — с улыбкой сказал Янне, заявившись к нам через несколько дней. Он говорил немного, больше сидел и слушал. — Начинаю стареть, — подмигнул он. — Не прикидывайся, ты вовсе еще не стар, — возразила я. — Вообще-то нет, но когда видишь вокруг столько молодежи, невольно чувствуешь себя стариком!

Янне у нас понравилось. Вскоре он пришел еще раз и привел с собой Калле.

На этот раз Калле чувствовал себя увереннее, чем в то воскресенье, когда я к ним нагряднула. Он крепко пожал мне руку своей здоровенной лапой монтера. Этим пожатием он как бы сказал: «Можешь на меня рассчитывать».

Мы с Калле с детства полагались друг на друга. Он во многом мне помогал, особенно после смерти мамы, и часто обращался ко мне за советом. Мы вместе ломали голову и над его трудными уроками и позже, когда он искал работу. Он не хотел слушать уговоров Янне и не поступил в рассылные. Мальчик мечтал сразу же устроиться на верфи, как папа. Однако там был долгий срок ученичества. Тогда Калле поступил в литейную, но нагрубил управляющему, и его выгнали. В нем было больше классовой сознательности, чем во мне. Мы вместе читали газеты — не те, что приносил Янне, — и Калле решил стать агитатором. В самые тяжелые времена безработицы он дважды устраивался на место и тут же его лишили из-за своего длинного языка. И на каждом из этих мест он успевал многое повидать и многому научиться. Я то и дело бегала в поисках новой работы для него. Мне удалось поступить на «Шарикоподшипник», а ему нет. Но там я узнала, что есть свободное место на телеграфе. Калле туда приняли, он стал работать по ремонту линий. Это ему подошло, и он там остался. Он был не старше Гуннара, но успел

уже накопить солидный профсоюзный опыт. Он мог принести много пользы там, где работал.

Калле шагнул дальше нас всех. С Артуром вышло по-другому. С самого начала своей трудовой жизни он работал на одной и той же фабрике. Ему там нравилось. Фабрика находилась в Горде — всего в каких-нибудь двухстах метрах от его дома. Янне был знаком с вахтером фабрики, и Артуру позволили туда явиться и показать, что он умеет. С тех пор он прессовал жесть, вырезал коробки и консервные банки. О своей работе он говорил редко. В свободное время, если не играл в шахматы, занимался механикой. Хельге уверен, что в один прекрасный день Артур станет изобретателем.

Гуннара Калле несколько чуждался. Он о нем слышал, одобрял нашу работу в пользу Испании, но не мог еще относиться к нему как к товарищу. Мне очень хотелось сказать Калле с глазу на глаз: «Не одни только испанские дела связывают меня с Гуннаром!» Но я не успела. Раздался звонок — и явились Артур и Хельге. «Вот и хорошо», — подумала я.

Хельге весь сиял.

— В чем дело? — спросила я.

— Я удрал. Самое худшее теперь позади, — ответил он, возбужденно шагая по комнате, словно очень торопился. Он едва удерживался от смеха и переглядывался с Янне и Артуром. Я ничего не могла понять и заподозрила, что они все вчетвером приготовили мне какой-то сюрприз.

Но тут вмешался Калле: — В чем дело, ребята?

Хельге откашлялся и засмеялся. — Я бы не признался, что ты моя сестра, — сказал он, остановившись передо мною. — Но мне не хотелось их обманывать. И все-таки место я получил.

— На «Шарикоподшипнике»! — воскликнула я, и он утвердительно кивнул в ответ.

— Элин так рада, что лишилась дара речи, — заметил Калле. — Молодец, Хельге.

На меня нахлынула волна радости, я не могла сдержаться и выбежала в кухню. «Это ты несешь с собой удачу!» — мысленно обратилась я к маленькому существу внутри меня, чувствуя себя бесконечно счастливой.

Мгновение спустя ко мне вошел Хельге. — Помочь тебе? — спросил он. — Смолоть кофе? Только прикажи.

— Прежде всего ты должен рассказать, как тебе удалось устроиться на работу, Хельге!

— Очень просто. Ушел из конторы. Поехал на С. К. Ф.*
И меня приняли. Какой завод!..

* * *

Время шло так скоро! Весна наступила так быстро! Мы едва успели оглянуться, как настала троица. Два свободных дня, два чудесных летних дня!

Оба этих дня Гуннар должен провести в разъезде с докладами об испанских событиях. Разумеется, мне очень хотелось поехать вместе с ним, но он мне не позволил. Правда, живот у меня уже очень вырос, но поездка не причинила бы мне вреда. Ведь была троица, и так хорошо было бы выехать за город. «Завтра он переменит решение и согласится взять меня с собой,— думала я накануне его отъезда.— Неужели он не возьмет меня, когда я свободна?»

Тем не менее он уехал один, а я осталась дома со своим первым крупным разочарованием.

— Элин, будь благоразумна,— просил он меня, отправляясь на вокзал.

Что значит быть благоразумной?.. Забыть, что он уехал от меня на два прекрасных летних дня? Постараться думать о чем-то другом?

— Ты, видно, надеешься, что лето будет нас ждать,— сказала я.

Но он не склонен был шутить. Лето тут ни при чем. Самым благоразумным с моей стороны было бы пойти погулять немного по Алле, полюбоваться на цветы и зелень, может быть, даже дойти до Слоттсскугена, а попозже еще раз навестить братьев. Однако на эти два дня у меня хватит работы и дома. Я не собиралась предаваться грусти. «Конечно, Гуннар прав,— думала я.— Мы, счастливые, призваны бороться против всего, что делает людей несчастными». Мне очень хотелось бы помогать ему в его работе, но, может быть, я оказалась бы менее полезной, чем рассчитывала. Наверное, он будет говорить о Гернике **. Он думает, что мне было бы тяжело услышать страшные подробности. Но я и сама могла бы рассказать другим про Гернику,

* Свенск Куллагерфабрик — Шведский завод шарикоподшипников.— *Прим. перев.*

** Герника — город в северной Испании, варварски разрушенный фашистами во время гражданской войны 1936—1938 гг.— *Прим. перев.*

объяснить, в чем ее значение. Люди должны знать, что никто не застрахован от фашистских зверств. Пока фашисты у власти и могут творить зверства, каждой стране — и нашей в том числе — угрожает опасность превратиться в новую Испанию, и каждому городу — в новую Гернику. Это ведь не только садизм отдельных вырожденков, это массовое убийство беззащитных, возведенное в систему, в политическое средство подчинения народа. Если народы не объединятся и не остановят кровожадных тиранов, земля превратится в ад... Мало знать и понимать это самой — надо объяснять и другим, как Гуннар. И никогда об этом не забывать. Верить в новый, лучший мир, в котором нашему ребенку будет легче жить. Любить этот мир и работать во имя его!

Я не была бы помехой Гуннару. Ну что ж, мне остается только помечтать о том дне, когда я смогу выступить с речью о мире, об освобождении Испании от власти палачей, капиталистов, попов. О свободе для всех народов. Эти мечты осветили новым светом праздничные дни.

И я пошла гулять на Аллею.

В цветущих каштанах, в зеленеющей траве, в тишине под кронами деревьев было что-то торжественное. На душе у меня стало радостно, и мне захотелось поиграть, поговорить с моим товарищем, с моим другом. «Разве я не благоразумна, Гуннар?» — проговорила я так тихо, как растут трава и цветы.

Потом я представила себе, будто держу своего ребенка на руках и иду вместе с ним далеко, далеко. Я прошла всю Аллею до самого моста Стампбрун и затем повернула назад.

Я гуляла целый час и, возвращаясь домой, чувствовала себя так, точно побывала на лоне прекрасной летней природы.

У двери нашего дома стояла мать Бертиля и звонила. В руках у нее была коробка с тортом. Я тотчас же вспомнила, что сегодня день рождения Бертиля.

— Мое дорогое дитя, вот ты где! — воскликнула она удивленно и засмеялась. — Значит, я все же пришла не напрасно.

В первый раз она обращалась ко мне в таком ласковом тоне. Прямо какое-то явление Христа народу или что-нибудь в этом роде — ради святого праздника. Удивляться следовало бы мне.

Свекровь вступала под крышу моего дома всего лишь второй раз. Она огляделась вокруг — не совсем как чужой человек, но с любопытством, оценивая и как бы ища чего-то. Уж не думает ли она, что Бертиль прячется у меня под кроватью? Потом перевела взгляд на меня. Коробку она не выпускала из рук. Может быть, она забыла про нее? Я ожидала увидеть холодное лицо, суровый взгляд. Но она была рада. Она обрадовалась!

Наконец свекровь протянула мне коробку, она явно не знала, что сказать.

Так, смущенные, мы и стояли друг перед другом. Может, объяснить ей, что вовсе не Бертиль повинен в моей полноте?

Мне показалось, что ее растерянность сейчас разрешится каким-то взрывом чувств, чем-то театрально-патетическим. Но я не смогла бы отвечать ей в том же тоне.

Я принялась развязывать бечевку на коробке с тортом. — Поздравляю же тебя... Поздравляю, моя дорогая девочка! — проговорила она со слезами радости в голосе.

Я подняла крышку и спрятала за ней лицо. В коробке оказался не торт, традиционный для дня рождения, а пирожные.

— Большое спасибо,— сказала я.

Свекровь долго заставила себя ждать, но в искренности ее нельзя было усомниться. Я только не могла понять, почему она так переменялась. Отъезд Бертиля в Испанию был тяжким ударом для его родителей, и они винили меня.

— Прежде всего привет от Бертиля,— поспешила она сказать.— На днях мы получили от него письмо. Ему живется хорошо. Он там чинит моторы самолетов.

Мне Бертиль прислал всего-навсего одну открытку, когда лежал в госпитале. Я поблагодарила и попросила передать ему мой ответный привет. Свекровь, наверное, заметила мое смущение. Но ей нужно было сообщить мне еще кое-что.

— Ты, вероятно, не знаешь, что папа очень болен. Это все его сердце. Один раз мне даже показалось, что он умирает. Но вчера его положили в больницу. Так что есть еще какая-то надежда. Я написала Бертилю, чтобы он возвращался, если хочет застать отца в живых.

— Вот как...— Это было все, что я нашлась сказать.

— Теперь, во всяком случае, я стала свободнее и могу ходить куда хочу,— добавила она.

Было о чем задуматься. Мы все еще продолжали стоять посреди комнаты. Я медленно поставила коробку на стол.—

— Ты так думаешь? Для этого нужно быть молодой, а не старухой, проведшей лучшие годы в скучном замужестве!

— Труд — хорошее лекарство против скуки. Попробуйте.

Я сказала это непринужденно, от души, словно разговаривала со своей сверстницей. И я представила себе, какой нестерпимо скучной оказалась бы моя жизнь, будь у меня один лишь Бертиль и никакой работы. Мария опять взглянула на меня, и по ее губам скользнула улыбка. Но свекровь не требовала уважения к возрасту, наоборот, ей нравилось, что разговор ведется на равной ноге. Может быть, ей хотелось наверстать свои потерянные годы. Ей ведь нет еще и пятидесяти. Замуж она вышла очень молодой.

Она еще немного поиграла с детьми, а потом попросила нас называть ее по имени — Бэдой. Но тут она вспомнила о своем старике, который дожидался ее в Салгренске.

Мы будем называть мать Бертиля Бэдой — вот самое крупное событие троицына дня.

Еще один свободный день. А то все работа и работа. Неплохо хотя бы немного отдохнуть от станков. Я успела постирать белье и убрать в доме. Кроме того, мне нужно кое-что сшить для себя и для маленького. День промелькнул так быстро, что я даже не заметила.

Я и сегодня совершила большую прогулку по Аллее. «Удивительно, как мало народу гуляет в такой прекрасный день,— подумала я.— Неужели они не видят, как здесь хорошо? Кое-кто сидит и вздыхает в церквах, а другие спят дома — удивительно! Даже люди со средствами не выезжают в такую погоду за город. Это очень глупо. Именно человеческую глупость и используют в своих целях капиталисты и фашисты. Сколько нужно усилий, чтобы у людей пробудилось сознание? Чтобы правда жизни стала силой?»

Я посидела на скамейке. И вдруг ощутила движение маленького внутри себя, настоящий толчок — такой, что я даже вздрогнула. Я громко рассмеялась. Слава богу, близости никого не было и некому было испугаться моего внезапного смеха. Но мы будем тихими, мы будем тихими, как трава, как почки цветов. И я взглянула на цветы, словно ожидая, что они нам улыбнутся и кивнут головками.

Когда я поднялась со скамейки и пошла, я заметила в отдалении шедшего мне навстречу молодого человека — сту-

дента в белой шапочке. И вдруг у меня мелькнула мысль, от которой замерло сердце: это Бертиль.

Никакого сходства не было, он ровно ничем не напоминал Бертиля. И все же у меня было такое чувство, будто я внезапно прочла написанное черным по белому его имя или кто-то шепнул мне это имя на ухо. В первую минуту я хотела повернуть обратно, но превозмогла себя и продолжала идти вперед. Мне хотелось посмотреть, не свернет ли шедший мне навстречу человек в сторону. Нет, он подходил все ближе.

Привет от Бертиля. Ему живется хорошо. Он чинит моторы самолетов.

«Наперекор своей матери, а может быть, и отцу Бертиль работает,— подумала я.— Он учится. Он принимает участие в борьбе».

Теперь студент подошел настолько близко, что я могла заметить, как он в меня всматривается. Но я продолжала твердить с волнением и гордостью: «Бертиль чинит моторы самолетов! Для защиты человечества. Для нас. Для будущего моего ребенка. Герника больше не повторится. No pasará!» *

И я подумала о только что испытанном толчке. Крошечный сжатый кулачок. Я сжала в кулак свою руку, и, когда молодой человек проходил мимо, я невольно ему улыбнулась. Он в ответ приподнял шапочку.

Наверное, он удивился моей улыбке, но, конечно, никогда ему не догадаться, что ее вызвало. Я улыбнулась, потому что мне не было страшно. Мы встретились с ним в летний день на Аллее, он такой же человек, как и я, он мог бы быть моим хорошим товарищем. И я подумала: «Salud!» ** Я представила себе, что это Бертиль. Он видел только меня одну, а нас двое. Я могла бы быть ему матерью, как я была ею для Хельге; во всяком случае, могла бы помочь ему развеселиться, разглядеть красоту сияющего неба, научить его произносить слово «Salud!» Но, может быть, он боится освободительной борьбы? Он прошел мимо меня.

Бада!.. Ты думала, что я отняла у тебя Бертиля, но думала ли ты, что обретешь его вновь, когда он напишет тебе письмо из Испании, быть может, первое письмо в своей жизни? И не надеешься ли ты обрести его в ребенке, которого я вынашиваю?

* Они не пройдут! (испанск.) — лозунг испанских республиканцев в гражданскую войну 1936—1938 гг.— Прим. перев.

** Привет! (испанск.)

А если они оба все же будут принадлежать мне, Бэда? Ведь он велел передать мне привет. Если бы ты только знала, что мне сейчас снился Бертиль, когда я задремала в его плетеном кресле. Я шила и очень устала. Вчера и сегодня я провела на воздухе больше времени, чем обычно. Проснувшись я от движения во мне маленького существа: оно вывело меня из моего радостного сна. Мне снилось, что в комнату входит Бертиль и осматривается по сторонам. Он — Мальчик-с-пальчик, одет в испанский мундир. И вдруг всего его я ощутила в себе. Бертиль — мой ребенок. И я была счастлива и смеялась от счастья всякий раз, как он приветственно помахивал мне своей красной шапочкой, какие носят баски. А проснувшись, я тоже смеялась, но уже по другому поводу — из-за нелепости моего сна. Он был во мне и в то же время находился в комнате. Маленький и большой, задорный мальчишка и взрослый мужчина. А потом мундир исчез, и голова Бертиля превратилась в испанский апельсин.

Ты, наверное, сказала бы, Бэда, что я сама поглупела от счастья. Ведь, проснувшись, я отправилась искать испанские апельсины, и это — на второй день троицы.

III

Иметь детей — дорого обходится. Я знала это и раньше, но мы, конечно, не подумали обо всем, о чем следовало подумать. А если бы и подумали, какая в том польза? Мы бы только испугались. Разве нам под силу что-нибудь скопить? Рождение ребенка — маленькая революция в доме.

Конечно, это не то, что двадцать лет назад, когда мама ради детей выбивалась из последних сил. Интересно, какова будет жизнь, когда моей маленькой девочке исполнится двадцать. Лучше? Будущее отнюдь не радует. Вот если произойдет революция...

Женщину выживают конкуренты, когда она настолько счастлива, что может позволить себе иметь ребенка. Это счастье не для работниц. Конкуренция из-за заработка — вот единственная борьба, которая ей дозволена. Борьбу же за своего ребенка она ведет на собственный страх и риск.

Работница должна быть благодарна за ту небольшую помощь, которую ей оказывает больничная касса, за то, что родильный дом обходится дешево. Она должна благодарить общество за заботу о детях, за малейшую подачку. Эти по-

дачи приходят от тех, у кого есть право на деньги, на большие деньги.

А наши маленькие деньги кончились. На что же мы имеем право? Вот уже месяц, как я не работаю у своего станка. У меня такое чувство, будто почва уходит у меня из-под ног, будто порвалась моя связь с действительностью. Все стало иным. Если бы у нас были деньги, я бы сказала, что все стало иным с появлением в доме моей маленькой дочки.

Священное право собственности. Ныне право жить в обществе дают деньги. «Кто не работает, тот не ест», — говорят нам они, — они, живущие в изобилии, созданном трудом других. Они владеют акциями «Шаркоподшипника» и потому имеют право извлекать из нашей работы больше прибыли, чем мы получаем заработной платы. Их же труд заключается в стрижке купонов и откладывании денег в банк. А если из нас нельзя больше извлечь прибыли, мы теряем последние права.

У нас ничего нет, и мы мало на что претендуем. Нам предоставляется свобода умереть с голоду, если мы останемся без работы или если работа нас доконает. Это — единственная свобода, нам предоставленная. В этом отношении мы недалеко ушли от тех времен, когда были живы папа и мама. И вот что сейчас с нами произошло: мы выключились из работы, полюбив друг друга и родив ребенка. У Гуннара тоже нет работы, потому что он коммунист.

Новое заключается в том, что можно жить в обществе, в городе, и в то же время чувствовать себя как бы за бортом.

Нет, новое еще и в том, что, чувствуя себя вне общества, не становишься от этого несчастной. Можно остаться без работы и без денег и все же быть спокойным и радостным, потому что у нас есть маленькая дочка. Мы занимаемся ею днем и ночью. Самое главное, чтобы она получила достаточно молока, а будем ли мы сыты — это неважно. Мы часами просиживаем около ее колыбели и любимся ею без конца, позабыв обо всех своих заботах. Но о том, что нужно ей, мы всегда вспоминаем вовремя и выполняем неукоснительно. Мы знаем, что долго так продолжаться не может, но мы все откладываем поиски выхода из нашего тяжелого положения. Мы не можем омрачить нашу радость. Что бы такое нам продать, иногда задумываюсь я, но даже не пытаюсь поискать что-нибудь подходящее для продажи. Всегда представляется случай посмеяться над тем, что проделывает

наша крошка. Я еще не привыкла к тому, что больше не получаю заработной платы. «Надо бы достать денег», — думаю я. Но я не в силах оторваться от дочери и отправиться раздобывать деньги. Бэда навещает меня через день и приносит мне что-нибудь поесть. Так длится уже неделю. А что дальше?

— Ты не вздумай сама готовить, я тебе все буду приносить, будь спокойна, — говорит Бэда. — Ты ничего не должна сейчас делать. Главное, чтобы пища тебе нравилась и чтобы ты много пила.

— Крошка! Крошечка моя! — твердит она восхищенно, словно в этом ребенке сосредоточилась вся ее жизнь. Она ежедневно совершает к нам длинную поездку из Редбергс-лида, хлопочет и убирает, как в своем собственном доме, старается помочь мне в чем только может.

— Я теперь только и делаю, что разъезжаю в трамвае, — смеется она. — Больше мне ничего не остается.

Она смеется, она жива и подвижна, как молодая. Находясь у нас, даже и не пытается скрывать свою веселость, хотя, само собой разумеется, ходит в трауре, как приличествует вдове, а когда едет в трамвае, принимает скорбный вид. Своего мужа она похоронила совсем недавно, я в то время находилась в родильном доме. Мне думается, она охотно потанцевала бы, если бы кто-нибудь ей сыграл.

Она очень приветлива с Гуннаром. Делает вид, что ничего не знает, и называет его «твой жилец». До рождения дочки она видела его всего несколько раз. Может быть, у нее и возникают подозрения, но она ничего не говорит. Она не против того, чтобы он помогал мне нянчить ее внучку, лишь бы он не мешал ей самой, и Гуннар это понял. Если ему случается бывать дома в то время, когда она тут хозяйничает, он держит себя так, точно его и нет. И она довольна. Может быть, даже из-за Гуннара она и приходит так часто. Ничего, она к нему привыкнет.

Ее любимец — Калле. Этим летом он женился и всегда приходит со своей Эдит. Бэда с ним шутит, берет Калле под руку и говорит: — Посмотрим, не удастся ли мне отбить его у жены!

Эдит — серьезная женщина, и вначале ее немного корбила «веселая вдова». Но скоро она поняла, что ничего особенного тут нет. Бэда может так же подурачиться и с Гуннаром. Пока что, правда, она с ним не шутит, но скоро привыкнет. Гуннар не делает в ее адрес кислых гримас, она ему

даже не кажется странной, она его забавляет. Бэда — мещанка, это совершенно очевидно, но не более чем многие другие. Ее мнений он не оспаривает, оставляя их в полной неприкосновенности. Ему неинтересно ее переубеждать. Но с Янне, который обычно не критикует людей, поначалу было гораздо хуже. Он не влюбил Бэду, никогда на нее не смотрел, настолько был нелюбезен, что это бросалось в глаза. Не считает ли он ее неискренней со всеми ее хлопотами? Я боялась, как бы он не отпугнул ее от нашего дома.

Если он и обменивался с нею несколькими словами, то лишь для того, чтобы поддержать Гуннара. На это он был готов всегда. Стоило Бэде перешагнуть порог, и он подсаживался поближе к Гуннару. Бэда, конечно, замечала, как Янне к ней относится. Она всячески старалась не попадаться ему на глаза, подолгу оставаясь в кухне; ее просто дрожь пробирала при виде добродушного старого моряка! Но вот осенью умер ее муж. Ее нервность, взвинченность исчезли; она приходила к нам, словно ища покоя, умиротворения. Она явно боялась смерти. Но на скорбь Бэда не была способна.

И тут меня очень удивил Янне.

— Разве тебе ее не жалко? — как-то спросила я у него.

— А разве она чувствует себя несчастной? — улыбнулся он и посмотрел так лукаво, что я не нашлась, что сказать.

Марии же Бэда нравилась.

— У Бэды доброе сердце — вот что я тебе скажу, Янне! — заявила Мария. — Только жизнь ее прошла скучно.

— Просто муж ее избаловал, — возразил Янне.

— Вот уж действительно! Этот толстый старикан избаловал ее! — вспылила Мария. — Он заставлял ее сидеть на стуле и вязать чулок, если не нужно было его обслуживать.

— Я плохо разбираюсь в женщинах, — сказал Янне с таким видом, словно ждал, что ему сейчас закатят хорошую пощечину. — А приходилось ли ей испытывать в чем-либо нужду, если она вот так и просидела всю жизнь на стуле с вязаньем?

Мы с Марией переглянулись и расхохотались.

— Нужду испытывало ее сердце, пойми ты это! — сказала Мария.

— А я слышал, будто это у него с сердцем было плохо, — улыбнулся Янне, снова подмигивая.

— Ты полагаешь, он заслужил чего-нибудь лучшего? — спросила я.

— Трудно сказать,— пожал плечами Янне.

— Очень глубокомысленно! — засмеялась Мария.

Так относился к Бэде дядя Янне в первое время. Но скоро его отношение изменилось. Как-то раз она зашла к нам вечером (Гуннар по вечерам почти никогда не бывал дома), зашел на минутку и Янне, и они ушли вместе, а я стала кормить маленькую. Они уже были в передней, как вдруг Бэда снова впорхнула в комнату, сияя радостной улыбкой, и шепнула мне:

— Мы с ним поедem в одном трамвае!

На другой день я пожалела, что отпустила их с миром, когда они — и Бэда и Янне — были в таком превосходном настроении. Мне следовало бы попросить у них немного денег взаймы. Ах, если бы только я могла это сделать! Дайте нам... «Нам? — наверное, переспросила бы Бэда, и у нее определенно возникли бы подозрения. — Разве твой жилец тебе не платит?» Я не солгала бы, сказав:

«Мне нужны деньги для маленькой, сейчас все так дорого. А на заводе я смогу начать работу не раньше чем через две недели. У меня не осталось и пяти крон». — «Но, дитя мое! Тебе нельзя выходить на работу так скоро, ты погубишь себя!» — возразила бы, наверное, Бэда. Что бы я ей ответила?

Придется взяться за Гуннара. Я сказала ему, что он должен добиться лучшей оплаты за свои доклады и за все, что он делает в комитете. — Не могу! — ответил он. — Но ведь это же работа, — возразила я, — а у нас сейчас такое тяжелое положение! — Однако он сказал, что не может просить для себя прибавки на ребенка.

— Ведь мы с тобой не женаты, — сказал он.

— Что за ерунда! Ты воображаешь, что нашим товарищам ничего не известно? — набросилась я на него. — Уж не боишься ли ты, что тебе начнут читать прописную мораль? Стыдишься ты меня, что ли? Если у тебя не хватит смелости, то это сделаю я. Разве докладчикам не платят точно так же, как машинисткам и наборщикам?

— Я не настоящий докладчик и не машинистка, — отвечал он. — Это не моя профессия.

— Так сделай это своей профессией, раз у тебя нет никакой другой работы! Ты не можешь отдавать даром все, что ты пишешь, точно какой-нибудь миллионер!

— Я еще только учусь, а за учение я должен платить, как и все другие,— сказал он.

— Что же нам в таком случае делать? Ведь кто-то из нас должен зарабатывать деньги!— вспыхнула я.— Пока ты учишься, нам надо на что-то жить.

Я считала, что он говорит и пишет ничуть не хуже других, которым за это платят больше, и мне надо было сказать ему об этом. Неужели же он не заслуживает вознаграждения за свой честный труд, хотя это и не труд рабочего? Нельзя быть таким щепетильным, когда нужно отстаивать свои права.

Он мог бы проявить такую же горячность, как и я, мог бы рассердиться и сказать, что принесет денег, как только сможет это сделать. Мы никогда прежде не ссорились. И сейчас нам надо было бы рассмеяться. Я бы обняла его и прижалась к его груди. Мне так хотелось это сделать. Но он только посмотрел на меня долгим нерешительным взглядом, немного отчужденным: ему надо было овладеть собой. Я не хотела его обидеть, но обидела. Казалось, что ему хочется доказать свою правоту, остаться неуязвимым. Деньги! Он не любил говорить о деньгах, старался даже о них не думать.

«Прости»,— вот что мне нужно было бы сказать.

С Гуннаром творится что-то такое, что мне не нравится. Он становится все более и более неуверенным, и это не только в связи с появлением у нас в доме Бэды. Чем больше он читает, тем меньше походит на самого себя. В самую сильную летнюю жару он просиживал целыми днями и все читал да читал.

— Съезди в Лонгедраг, погрейся на солнце,— советовала я ему.— Отдохни немного от книг, а не то жизнь тебе будет не в радость! Несколько раз я пыталась вытащить его вечером погулять, но он отказывался. Сначала я думала, что он не хочет появляться со мной из-за моего большого живота — многие мужчины этого стыдятся,— но, может быть, я ошибалась, не понимала его. Разумеется, среди его товарищей по партии о нас шли толки, но его это мало задевало. Гораздо хуже было то, что он чувствовал себя зависимым от меня и моей работы и что мне чуть ли не до последнего дня пришлось работать. Конечно, ему было горько сознавать, что все члены моей семьи — братья, Янне, я,— все работали, и только он один был безработным. Бэда своим появлением могла пробудить в нем угрызения совести, если бы он и так уже от них не страдал. Впрочем, мы все считали, что Бэда должна уступить. Придя к нам, она попала в новую для себя

Гуннар принес тридцать крон.

— Ура! — закричала я. Мы рассмеялись и бросились друг другу на шею.

Денег должно хватить по крайней мере на две недели, хотя долг за молско нам выплатить не удалось, а о кино и речи быть не может.

— Брось курить, — говорю я. — Ведь я бросила.

— Черта с два!

«Легче сказать, чем сделать», — думаю я. Но Гуннар смеялся от всего сердца. Уже целую неделю он не покупает себе сигарет. А я-то думала, что он не курит дома, чтобы маленькой не приходилось дышать табачным дымом!

Тридцать крон, а нас теперь трое! При хорошей сдельной оплате я за неделю зарабатывала в три раза больше. Но если я и начну снова работать, мне нельзя на это рассчитывать. Времена, когда мы с Бертилем приносили домой недельный заработок, превосходивший заработка наших товарищей, больше не повторятся. Надо же наказывать людей за то, что они произвели на свет ребенка! Бертиль это знал. Ему хотелось хорошо жить. Получать хорошее жалованье, сытно есть, иногда сходить в ресторан, в кино и даже в театр. А мне хотелось покупать книги и газеты. Теперь всему этому конец.

Нам с Гуннаром незачем обсуждать этот вопрос. Мы хорошо знаем, как обстоит дело. Владельцы акций будут высасывать из нас все соки; они нас душат, а сами живут за счет нашего труда. Они и их политические единомышленники не могут допустить, чтобы мы обрели силу для изменения существующих общественных отношений и сделали бы их более приемлемыми для всех. Вот цель, ради которой мы должны жить. Наши дети не должны оставаться на вечные времена классом рабов. Во имя этой цели мы и работаем оба — Гуннар и я, — только каждый по-своему. И наша маленькая дочка сможет начать свою трудовую жизнь в лучших условиях, чем мы.

Я чувствую себя такой счастливой, зная, что у нас с Гуннаром одна цель! А с Бертилем было иначе. Как я старалась объяснить ему истинное положение, сделать его более активным, стряхнуть с него косное равнодушие, унаследованное им от отца. Каждый день мне приходилось начинать все сначала, снова говорить ему одно и то же. — Разве можно добиться чего-нибудь путного с такими социал-демократами, как ты и твой папаша? — сказала я ему однажды прямо в лицо; мне давно уже хотелось ему это сказать. Тогда он за-

протестовал: он не хотел, чтобы его ставили на одну доску с отцом. Ведь социализм отца только в том, что он состоит в партии.

— Да, он состоит в партии,— сказал Бертиль.

— Состоит. В том-то и дело, что ст о и т, но не идет! — сказала я и тут же подумала: «А ты бы шел, если бы я тебя не тянула?» — Но я промолчала. Я была рада уже и тому, что он не хочет походить на своего отца.

Но не только мужчины вроде Бертиля и его старика навросят уйти в сторонку, когда дело касается детей. Таково все общество. Как будто бы общественные отношения созданы бездетными стариками для собственного удобства. То же самое и с промышленностью. Старикам, конечно, нужно свежее пополнение, новые полчища рабов; им нужна молодежь, которая пришла бы на смену износившимся и ставшим бесполезными старым рабочим, но они не хотят ударить палец о палец, чтобы помочь нам — матерям с детьми. Они забавляются с легкомысленными женщинами и презирают и их и нас. Они снижают нам заработную плату, как только могут. Им наплевать, что мы выбиваемся из сил, чтобы прокормить своих детей. А ведь это все равно что выпустить малышей в поле и расстрелять из пулемета! Но я буду защищать свою маленькую дочку против общества стариков! Мы не сдадимся. Чего бы это нам ни стоило.

Теперь по ее виду уже не скажешь, что она появилась на свет слишком рано. Кожица у нее стала белой и нежной. Темный хохолок на головке остался. Он очень нравится Бэде. «Точно такой же был и у Бертиля», — говорит она и со всей нежностью, на какую только способна, гладит шелковистые волосики малыютки.

Но она вздыхает, узнав, что имя выбрано. Мы все решили назвать девочку Элизабетой. Так ее и запишут в книги, точно важную даму, нашу крошку.

Бэда очень возражала против Элизабеты. — Ну, пусть у нее по крайней мере будет два имени! — настаивала она.

— У нее и будет их два, — отвечала я. — Элизабета Марк.

Бэда посмотрела на меня и готова была улыбнуться, но тут же сделала гримасу и постаралась выдавить из себя вздох.

— Христианское имя, а не фамилия, — кротко возразила она.

— Зато у нее будет два уменьшительных имени,— сказала я.— Ты сможешь называть ее Беттой, а я Лизой.

— Нет, ты положительно невозможна! — воскликнула Бэда и разразилась смехом.— Бетта, Бетта. Это ты ее так называй! А мы будем звать ее Лизой.

Вчера зашел Хельге и принес мне весь свой недельный заработок.

— Ведь ты ничего не зарабатываешь,— сказал он и не стал слушать никаких возражений.

Я была потрясена, но все же пыталась уговорить его оставить себе что-нибудь, хотя бы для Янне.

Он отрицательно покачал головой.— Янне знает,— сказал он.

Мне осталось только поблагодарить. Эти деньги пришли так кстати, словно я их вымолила у бога. Теперь у нас много денег. Хельге, видимо, был смущен своим поступком и, казалось, уже готов был уйти. «Вот сейчас он убежит»,—подумала я. Но что я могла ему сказать. Я тоже была смущена.

Он первый овладел собой и удивил меня своим заявлением.

— Есть люди, которые работают только ради денег,— сказал он.— А Гуннар не таков.

Сначала я подумала, что он говорит это лишь для того, чтобы рассеять наше смущение. Но нет! Похоже, что он об этом много думал и вынашивал в себе. Я видела, как он восхищается Гуннаром.

— Ты прав,— сказала я.

— Гуннар учится,— продолжал Хельге лаконично, как всегда.

— Ты мог бы включиться в кружок по самообразованию,— предложила я.

— Я уже говорил об этом с Артуром,— сказал он.— Но Артура занимает только свое. И потом ему хочется играть в шахматы.

— Наш отец читал, как только выпадала свободная минута, он знал решительно все,— сказала я.— А уж если он мог учиться, то ты и подавно можешь. Поговори-ка с Гуннаром.— У него ты сможешь брать книги.

— Я еще не прочитал и твоих,— улыбнулся он.

— Возьми их себе! — настаивала я. Мне было так хоро-

шо, словно он дал мне нечто гораздо большее, чем деньги.— Но все же посоветуйся с Гуннаром, с каких книг тебе начать. Сразу ведь всего не постигнешь. А нам нужно многому учиться.

— Лишь бы начать — это главное,— сказал Хельге. Он стоял у книжной полки и читал названия книг на корешках.

— Начинай, не откладывая. Ты увидишь, как это приятно. Точь-в-точь как работа на заводе!

— Раз есть люди, которые могут писать книги, то должны найтись и такие, кто будет их читать,— глубокомысленно заметил он.

Мне хотелось знать, какая книга привлечет его внимание; я стала наблюдать, стоя за его спиной. Он снял с полки толстый роман. Это был «Пелле-Завоеватель» Нексе.

— Как ты находишь вот эту? — спросил он.

— Возьми ее,— посоветовала я.— Из нее ты можешь многое почерпнуть.

— Все ясно,— перебил он меня.— Я ее прочту.

— Да, прочти, Хельге! Читай, пока у нас имеется возможность читать. Никто не знает, когда они нагрянут и отнимут у нас книги.

— Как в Германии, да? — спросил он.— Ты думаешь, что немцы придут и сюда?

— Здесь уже кишмя кишит их сообщниками, жаждущими установить у нас те же порядки, что и в Германии. Туристы, коммивояжеры,— кого тут только нет! Я уверена, что все они — нацисты и шпионы. Они просачиваются всюду. Гуннар говорит, что только таким и разрешают выезжать из Германии.

— Если бы вы с Гуннаром жили в Германии, нацисты, наверное, уже расправились бы с вами.— сказал Хельге.

— Да, Гуннар уже давно бы находился в концентрационном лагере, если не хуже. И он это знает. Впрочем, и здесь на него точат зубы. Нацисты считают опасным каждого человека, не согласного с ними и имеющего мужество об этом заявить. Они трусливы и наглы.

— Если они сюда сунутся, придется с ними драться! — улыбнулся Хельге.

— Было бы кому драться... Ведь у нас многие предпочитают, чтобы мы пресмыкались перед нацистами.

— Ползали на коленях. Ну уж нет! Тогда мы первым делом расправимся с этими подпевалами.

— Но как это сделать раньше, чем Гитлер обрушит на нас свои бомбардировщики?.. Вот в чем задача!

— Может, книга меня этому научит? — спросил Хельге и провел рукою по корешку «Пелле-Завоевателя».

Когда Хельге ушел, захватив с собою книгу, я решила тоже немножко почитать. Деньги у меня есть — можно быть спокойной. Меня радовала и помощь, и сам Хельге.

И он как бы стоял между мною и книгой. Я читала строчку за строчкой, но мысленно продолжала наш с ним разговор. «Ты должен понять, что работаешь не только ради денег. Нас хотят заставить голодать, чтобы мы изменили своей цели. Нам не дают права мыслить. Мысли опасны. Наше дело не мыслить, а выпускать шарикоподшипники, набивать карман акционерам. Но у нас есть свои взгляды, и за них мы боремся. За их чистоту. Наперекор всем тем, кто стремится нас подавить. Мы обязаны помогать товарищам уяснить себе нашу цель. Мы не позволим закабалить нас силою денег. Для этого нужно все время иметь перед глазами нашу цель — свободу».

Я представила себе, как Хельге улыбается, немного иронически, и спрашивает: «Как же мне иметь перед глазами цель, когда я работаю у станка?»

Этому тоже нужно научиться. Для многих это трудно. Мы работаем, чтобы жить. Хозяева считают, что у нас не должно быть иной цели. Подшипники, изготовленные нами, принадлежат не нам; машины — собственность предпринимателей. Мы это знаем и делаем ровно столько, сколько нас заставляют. Но время от времени нам следует вспоминать о том, что всем будет гораздо лучше, когда машины и шарикоподшипники станут собственностью народа, когда мы будем иметь все права и работать во имя всеобщего блага.

Хельге мог бы меня спросить: «Но как же вспоминать о том, чего не знаешь?» — однако не спросил, а только недоверчиво улыбнулся. Про себя он не может сказать, что ничего не знает о социализме, очевидно, он думал о том, что многие из его товарищей еще с социализмом не знакомы.

Я вспомнила, что собиралась читать. Надо почитать, пока Лиза спит и я одна. Но мысли мои полны Лизой и Хельге. Что будет с Лизой, когда ей исполнится двадцать лет — столько же, сколько теперь Хельге? Трудно загадывать на двадцать лет вперед, в особенности, когда и ближайшее

будущее представляется таким неясным. Гораздо легче обращаться мыслью к прошлому: в прошлом период в двадцать лет кажется более коротким. Годы прошли быстро; совсем недавно Хельге был маленьким и лежал в старой колыбельке. Тогда нам приходилось очень трудно, труднее, чем ему теперь. Но он по крайней мере рос в мирное время. А кто поручится, что моей Лизе не грозит то, что сейчас происходит с испанскими, абиссинскими, китайскими и немецкими детьми? Разве могу я сделать больше того, что теперь делают немецкие или испанские матери в борьбе с бессовестными и кровожадными людьми, угрожающими счастью и жизни детей? У женщин нет власти. Им приходится покорно принимать все, что творят мужчины. Во имя мужского авторитета! И поэтому могущественные господа могут править обществом, как им заблагорассудится. И вот они ведут его к фашизму и войне.

Мне вспоминается книжка Эллен Кей*, которую я читала много лет тому назад. «Век детей». Если бы Эллен Кей знала что-нибудь о фашизме или хотя бы о нищете, она бы не говорила о веке детей. В нашей семье мы никогда не чувствовали себя детьми. И, может быть, Лизе тоже не придется почувствовать себя ребенком. Прежде века детей должен наступить век социализма. Еще слишком много женщин, которые над этим не задумываются, и поэтому безответственные мужчины распоряжаются и семьей и обществом. Женщины не смеют и пикнуть; они плетутся за власть имущими мужчинами, забывая о детях.

И все-таки даже в пору моего детства женщины иногда протестовали, устраивали демонстрации против нужды, против равнодушия господ. У нас есть право голоса, но мы голосуем за новых господ, а не против них. Нам дали право голоса, но отняли у нас собственное мнение. Если мы несогласны с профсоюзными бонзами, нас выгоняют из союза. Они с нами не разговаривают, не слушают нас, делают, что им заблагорассудится. Нам, женщинам, нужно многого добиться. Но как нам покончить со своим бессилием?

Кое-кто из нас голосует за мир; кое-кто произносит речи в пользу детей; кое-кто иногда попадает в избирательные списки, чтобы господа из партийного руководства могли похвастать избирателями-женщинами, «всерными» и консер-

* Эллен Кей (1849—1926) — шведская писательница, выступавшая за права детей.— *Прим. персв.*

вативными, которые скорее откажутся от права выборов, чем изберут по собственному почину. Мы боимся остаться в одиночестве. Но, может быть, как раз этого-то и не нужно бояться? Ведь когда начнется война, мы все равно останемся одни, если только ее переживем.

Мы обязаны всегда быть настороже и бороться с малейшими проявлениями бесправия. Мы можем хотя бы предостеречь против него, раз нам не под силу сразу же его преодолеть. Ложь следует называть ложью, правду — правдой. Ложь отравит нашу жизнь, если мы не будем протестовать. Мы должны помнить, что стыдно закрывать глаза на несправедливость. Ведь нам бывает стыдно, когда мы на собрании слушаем пустую болтовню какого-нибудь краснбая.

Мало сидеть дома и размышлять. О, нас так много — женщин, сидящих дома и бесплодно возмущающихся! Как нам покончить с нашим бессилием, пока еще не поздно?

Я должна об этом думать теперь, должна читать. Скоро мне придется ухаживать за Лизой и работать, и тогда мне будет некогда. А Гуннар не может думать за меня.

Мы, женщины, должны составить общественное мнение, выступающее за свободу и мир. А мы и этого не сделали.

Мы могли бы объединиться для защиты наших детей и наших собственных интересов. Но мы и этого не сделали.

Мы ведь умеем быть солидарными в малом, в повседневной жизни. Но мы должны быть солидарны и в большом. Каждая женщина должна видеть в другой товарища. В капиталистическом обществе мы плохие матери, мы только матери своих детей. Матери как бы только телом, но не душой. Но мы займем свое место в новом обществе. Мне, как и в свое время моей матери, хочется стать учительницей. Делиться знаниями с детьми, работать для детей!

Но у меня есть моя маленькая Лиза — вот кого я буду учить. Она станет новым человеком. Новой женщиной.

Если бы я и хотела стать учительницей, то все равно не смогла бы. Этот путь для меня закрыт. Будь я помоложе, я могла бы поступить в учительскую семинарию. Но там надо несколько лет учиться... А где взять деньги?

До чего же бедной и зависимой чувствует себя женщина! Удастся ей устроиться на работу, так она там и застрянет. И должна еще радоваться, что удержалась. Если это крупное промышленное предприятие, — значит, она на всю жизнь

останется в одной и той же должности. Мельничный жернов, мельничный жернов! Мужчина, если подучится, может еще выдвинуться. Ему и платят дороже за ту же самую работу, какую выполняет женщина. А женщина — всегда «баба».

Но женщина может идти вперед со своим классом. Когда все трудящиеся женщины объединятся и потребуют равенства, а не только права голоса, они снимут с себя печать неполноценности. Теперь по крайней мере я смогу говорить об этом со своими товарками. Эта цель осветит нашу каждодневную борьбу.

Мы не должны позволять эксплуатировать нас ни хозяевам, ни профсоюзным бонзам. Последние не лучше первых, как бы они ни заговаривали нам зубы. Они разглагольствуют о борьбе за хлеб насущный, на самом же деле хотят только, чтобы мы помогали им делать карьеру. А ведь именно они должны помочь рабочему классу добиваться прав и власти. Они используют наши голоса, чтобы сначала стать профсоюзными уполномоченными, секретарями партии, затем депутатами риксдага, государственными секретарями и, наконец, губернаторами и министрами. Как только они оторвутся от рабочего класса и станут почтенными гражданами, они начинают помогать капиталистам держать нас в кабале. Все об этом знают, но тому, кто заговорит, затыкают рот. Мы дьявольски терпеливы. Господа думают, мы ничего не понимаем. Они воображают, что достаточно искусно замаскировались старыми и новыми лозунгами и нам за лозунгами не разглядеть, насколько широко проникают в политику «дух предприимчивости» и «личная инициатива». А мы видим и молчим. В противном случае нас назовут коммунистами и выгонят.

Если бы мне удалось убедить моих товарищей, что мы, несмотря ни на что, не имеем права молчать, я считала бы, что уже кое-чего достигла. Главное, держаться всем вместе, не оставаться в одиночестве со своим страхом и слабостью. А большинству наших женщин страх и слабость присущи уже с пеленок. И, кроме того, они страдают мелкобуржуазной болезнью: желанием казаться более состоятельными, чем они есть на самом деле. Поэтому они чуждаются социалистов, поддерживают сильных мира сего, подражают богачам. Как быть с людьми, которые отказываются от себя и от своих интересов?

Может быть, эти мысли одолевают меня оттого, что мне страшно снова приниматься за работу? Я боюсь, что не смогу

справляться с ней, как прежде: я ослабла, словно после долгой болезни. С каждым днем моя работа представляется мне все более и более чуждой.

И тем не менее меня тянет на завод. Мне хочется к своему станку, к товарищам. Не знаю, по ком я соскучилась больше — по товарищам или по станку.

Теперь Бэда взялась за меня!

Она хочет, чтобы я ради Лизы осталась дома еще на месяц, и я позволила ей себя уговорить. Я слабо возражаю, что могу лишиться места. А что потом? Но ее это не тревожит. Она хочет, чтобы я всецело от нее зависела, тогда она сумеет так или иначе выпроводить Гуннара.

Это нужно сделать тонко: ей не хочется ссориться с Янне. Наконец-то они подружились. О, они превосходно играют свои роли дедушки и бабушки, настолько превосходно, что иногда кажется — они вот-вот затапчуют «старинный вальс своей младой поры». Когда они бывают здесь одновременно, Лиза является средоточием всех их интересов; они так радуются, глядя на нее, так много о ней друг с другом говорят, что их можно принять за родителей ребенка. Я, разумеется, очень довольна, что моей маленькой девочке удалось пленить этих стариков, и уже подумываю о том, что неплохо было бы поручить ее их попечениям, когда мне придется выйти на работу.

Бертиль не подает о себе никаких вестей. Но Бэда почему-то уверена, что к рождеству он обязательно вернется. После смерти отца он не написал ни строчки. Бэда писала ему о Лизе. Она теперь очень внимательно следит за событиями в Испании. Она поняла, ради чего ведется эта война. Заинтересовалась она и работой Гуннара, однако, когда он недавно в Редбергслиде показывал фильм об испанских событиях, мне так и не удалось уговорить ее пойти посмотреть. «Нет, это так ужасно,— сказала она,— не принуждай меня!» Но когда Гуннар будет показывать фильм в следующий раз, я скажу Янне, чтобы он обязательно ее сводил. Она уже понимает, что испанские события могут повториться завтра у нас.

Зато на фильме в Редбергслиде побывал Артур. Хельге удалось его расшевелить. Он тоже начал читать книги, которые приносит Хельге. После фильма он был молчалив, как всегда. «Известно, на какие зверства они способны»,— вот

все, что он сказал. Да, Артур... Вчера Хельге передал мне его недельный заработок.

— Он стеснялся принести сам. Боялся, что ты начнешь его благодарить,— коротко пояснил Хельге.

Вот каковы эти мальчишки! Как же не благодарить... Уж это-то непременно нужно сделать. Но не могу же я сказать им прямо в лицо: как я счастлива, что у меня такие братья!

Не одним только мальчишкам трудно выражать свои мысли и чувства. Я тоже склонна хранить в тайне свои чувства и свое радостное настроение. И другим никогда о них не догадаться. Чувствуешь себя счастливой, согретой сердечной теплотой и в то же время не умеешь передать этого другим. Словно чего-то стыдишься. Словно для этого нужно обнажиться перед другими, словно боишься, что люди сочтут это за слабость.

Но я не могу скрыть, что меня очень радует внимание ко мне и к Лизе. Правда, меня вовсе не радует, что я так в этом теперь нуждаюсь, что сама я ничего не зарабатываю. Подумать только, в какие условия ставят хитрые предприниматели матерей-работниц! Но это лишь еще один гвоздь, который будет вбит в крышку гроба капитализма. Должна же настоящая рабочая партия еще до того, как Лиза вырастет, добиться такого авторитета, чтобы положить конец наглой эксплуатации, презрению к нуждам рабочей семьи и женщины-работницы.

Я, конечно, проявляю слабохарактерность, сидя дома и наслаждаясь вниманием и помощью родных вместо того, чтобы вернуться на завод, быть рядом с товарищами и вместе с ними вести борьбу против бездетных разбогатевших профсоюзных бонз, предающих нас. Но позже я сумею сделать это лучше, говорю я самой себе. А сейчас мне так приятно находиться дома, ведь я нужна Лизе, а кроме того, мне надо окрепнуть и привести в порядок нервы. А тут еще Гуннар... И вот дни идут, а я все сижу дома, люблю мою малютку, не жалею для нее ласковых слов: она ведь понимает только ласку. Мои руки держат ее со всей нежностью, на какую они способны. Я не могу оторваться от нее, смотрю, как она спит, как шевелит ручками и ножками, как сосет мою грудь. «Скоро я не смогу заниматься тобой так много,— говорю я ей,— и не смогу подолгу на тебя любоваться, кормить тебя, когда ты голодна, моя маленькая голубка!»

Я жду ее первой улыбки. Мне кажется, что ее глазки суживаются и ротик растягивается, когда я шепчу и улы-

баюсь ей. Снова и снова пытаюсь я догадаться, видит ли она меня, слышит ли, старается ли схватить меня за пальцы. Да, да, да! В ее маленьких ручках уже есть силенка, она мигает, как птенчик, следит за мною взглядом и слушает, что я ей говорю.

Такой она и должна быть! И я так ее люблю! Я ведь ждала ее так долго, так терпеливо.

Все повторяется вновь и вновь, как в играх маленьких детей. «Ну-ка еще раз и еще... Упражняйся, малышка!» Я вспоминаю, как мы с мамой увидели первую улыбку Хельге. И теперь точно так же мы с Бэдой стоим над Лизой и переглядываемся: вот-вот еще раз улыбнется.

В то утро, когда она как будто совершенно сознательно раскрыла ротик и улыбнулась, я стояла около нес вместе с Гуннаром.

Нам показалось, что все ее маленькое личико засияло, точно солнышко.

Гуннар очень обрадовался, но сначала чрезвычайно удивился, точно не поверил своим глазам. Посмотрел на меня, словно собирался спросить, не дергаю ли я ее за какую-то ниточку.

— Тебе кажется, слишком рано? — сказала я. — Но ведь Лиза необыкновенный ребенок!

Тогда он поверил. Если даже первый смех Лизы был не чем иным, как произвольным движением мускулов рта и подражанием нашим улыбкам, все равно это прекрасно. Наш маленький комочек становится человеком, может менять выражение личика. Нет никого прекраснее нашей девочки. Это мечта, претворившаяся в действительность.

Я была рада за Гуннара. Но неужели он не понимает, какое это счастье? А может быть, не решается поверить своему счастью? Не знаю, почему у меня мелькнула такая мысль. Ведь он же счастлив с нами, несмотря на то, что Бэде хочется, чтобы все было иначе.

Вокруг царит неуверенность, страх, а Гуннару так нужна радость. Со всех сторон мы слышим о наступлении фашистов, и он воспринимает это так, словно все происходит здесь, у нас. Раскол Народного фронта, антикоминтерновский пакт, даже разбойничья политика японцев в Китае — все он принимает близко к сердцу! Он беспрестанно говорит об этом, все думает, чем это кончится. До позднего вечера

Гуннар сидит над своей работой. Его мысли постоянно заняты чем-то. Не понимаю, откуда он берет душевные силы, чтобы читать и писать. Если ему и легче от того, что он уходит из дому каждый вечер и почти каждое воскресенье, то, во всяком случае, это не отдых.

Он очень хорошо представлял, на что идет, когда перешел ко мне. Не мимолетное же это было увлечение?.. Впрочем, ведь и я не знала, что с нами будет. Теперь он член моей семьи, но далек от положения хозяина дома. Скорее зависим, чем свободен. Его товарищам по партии не нравится, что он живет у меня. Но надо же ему где-то жить. Он не может вырваться. Уверена ли я, что не хочу удержать его в своей власти? У меня есть Лиза, есть Хельге и Артур — я не осталась бы одинокой. У меня есть Янне, и Бэда, и другие. Но я его не отпущу. Лиза связала нас крепче, чем мы были связаны раньше, как например в то время, когда он собирался ехать в Сконе и не хотел взять меня с собой. Ему нелегко. Ему никогда не бывает легко, за исключением одного: он легко приобретает друзей.

Если бы он чаще встречался с Бэдой, он бы и ее очаровал. Она никогда не скажет о нем дурного слова. И она стала бы его горячей почитательницей, живи он только где-нибудь в другом месте.

— Семейный очаг — великое дело, — говорит она. — Плохо, если Бертиль задержится и не приедет и после рождения.

Она вбила себе в голову, что когда я кончу кормить Лизу грудью, Гуннар уедет из нашего дома. Поэтому-то она и вносит разные предложения по хозяйству и никак не может уговориться. Она собирается переехать к нам, как только я начну работать, а Гуннара поселить в своей квартире.

— Как же иначе тебе быть? — говорит она. — Посторонний мужчина не может кормить ребенка из бутылочки, стирать пеленки и прочее. Ему и так живется несладко: мешает детский крик, может быть не дает спать. У него еще ангельское терпение.

Я не могу удержаться от улыбки. Я знаю, что она старается закрывать глаза. Я, конечно, очень рада за Гуннара, настолько расположившего ее к себе, что она даже готова пустить его в свою прекрасную квартиру. Но как долго смогу я после этого удерживать его возле себя? Как часто будет он сюда заходить, если ему не придется больше помогать мне ухаживать за Лизой и возиться по хозяйству?..

Ему, наверное, будет очень приятно остаться наедине со своей работой — он чувствует, что мы перестали быть товарищами с тех пор, как нас стало трое. А детский крик и пеленки, — хотя Лиза на редкость тихий ребенок. Но дело не только в мелких житейских неприятностях и заботах. Хуже всего, что Гуннар чувствует материальную зависимость от меня, это мешает его планам.

Бэда думает, что может заставить меня выбирать. Но у меня нет выбора.

Я должна вернуться на свою работу. Мне нужен кто-то, кто во время моего отсутствия занимался бы Лизой. Лучше всего, если бы за это взялся Гуннар. Мы бы перебились. Во многих рабочих семьях вроде нашей так делается. Здесь в Хаге, в Горде, в Редбергслиде и Ульскрукене, в Майурне, Мастхюгге, Аннедале и Ландале, в Лундбю и всюду-всюду, где только живут бедные люди! Мы ведем жестокую борьбу за существование. Мы не можем изменить порядок вещей. Сколько же надо сил женщинам, мужчинам и детям, чтобы изо дня в день поддерживать свою жизнь! Гуннар, строя свои планы, должен принять в расчет и меня. Этим планам не помешают детский крик и повседневные заботы! Да он и не стремится к тому, чтобы ему жилось легче, чем его братьям по классу.

Самая большая трудность для него в неопределенности его положения в семье. Он ведь имеет право считаться отцом семейства — это сделала Лиза. Я вижу, что он так думает, и это правильно, конечно, но это создает напряженность в наших отношениях.

— Не стыдись, — говорю я ему. — Ведь мы не буржуазная семья, мы простые люди, объединившиеся и живущие вместе. Такая семья ничуть не хуже всякой другой. Кто нас объединил? И ты, и Лиза, и Бэда внесли свою долю. Ни от кого мы не можем отказаться... Пролетарским семьям приходится решать немало подобных проблем.

Мне нравится моя большая семья. Я чувствую себя матерью семейства. С Гуннаром мы об этом не говорим, но я знаю: если я еще не настоящая мать семейства, то должна ею стать. Как покойная мама.

Бэда ездила вместе с Янне в Крукслэтт смотреть фильм об Испании.

После просмотра они не заехали к нам вместе с Гунна-

ром. Сочли, что уже слишком поздно. Но на следующее утро Бэда явилась раньше обычного. Я сразу увидела, что ей надо со мной поделиться. Еще вчера я подумала, не слишком ли ей будет тяжело увидеть воочию все эти ужасы и думать, что Бертиль мог оказаться как раз там, где упала бомба. Но по ней не видно было, что она напугана. Может быть, Янне научил ее стойкости?

— Ну что? Очень было страшно? — спросила я.

— Конечно, страшно, что и говорить! Я никогда этого не забуду. Даже как-то не верится, что все это правда. Но боже мой, какой он... Какой он молодец!

— Кто молодец? — спросила я в изумлении.

— Гуннар, кто же еще! Сначала он говорил. Я не привыкла ходить на всякие там лекции и доклады, но поняла решительно все, что он говорил. Он был такой же, как всегда, только стоял на трибуне.

— Почему же он должен был бы измениться? — спросила я.

— Ну, как священники! Хотя им так уж положено — не походить на обыкновенных людей. А Гуннар не читал по книге, его слушали, затаив дыхание. И таких слов в книгах не найти. Они шли от сердца. Я была так потрясена, что схватила руку Янне и крепко жгала. По лицу у меня текли слезы, но я ни чуточки их не стыдилась. Я чувствовала себя так, точно мне оказана большая честь. То, что он говорил об испанских бойцах, я слышала впервые. Теперь я понимаю, почему Бертиль уехал. Я так благодарна Гуннару! И больше я не стану уговаривать Бертиля возвратиться домой, если он еще жив.

Она не могла дольше сдерживаться, опустилась на диван и заплакала. Мне подумалось, что ей лучше остаться одной, но она позвала меня.

— Пойди сюда, — сказала она. — Дай я обниму тебя, Элин. Я так счастлива, что мне даже больно.

Я не нашлась, что ей ответить, только села рядом и постаралась сохранить спокойствие.

— Ты скажи Гуннару... Я никогда не решусь сказать ему то, что мне хочется. Если мне случалось говорить тебе что-нибудь обидное, забудь и прости меня. Бертиль делает то, что нужно. Теперь я это знаю.

Мне следовало бы что-нибудь ей ответить, но я опять не нашлась. И какой толк в словах? Я тоже была счастлива. Но надо же, однако, что-то предпринять, прекратить ее излиш-

ния. Мне очень хотелось, чтобы в эту минуту проснулась Лиза: тогда Бэде пришлось бы взять ее на руки и всей душой отдаться обязанностям бабушки.

Но малютка не торопилась оказать нам такую услугу.

Тогда я спросила свою свекровь в упор:

— Бэда, у тебя есть время и силы, не заняться ли тебе сбором средств для помощи Испании?

— Но, дорогая моя! Мне никогда в жизни не приходилось заниматься такими делами.— Бэда смотрела на меня так, словно сомневалась, всерьез ли я говорю.

— Ничего трудного тут нет,— успокоила я ее.— Ведь ты так хорошо умеешь разговаривать с людьми.

— Что ты говоришь, это я-то умею? — рассмеялась она.

— Ты не можешь этого отрицать! — воскликнула я.

— Но я даже не знаю, о чем говорить, моя дорогая.— И Бэда опять рассмеялась, всплеснула руками и покачала головой. Потом она пристально посмотрела на меня.

— Люди не будут мне верить,— сказала она.— Вот в чем дело.

— Чему они не будут верить? — спросила я.

— Ах, ты невозможный человек, Элин. Люди, которых я не знаю... Как я стану ходить по домам и просить? Я, которая никогда в жизни не попросила ни одного зре ни у кого, кроме своего собственного мужа!

— У тебя на руках будет подписной лист от Комитета помощи Испании. И поверь мне, ты соберешь и деньги и одежду. Да тебе и не придется ходить одной.

— Все это очень хорошо,— сказала она, начиная сдаваться.— А что если никто не захочет ходить в компании с такой старухой, как я, ведь для этого нужна молодежь.

— А, не болтай вздор! Ты с каждым днем молодеешь. Возьми с собой Янне: увидишь как будет хорошо!

Бэда вся расцвела:

— Я уже об этом подумала... А ты считаешь, мне можно отважиться?

— Было бы желание, смелость придет сама собой.

— Янне — самый хороший человек на свете,— проговорила она вполголоса.— Я, может быть, так и сделаю, как ты советуешь. К тому же сегодня вечером он сюда зайдет. Он был такой странный, когда мы с ним смотрели фильм. Все время сжимал мне руку.

Вечером мне не пришлось ни о чем напоминать. И если у Янне в первую минуту и возникли какие-либо возражения,

то он их тут же стбросил. Им выдали подписной лист, а вещи, которые они соберут, мы решили складывать на квартире у Бэды. Там места хватит. И Бэда энергично и радостно принялась за дело.

— Вот и мы помогаем Гуннару,— сказала она.

* * *

Бертиль к рождеству не вернулся. Если Бэда и разочарована, то она этого не показывает. К тому же у нее сейчас много дела. Она добилась своего: я вместе с Лизой поселилась у нее. Мы останемся там и после рождества. Поживем у нее по крайней мере первое время, когда я снова начну работать.

Она не пытается больше сохранять «нейтралитет». И не говорит, что помощь Испании — это всего лишь помощь нищим женщинам и голодающим детям. Она была по-настоящему горда, когда республиканцы освободили Теруэль от Франко и его банды. О Бертиле она при этом не упомянула, но, наверное, подумала, что победа — дело и его рук. Вероятно, именно тогда у нее явилась мысль, чтобы мы все — Янне и мальчики — встретили рождество у нее. На скорое возвращение Бертиля она перестала надеяться.

Теперь она понимает, что это значит, если японская военщина разгоняет все рабочие организации у себя в стране. Даже в самых явных империалистических государствах рабочее движение играет определенную роль. Оно наиболее опасный противник войны. Теперь Бэде понятно, насколько ужасно то, что творится в Германии.

Впрочем, большинство людей пребывает в совершенно необъяснимой беззаботности. Ведь чувствуется, что война надвигается все ближе и ближе. Меня это тревожит с каждым днем все сильнее, и, может быть, главным образом из-за Гуннара.

Это не обычное волнение. Я волновалась за него и раньше. Когда его нет около меня, мне страшно, что может случиться какое-нибудь несчастье. Мне кажется, что в Сконе он гораздо ближе к «третьей империи». И он ответственный редактор газеты, на ней значится его имя. Все может случиться, если нацисты или иные реакционеры вздумают расправиться с опасной для них газетой. Не обязательно бросать в типографию бомбу. Достаточно и камня в окно.

Что это? Зловещие предчувствия? Я не знала, что на праздники он должен уехать. Я готовилась к рождеству и рассчитывала, что он проведет несколько дней дома. Возражать, однако, было бесполезно. «Подумаешь, рождество,— сказал он,— что тут особенного?»

Я могла бы ответить: «Да, для меня рождество кое-что значит». Вероятно, потому, что я женщина... В самый разгар радостного рождественского праздника мне покажется пусто и одиноко, если его не будет со мной. Я обсуждаю предстоящие праздники вместе со всеми, но, может быть, из-за Гуннара они мне кажутся ненастоящими. Я радуюсь со всеми вместе и помогаю, чем могу, в подготовке к рождеству. Вспоминаю, как мама и папа готовили для нас, детей, этот праздник. Теперь и Бэда так же неутомима и обо всем заботится. Мне остается только заниматься Лизой и собой. Хорошее ли выдаться у нас рождество?

Впервые я провожу такой большой праздник не у себя дома. Мне кажется, что я, как и Гуннар, нахожусь в командировке. Хотелось бы знать, вспоминает ли он там наше маленькое гнездышко, чувствует ли, как в нем сейчас пусто. Быть может, он наслаждается свободой. Ведь время от времени ему очень хочется побыть одному. Я бы такого одиночества не выдержала, для меня оно странно, а для него — вполне естественно.

Нет! Такой свободы я бы не хотела.

Гуннар говорит, что глупо отмечать праздники, в особенности такие, как рождество и Новый год, из-за которых рабочие теряют заработок. А я очень люблю праздники. Во всяком случае, они приносят с собой какую-то перемену, свободное время, к тебе приходят гости или ты сам куда-нибудь отправляешься. Тогда лучше ощущаешь свою связь с людьми, со своими родными, с друзьями, знакомишься с новыми людьми. Так приятно иметь в своем распоряжении целый свободный день. Что ж тут удивительного? Несомненно, Гуннар с годами становится все более благоразумным. А может — от чтения? Иногда мне кажется, что он уже пережил свой «романтический» период, а я еще его переживаю — если только мужчины не переживают все иначе, чем женщины. Может быть, мы, женщины, больше ценим, нежнее относимся ко всему существующему, к самой жизни. А они, мужчины, должны совершать большие дела, открывать новое. Женщина и мужчина по-разному видят то, что им дорого, чему они хотят помочь. Я все больше замечаю, что мы

с Гуннаром во многом различны. Но у меня, как и у него, есть право быть такой, какая я есть.

Различия выступают яснее, когда появляется ребенок. Если ребенок не свяжет людей, то они не смогут жить вместе. Я теперь не могу вести себя с Гуннаром, как прежде. Лиза требует слишком много внимания, Гуннар не заполняет меня теперь собою и днем и ночью. Это делает Лиза. И, наверное, ему теперь меня недостает больше, чем мне его. Если он теперь захочет уйти, то это моя вина. Но если получится так: один муж в Испании, другой в Сконе, и никого со мной,— то одной Лизы мне будет мало. Я не могу жить для мужа, но я хочу жить с мужем.

Хорошо быть самостоятельной женщиной и иметь свой заработок. Но жить без мужа, на которого можно было бы излить свою нежность и который ответил бы тебе нежностью, избави бог! И все же придется об этом подумать!

Вот и рождество. Будь Лиза годиком постарше, я спела бы ей рождественскую песенку. А если бы у Бэды хватило голоса, я уверена, она запела бы на весь дом. Впрочем, и без пения было хорошо. И я не решалась петь детские песенки — хотя бы для братьев. Они не слышали этих песен так давно, что, наверное, смутились бы. Вместо этого мы заводили граммофон Артура и ставили пластинки с испанскими мелодиями. Эти пластинки мы с ним получили в качестве рождественских подарков от Бэды и Янне.

В рождественское утро нас, женщин, разбудил Янне, подав нам кофе в постель.— Нужно поухаживать за вами ради рождества,— сказал он и присел на краешек кровати Бэды.— Очень мило с твоей стороны, что ты о нас подумал,— ответила она улыбаясь.— Это первое, о чем я подумал,— он тоже улыбнулся и подмигнул.— Может быть, ты выступишь в роли священника и заставишь меня прослушать рождественскую проповедь? — спросила я.— Столь высокую миссию я не решусь на себя взять, но могу выступить в роли доктора,— отвечал он шутливо и тут же взял Бэду за руку и начал щупать пульс. Бэда расхохоталась: — Не стащи с меня рубашку! — Гм, не поручусь,— ухмыльнулся он и ущипнул ее за руку.

Мы напились отличного кофе и вели себя, как веселые девчонки.

Сегодня утром Янне опять подал нам кофе в постель. Я только что покормила Лизу, уложила мое солнышко спать и едва успела прикрыть грудь и залезть под одеяло, как слышались его шаги. Бэда хотела притвориться спящей, но я со смехом толкнула ее в бок: — Сегодня он стащит с тебя рубашку, вот увидишь! — Ах, этот Янне, этот Янне... — мечтательно вздохнула Бэда.

— Счастливого продолжения! — приветствовал нас Янне. — Ну, что? Я не помешал? — Очень приятная помеха, — откликнулась Бэда и сразу же села в постели. — Будь теперь пасха, я бы с тобой похристосовалась. — Значит, мне есть на что надеяться, — сказал Янне.

Он опять сел на край ее кровати, подложил Бэде за спину подушки и принялся так ее поглаживать по плечам, что она покраснела. — Какие у тебя славные руки, — улыбнулась она. — Конечно, старый морской волк знает в этом толк, — сказал Янне. — Он сегодня заговорил стихами, Бэда, так он доволен! А вот вам и рождественское угощение, — засмеялся Янне и поставил перед нами благоухающий кофе. — И на небесах не будет лучше, — сказала Бэда со вздохом. — Боюсь, что я не дотерплю до пасхи...

Янне протянул нам печенье и глубокомысленно заметил: — Такие вещи надо наверняка знать. Я вот знаю, что пасха нас не ждет! — Что я слышу? — засмеялась Бэда. — Звонят к обедне, вот что ты слышишь! — Звонят к обедне, а мы тут лежим себе, хочешь ты сказать?.. — Кто спит — не грешит, — успокоил ее Янне. — А тот, кто будит спящих и приносит им кофе? — спросила я. — Тому придется расплачиваться.

Так мы шутили и смеялись в это рождество, взрослые и старые люди. Гуннар не прислал поздравления к празднику, даже не позвонил мне. Неужели он так рад, что ему удалось удрать? От такой жены, как я? Или он думает, что я теперь — только мать? Тогда он ошибается.

Я не могу отрицать, что я переменялась. Но такой человек, как Гуннар, должен был бы понять эту перемену в женщине.

Праздники кончились. Люди входят и выходят из магазинов, по улицам едут грузовые машины. Мужчины в рабочей одежде направляются на работу. Дети, вернувшись из школы, играют около дома.

Кормя Лизу, я сажусь у окна так, чтобы мне видны были две улицы. У себя в Хаге я никогда не видала такого движения на улицах, как здесь. Мне бы очень хотелось жить тут, когда Лиза начнет интересоваться окружающим миром.

А в доме все еще продолжается рождество. На елке по-прежнему горят свечи. Воспоминание о пережитых нами удовольствиях очень живо, как будто праздник еще не кончился. Граммофон Артура еще стоит здесь — братья придут сюда под Новый год. Иногда мы слушаем испанскую музыку. Она тоже напоминает о праздниках.

Бэда так же весела, как в рождественские дни. Она, наверное, с нетерпением ждет Нового года. Мне же кажется, что я не имею больше права веселиться. Я здесь ради Лизы. Мне следовало бы находиться среди моих товарищей по работе, а не сидеть здесь с Лизой на руках, окруженной вниманием и заботой, — это не для работницы с «Шарикоподшипника».

Но что же будет с моей малюткой, когда я снова начну работать и буду уходить на целый день? Мне все время будет казаться, что она лежит и плачет. А я буду стоять у станка, с набухшей грудью, и бояться, как бы не пропало молоко, раз я стану кормить мою дочку лишь утром и вечером. И очень скоро я сделаюсь такой же нервной и угрюмой, как и остальные женщины.

Наше положение, наверное, не скоро улучшится. Ведь матери с грудными детьми не могут устраивать забастовок, а наши товарищи не станут бастовать ради нас. Нет у нас того, что называется «сильной позицией». Это чувствуется даже в профсоюзах.

Должна бы существовать специальная организация, которая объединяла бы всех матерей, работающих на производстве. Вот тогда мы смогли бы начать борьбу. И господа, руководящие политикой, вынуждены были бы считаться с нашим существованием. Но что будет с Лизой? Где найти время для нее, если включиться в борьбу? Ведь нельзя же все заботы взвалить на Бэду! И смогу ли я быть хорошей матерью для Лизы, если стану редко бывать дома?

О, я знаю, что будет. Возвратившись к товарищам, я стану с радостью выполнять любое поручение во имя наших общих интересов. Я не откажусь. А если я буду думать только о себе и своем ребенке, я лишусь душевного покоя.

Меня все больше и больше тянет к товарищам, на завод.

Я так ясно представляю их в цехе у своих станков; мне кажется, что и они ждут меня.

Мне есть что им рассказать. Прежде всего о Лизе. И о том, как следовало бы устраивать наших детей на время работы. Мы не должны мириться с тем, что тунеядцы набивают брюхо за счет наших детей, и, если мы не начнем действовать теперь же, мы никогда ничего не добьемся. Конечно, мы столкнемся с трудностями и всякого рода противодействием. Но надо всегда иметь перед глазами конечную цель и не сдаваться. Гуннар сказал бы, что я раз мечталась. Нельзя все предвидеть. На заводе могут оказаться товарищи, о которых я ничего не знаю. Не знаю я и что там произошло за эти месяцы. Но надо действовать! Надо начинать! Поставить себе цель и стремиться к ней! Это вовсе не пустые мечты.

Женщины при социализме... Мы должны быть едиными, должны быть сильны. Мы должны проявить терпение, если борьба затянется. Этого ждут от нас наши дети. Если мы уступим, то все задержится, и надолго. Мы обязаны помогать тем, кто теряет терпение. Нелегко ведь бороться и добиваться свободы.

Женщина в эпоху социализма! Нет, это вовсе не мечта! Как бы далеко ни ушел социальный прогресс, женщины останутся женщинами. В будущем мы останемся такими же, как теперь. Но мы перестанем быть угнетенными. Наша работа не будет оцениваться ниже потому, что наш пол обладает иными качествами, нежели мужской. нас не будут отстранять от некоторых работ потому, что «сильный» мужчина сделал их своей монополией. У нее будут те же права, что и у мужчин, мы будем такими же людьми, как и они. Мы не будем бояться войны и насилия, потому что не будет кучки «сильных» мужчин, стремящихся завладеть богатствами мира. Мы сможем быть спокойны за своих детей. И больные и здоровые дети будут иметь все, что им нужно. И тогда уж никто не увидит, как большинство женщин тянет непосильный груз забот, в то время как меньшинство их танцует с розами в волосах и распевает любовные песни. Мы поделим и розы и тяготы. И тогда окажется много роз и мало тягот. На всей земле наступит эра свободы!

Мечта, которую можно претворить в жизнь, становится целью. Я живу с моей малюткой как бы в новой эпохе, хотя многие женщины называли бы это мечтой. Но если эта мечта воплотится в жизнь, мое счастье загорится сверкающей красной звездой.

Рождественские праздники, если их устраивает Бэда,— это целое событие. Любовь к праздникам она, наверное, унаследовала от своей бабушки, когда женщины на два или на три дня кряду освобождались от своих будничных повседневных забот, ехали в церковь, где горят свечи и поет хор, потом возвращались домой, ели и пили, играли, а иногда и находили себе жениха. Настроение у всех бывало приподнятое, чувства взвинчены...

У себя в доме Бэда всегда тщательно готовилась к празднику: мыла, скребла, пекла, жарила. Она ждала праздника и всячески старалась сделать его приятным для своего мужа, хотя сама от мужа получала мало радости. Этот сухой и черствый человек, наверное, отравлял ей праздники. Но она их любит и ждет. И теперь готовится к ним по-прежнему: моет и убирает, бегает по магазинам, варит и печет, мастерит торты, и в канун праздника у нее уже все готово. Усталая, она садится отдохнуть, вздыхает, но тут же вскакивает и оглядывается по сторонам: не забыла ли чего-нибудь. Если предложишь ей помочь, она только засмеется и откажется. По ее виду никогда не скажешь, что у нее столько сил, однако энергии у нее достаточно, точно так же как чувства юмора и сердечного тепла. В этом ее талант.

Приготовить такой новогодний обед для «всей родни», какой она вчера затеяла,— это не шутка. Она раскраснелась и разгорячилась, но никаких признаков утомления не было заметно. Подумать только! Напоить и накормить восьмерых взрослых и четверых детей.

Жена Калле, Эдит, помогала нам в кухне. Она считает, что ей еще многому надо учиться, и не упускает ни одного удобного случая. К весне она ждет своего первенца. Семья увеличивается. Мария захватила с собой и своего мужа Рудольфа и новорожденного. Новорожденного мы увидели впервые. Они приехали сюда в автомобиле, и это такое событие для малышей! Они наперебой рассказывают о том, как они ехали, как их трясло, что видели из окон машины. Но скоро эти впечатления уступили место новым, и они принялись бегать по комнате. Рудольф еще ни разу не был у Бэды. Но он не проявлял любопытства. С отцовской гордостью этот крупный серьезный мужчина любовался своим младшим сыном и время от времени поглядывал на старших: не слишком ли буйно они ведут себя в чужом доме.

— О, пусть малыши резвятся,— сказал Янне.— Все, что представляет какую-то опасность, Бэда предусмотрительно убрала.

— Им не следует забывать, что они в гостях,— отвечал Рудольф.— Нужно чувствовать ответственность.

— На сегодня об ответственности можно позабыть,— улыбнулся Янне.

Но своей неприязни ко мне и к Бэде Рудольф не позабыл. Он пришел только ради Марии,— что ж, и то хорошо. На нас он не смотрел и ни разу к нам не обратился. И вышло очень кстати, что его внимание было поглощено детьми. Во всяком случае, он не помешал общему веселью за столом.

Когда с приготовлениями было покончено, все расселись по местам, немного пожеманились, отведали кушаний, наполнили стаканы пивом — и веселье разразилось со всей силой. Я не знаю, что стало с Бэдой. Как будто все хлопоты и волнения лишь придали ей задору.

— За здоровье всех собравшихся и за счастье для всех в этом году! — воскликнула она, не спуская, однако, глаз с Янне.

Она подняла стакан с пивом и, чтобы лучше видеть Янне, наклонила голову набок. Это походило на игру в прятки. И, обращаясь к Янне, она продолжала: — Ты такой милый, такой замечательный! — Она ужасно покраснела и принялась пить, чтобы скрыть свое смущение. — Я хочу сказать,— проговорила она в стакан, но тут пиво попало ей в дыхательное горло. И мы так и не услышали, что она хочет сказать, зато услышали ее отчаянный кашель. Разумеется, это вызвало всеобщий смех. Калле хохотал больше всех, пока Бэда не оправилась и не крикнула: — Он мне помог, вот что я хотела сказать!

Скоро мы все сделались такими же говорливыми, как Бэда, и начали чокаться друг с другом через стол. Эдит первая потянулась со своим стаканом к Калле и сказала: — Ты тоже такой милый, такой замечательный!

Только Рудольф не выходил из своей роли и после каждого куска, отправляемого в рот, посматривал в сторону детей. Мария была весела, как и мы, но молчалива. Может быть, ей тоже хотелось обратиться к своему мужу с нежными словами, но она не решалась. Зато ей не нужно было следить за детьми. Муж помогал ей по-своему.

«Дедушка» Янне говорил за столом не больше Рудольфа, но они отличались друг от друга, как ночь и день. Да Янне

и незачем было много разговаривать, это делали за него мы. Зато он с живым интересом прислушивался к разговору и не изображал из себя тюремного надсмотрщика. Время от времени он поглядывал смеющимися глазами то на одного, то на другого да кивал Бэде. Он всегда сознавал свою ответственность за нас, заботился о нас, но никогда этого не подчеркивал.

«У Бэды и Янне есть что-то общее»,— подумала я. Мне почему-то кажется, что он успел сделать ей новогодний подарок, о котором она еще не рассказала. Но она, конечно, не сможет долго молчать. Она вообще не умеет скрывать того, что у нее на сердце. А Янне, наверняка, успел что-нибудь преподнести, пока братьев и меня не было в комнате,— хотя бы в знак благодарности за то, что она пригласила нас всех на рождество. Это очень на него походило бы.

Однако не Бэда, а Хельге поразил всех.

— Вы произнесли много тостов. Теперь пора произнести тост и за Артура,— заявил он.

Мы посмотрели на Артура, и за столом воцарилось молчание. Артур опустил глаза.

— Какое-нибудь изобретение? — спросил Калле.

— Вот именно,— подтвердил Хельге.— Его изобретение уже испытывали на заводе.

Бэда громко захлопала в ладоши, мы все закричали: «Ура, Артур!»— и чокнулись остатками рождественского пива. На этот раз общий восторг разделил и Рудольф.

— Да ничего особенного,— сказал Артур, когда его заставили рассказать, что он такое изобрел.

Общими усилиями мы вытянули из него, как ему посчастливилось придумать конструкцию для усовершенствования одной машины, работавшей с вечными перебоями. Артур предложил целую серию упрощений, а управляющий не хотел и слушать о введении стольких новшеств. Однако инженер, монтировавший другую машину, заявил, что Артур прав, и поддержал его. Когда провели испытание, машина выработала за час вдвое больше жестянок и дала гораздо меньший процент брака.

— И тебя назначили управляющим вместо прежнего, да? — спросил Калле.

Артур скривил губы: — Ко мне теперь еще хуже относятся, чем прежде.

— Но тебе по крайней мере преподнесли конверт с деньгами?

— Вчера он получил пятьдесят крон,— сказал Хельге.— И это за все его труды!

— Распростишься-ка ты с ними, парень, и иди на другой завод! — возмутился Калле.— Они заработают на тебе многие тысячи крон, а тебе выдали одну жалкую бумажку.

— Хозяин считает, что рабочих баловать не следует,— сказал Хельге.

— Тебе полагалось бы по меньшей мере пять сотен,— продолжал возмущаться Калле.— Тогда ты смог бы подучиться черчению и математике. А то ты слишком много сидишь дома.

— Может быть,— улыбнулся Артур.

Рудольф слушал очень внимательно и захотел вставить и свое слово. Он полагал, что профсоюзная организация должна потребовать, чтобы Артуру оплатили сверхурочную работу, выполненную им своими собственными инструментами. Это было бы вернее, чем переходить на другой завод.

— Когда-то этого дождешься,— возразила я.— А фабрика тем временем будет наживать барыши. Им главное — вести изобретение в производство.

Но Рудольф уже повернулся к своим малышам и занялся их кормлением.

— Сколько стоит курс черчения и математики? — спросила Бэда.

— Это будет стоить ему всего свободного времени,— сказал Янне и подмигнул.

— Да брось ты! — прикрикнула на него Бэда и погрозила ему кулаком, но тут же ласково улыбнулась и первая разразилась смехом. Тогда наконец-то рассмеялся и Рудольф, а Мария от восторга захлопала в ладоши. Она была счень мила в своем радостном оживлении, раскраснелась, как яблочко на елке. Но тут проснулась Лиза, и нам с Марией пришлось заняться своими младенцами.

Ох, эти праздники! Просто непонятно, как Бэда выдерживает! Но, видно, в этом ее жизнь: справлять праздники, когда только представляется случай.

«Хорошо, что сегодня воскресенье», — подумала я, проснувшись утром. Бэда крепко спала, пока я кормила Лизу, хотя девочка громко плакала, потому что время кормления давно прошло. Наше пиршество накануне затянулось до глубокой ночи. Мне казалось, что мы спали совсем мало, когда

Янне открыл к нам дверь. Он был свеж и весел.— Бэда, в церкви звонят! — крикнул он.

— Не буди ее! — зашипела я и хотела выпроводить его. Бэда не шелохнулась.

— Солнце высоко на небе, Бэда! — продолжал Янне.

— Она вчера из-за нас совершенно измучилась,— прошептала я.— Оставь ее в покое!

Но тут Бэда проснулась. Она сразу же поднялась в постели и запротестовала: — И вовсе я не измучилась. В чем дело, Янне, дружок?

— Слышишь, как звонят? — повторил он.— Кофе ждет на столе, и мальчики тоже ждут.

Действительно, были слышны колокола церкви святого Павла, расположенной неподалеку.— Сейчас мы придем, подождите немного,— крикнула я и хотела закрыть дверь, но Бэда выпрыгнула из кровати с резвостью девочки.— Никому не придется ждать! — закричала она.— Я только надену платье.

Янне так красиво накрыл в кухне стол! Словно для дня рождения. Бэда вышла в черной юбке и красной шали, я — в утреннем халате. Однако Артур и Хельге нас не дожидались. Они уже сидели за шахматами. После кофе им надо было уйти, и они ушли, так и не доиграв партии.— К обеду обязательно приходите! — крикнула Бэда им вслед.— У нас будет кое-что очень вкусное.

Я тоже вышла погулять с Лизой. В последний раз перед длинным рядом трудовых дней я могу покатать мою крошку в колясочке, побыть с ней на свежем воздухе здесь, в Редбергслиде.

Как обычно, я пошла вдоль кладбища. Хоть теперь и зима, но так приятно посмотреть на деревья, на кусты. Гуляешь, как в парке, кругом покой и тишина. Мне надо собраться с силами для завтрашнего дня, подготовить себя к жаре, грохоту, к насыщенному испарениями воздуху. Да! Надо еще набраться и мужества, раз уж на то пошло.

Я не расстаюсь с моей девочкой, не теряю ее,— ведь каждый вечер после работы я буду возвращаться домой, а с ней будет Бэда, повторяю я самой себе. Время от времени я останавливаюсь и смотрю на маленькое розовое личико, выглядывающее из одеяла. «Тебе будет хорошо и без меня,— думаю я.— Если Бэда, боясь простуды, не решится вывезить тебя гулять, то мы нагуляемся с тобой вволю в следующее воскресенье или в праздник, мое сокровище...»

Я могу позволить себе гордиться моим ребенком, быть гордой и счастливой в этот свой последний день без забот и тревог. Я прикасаюсь к ее щечкам, к маленькому носику... О, она такая теплая, словно лежит около печки. Всякий раз, как я наклоняюсь над коляской, в мыслях у меня мелькает: «Люди смотрят, как я ласкаю своего ребенка!» И если это женщины, то они понимают, как я счастлива!

Ведь я так тосковала по ней! Даже еще до брака. Я ощущала какую-то мучительную пустоту в руках, когда они не были заняты машиной или хозяйством. Время проходило, и я, сидя в нашем доме, не озаренном присутствием ребенка, горько думала: «Чего нам еще купить, чтобы заполнить эту пустоту? Ковры, картины, граммофон, кресла...»

Теперь, переселясь к Бэде, я взяла с собой только детскую коляску, но мне кажется, что и этого много.

С завтрашнего утра мои руки больше не будут принадлежать ей безраздельно. С завтрашнего утра я уже не смогу каждую минуту ощущать в своих руках ее нежное тельце. И мне начинает казаться, что в течение целого дня мои руки будут работать вхолостую.

Она будет расти, мужать и без моей помощи. Я стану ей не нужна. Ухаживать за ней смогут и другие. Однако никто, кроме меня, не может быть мамой моей Лизы. Я буду видеть ее только утром и вечером. Но я буду думать о ней каждую минуту. Мои груди будут тосковать по ее ротике. И, как знать, суждено ли мне сопровождать ее постоянно на ее жизненном пути, помогать ей, учить ее, следить, как она вырастет, станет женщиной.

Катая колясочку, я вспоминаю те дни у нас в Майурне, когда я катала маленького Хельге. И мне даже страшно подумать, как должна была страдать мама, покидая его навсегда.

Я наклонилась над Лизой и пообещала ей и за себя и за нее: «Мы с тобой поможем улучшить положение матерей-работниц. Мы отдадим этому делу все наши силы. А когда ты вырастешь, я расскажу тебе про твою бабушку».

Вокруг было тихо и пусто, как бывает только по воскресеньям. Никто нас не видел. И поблизости — ничего, кроме деревьев кладбища.

Но мы зашли слишком далеко. Пора поворачивать назад, не то Бэда встревожится, что я так долго нахожусь на холоде с нашей маленькой девочкой.

Однако, когда мы вернулись домой, Бэда не проявила ни-

каких признаков волнения. Ни словом не упрекнула меня за слишком продолжительную прогулку. Она была весела, как жаворонок весной. Сейчас же схватила Лизу на руки и начала над ней приговаривать:

— Ты не плакала, моя умница! И носик не посинел от холода! И маленькие ручонки не заоченели! Можешь похлопать ими свою бабушку, вцепиться ей в волосы! О, ты так прекрасна, ты лучше всех на свете, золотое мое сердечко! Ну, взгляни только на нее, Янне!

Лиза раскрыла свой круглый ротик и засмеялась. Она, слава богу, уже привыкла к излияниям Бэды.

Но дел своих Бэда не забывала. Она взглянула на часы.

— Чтонибудь стоит в печке? — спросила я.

— Да, будь так добра, вынь из духовки маленький пирог, — сказала она. — Он уже готов.

Развернув Лизу и перепеленав ее, она положила девочку Янне на руки.

— Попробуй, какая она тяжелая! — сказала Бэда и слегка потрепала его по щеке. — Теперь мы поставим в печку пудинг, — он как раз будет готов к обеду, — обратилась она ко мне.

— Но что мне делать с этой клецкой? — недоумевал Янне.

— С клецкой? Ну и скажешь же ты! — громко рассмеялась Бэда. — Элин сейчас ее возьмет. Пора кормить ребенка.

И она с необыкновенным рвением занялась подготовкой последнего акта новогоднего праздника.

IV

— Что же тут можно сделать? — спрашивают девушки и улыбаются. Они задают этот вопрос не потому, что действительно хотят знать, что они могут сделать.

— Разве вы не читаете газет? — спрашиваю я их.

Они, конечно, читают газеты. Но не о нацистах и Гитлере. Такого никто не может вынести. Чехи? Какое они имеют к нам отношение, в конце концов? Есть люди, которые прямо говорят: «Судетским немцам — или как они там называются — следует предоставить все права...» А некоторые даже считают, что немцы нам ближе, чем чехи. Они вычитали это в газетах. Чехи — «радикалы», и, кроме того, они славяне, а не германцы, как мы.

Политика — «искусство возможного», любят говорить некоторые политические деятели. Это их манера спрашивать: «Что тут можно сделать?» «Возможное», конечно, не во всех случаях одинаково. Английские политики дали возможность Гитлеру захватить кусок за куском часть чехословацкой земли, превратив остальное в немецкую колонию. Но никто из политиков не помог чехам, когда Гитлер совершал крестовый поход против мира и свободы. Как странно, что ни мир, ни свобода не относятся к разряду «возможного».

В настоящее время не много найдется таких, кто осмелится помочь беззащитным. Иногда не опасно и, следовательно, «возможно» выразить сочувствие евреям-беженцам или уделить крохи от своих богатств на подарки испанским детям. В этих случаях политики разрешают проявить грандиозную самоотверженность. Люди становятся трогательно демократичными, и многие самодовольные «демократы» бесконечно этим гордятся. Тогда легче забыть о миллионах беззащитных «цветных» и нищих людей, страдающих от голода и болезней, от угнетения и дискриминации в условиях «демократии».

Ну, а я-то сама? Неужели я об этом думаю только потому, что я расстроена собственными неудачами, или потому, что я читалась газет?

Когда Лиза спит и я одна, мне приходится защищаться от того, что зарождается во мне. Я даже не знаю, что это такое. «Сомнения? Усталость? — думаю я. — А может быть, возраст?» Ощущение пустоты, тоска, малодушие — вот то, с чем я должна бороться.

Теперь, когда у меня есть Лиза, мне уже не так одиноко. И я ни о ком не тоскую.

Я могла бы читать, могла бы шить. Но я просто не в состоянии, после того, как восемь часов подряд у меня перед глазами вертятся блестящие шарики. Я уже не работаю на шлифовальном станке. Когда я вернулась на работу, меня поставили на контроль. Страшно устают глаза, когда сидишь и без конца проверяешь бегущие шарики. Я соскучилась по своему станку. У станка я могла отдохнуть и отвлечься от дум.

Не решаюсь я и заснуть. Я просто даю возможность немного отдохнуть глазам, когда в полудремоте гляжу на дым сигареты. Но мне и мечтать не к чему. Когда меня одолевает сон, я спускаюсь вниз и заглядываю к другим детям. Если оказывается, что кто-нибудь из них не спит, я вожусь с ним.

Нас сейчас четыре женщины в доме, у которых маленькие дети, и мы помогаем друг другу управляться с малышами. Поэтому мы можем спокойно уходить на работу — те, у кого есть работа, — а другие имеют зато свободный вечер и могут пойти погулять.

Когда мы с Лизой вернулись в Хагу, мне казалось, что все началось сначала. И не так ведь это было долго — шесть недель, — и нельзя же всегда жить хорошо, но все, что было прежде, словно ушло далеко в прошлое. Мы должны начать новую жизнь. Только как, я еще не знаю.

Одиночество! Две одинокие женщины в Хаге долгие, долгие годы. А может быть, это не так? Теперь, когда Лиза подросла, я смогу заняться партийной работой. В большой комнате я смогу принимать людей, здесь будет нечто вроде клуба. И я уверена: если Гитлер придет в Швецию, он встретит здесь достойный отпор.

Может быть, нам взять несколько испанских детей лизинового возраста? Многие хотели бы приютить испанских детей. Но лучше сделать это коллективно, чтобы Испания получила своих детей обратно, когда она снова будет свободной. А может быть, нам спрятать еврейского ребенка? Мы с Лизой так и сделаем, если сюда привезут какого-нибудь, спасенного из нацистской Германии.

Неужели только я одна чувствую, как все вокруг трещит и шатается? Других как будто это совершенно не волнует. Читают же они в газетах, как людей преследуют только за то, что они принадлежат к другой расе или нации. Разве не чувствуют люди, какой это позор для всего человечества, что гитлеровцы издеваются над честными мужчинами и женщинами и что громко говорят только лжецы и лицемеры? И это называют «новым порядком» и «восстановлением порядка», в то время как всем правит насилие.

Люди должны были бы хоть встревожиться, когда режим лжи и насилия стал просачиваться из Италии, Германии, Португалии и фашистской части Испании в Венгрию, Австрию, Румынию, Польшу и другие страны. Зараза распространяется здесь все больше и больше, стремясь подавить все свободное и честное. В одном месте преследуют человека за то, что в его жилах течет недозволенная кровь, или за то, что он мыслит не так, как предписывают лжецы. В другом месте преследуют тех, кто говорит на своем род-

ном языке, тех, у кого цвет лица темнее, чем у власть имущих. Разве это не позор для всего рода человеческого?

Находятся и такие, которые говорят, что они лично не одобряют подобных гонений; однако сами они готовы сделать то же самое — единственно из трусости. И они преследуют неугодные газеты, книги и мнения, запрещают сотрудничество с людьми иной партийной принадлежности, чем власть имущие, или обсуждение политических теорий, которые не совпадают с официальными доктринами. Вероятно, скоро будет все опять так, как в те времена, когда священники и монахи грозили людям адскими муками и продавали бумажки с отпущением грехов. Обманутые люди покупали себе и место в раю, а на эти деньги мошенники-папы воздвигли собор святого Петра в Риме. Я помню, как смеялся отец, когда я рассказала ему, что нам читали об этом в школе.

Пусто стало с тех пор, как ушли Артур и Хельге. Но ведь они должны были вылететь из родного гнезда. Нет больше нашего старого домашнего очага.

Хельге поселится у Янне и Бэды, когда вернется с военной службы. Места у них хватит, и ему будет там хорошо. Бэда рада заменить ему мать. Но когда вернется Артур? Он так хорошо устроился в Норвегии. Там у него такая работа, какой ему здесь, вероятно, никогда не получить. Он работает с машинами, как мечтал, сам ремонтирует, устанавливает их. Он повидал разные города, порты, фьорды... Парень идет в гору, время от времени он пишет нам длинные письма.

Может быть, и Хельге не вернется так скоро. Ему пора бы уже быть дома. Но генералы и правительство предпочитают не отпускать военнообязанных. Не ждут ли они, что немцы придут и сюда, видя политику англичан и поляков в отношении Чехословакии и прочие их уступки фашизму? Или они действительно думают, что фашистская зараза просачивается и сюда, к нам, а не только притаилась в засаде в Германии, Польше, прибалтийских странах и Финляндии? Этому едва ли можно поверить. Немцы фотографируют, шпионят, устанавливают «связи». Немало высокопоставленных лиц изменят своему народу, если Гитлер захочет силой захватить власть в нашей стране. Однако на выборах в сентябре консерваторы потеряли голоса, рабочие же партии выиграли, в особенности коммунисты. Но не прошло и недели после выборов, как генералы отменили отпуска «защитникам отечества». Они так же боятся демократии, как и Чем-

берлен. Неужели парней из армии так легко заставить пойти против народа?

* * *

Тихие вечера. Вечера одинокой, усталой женщины. Незвестность. Приношу ли я какую-нибудь пользу? Я присматриваю за Лизой и другими малышами. В течение долгого дня я зарабатываю средства на жизнь — кто-то ведь должен это делать.

Теперь, когда нам нужно больше денег, я зарабатываю гораздо меньше, чем прежде. Владельцам завода выгодно нанимать женщин-работниц. Нет, я не имею права унывать. Тогда вообще ничего не сумеешь сделать. Мы ведь читаем в газетах, каково приходится женщинам и детям в Испании, как они страдают от всевозможных лишений, как борются и сохраняют мужество, несмотря ни на что. Еще хуже тем, кто находится под властью Франко. А женщины в Германии, в Чехословакии? То, что я могу сделать для Испании, это капля в море или даже еще меньше.

Не надо унывать, но и мириться не надо. Это так же глупо и нелепо. Надо жить и бороться, Лиза! Наше время придет.

Но как пережить то, что произошло у меня с Гуннармом? Может быть, он и правильно поступил, женившись на этой беженке из Чехословакии. Я могу это допустить: ей ведь надо было остаться в Швеции. Бертиль тоже правильно поступил. Он больше, чем я, помог испанским женщинам. Я осталась одна, а сколько женщин лишились всего? Их не сосчитать, они могли бы быть моими товарищами.

Это даже не жертва с моей стороны. Я была счастлива с Гуннармом. Теперь этому конец.

Пока можем, мы должны жить для мира и свободы. Все, у кого есть сила в руках, обязаны помогать, как умеют. Всегда найдутся люди, которые нуждаются в нашей помощи. Так легко сделать доброе дело: улыбнуться в нужный момент, посмотреть глазами друга. Близость людей дает нам радость, которую мы храним в сердце.

А кроме того, существуют воскресенья. Пусть называют богом того, кто придумал воскресенья, но я думаю, что это был человек. Позже многие боролись за эти воскресенья с рабовладельцами, со сторонниками старых порядков. Возможно, что первые, боровшиеся за наш досуг, погибли, замученные пытками. Но сколько счастья они дали миру!

Воскресенья! Можно свободно вздохнуть. Они редко бывают для нас днями отдыха. Но в этот день работаешь на себя. По-моему, мы, женщины, больше всего радуемся воскресенью. Воскресенье — это день, посвященный дому.

«Это произошло в то воскресенье, а это — в другое воскресенье», — думаю я, припоминая, что делали мы с Лизой. Первый год ее жизни — это хроника воскресений. Месяц назад ей пошел второй год, и она уже начала ходить. Сегодня она сделала свои первые самостоятельные шаги.

Как я рада, что была дома, когда это произошло. Прежде она храбро поднималась и делала маленькие шажки, если я ее держала. Ей страшно хотелось ходить, но она не осмеливалась оторваться от моей руки или от стула. Пыталась она ковельять и вдоль дивана. Но сегодня она отвернулась от стула и пошла прямо ко мне. И до чего же у нее был счастливый вид!

Она шла, широко расставляя ножки и напрягшись всем телом, ручки она подняла вверх, сжав кулачки. Какое это было прекрасное зрелище! Она просто вся сияла. Так она добралась до меня и упала мне в объятия. Вне себя от радости и изумления, она таращила на меня глаза, потом принялась беззвучно смеяться. Когда она достаточно повисела у меня на шее, ей захотелось повторить свой опыт. Но на этот раз она предпочла, чтобы я держала ее за ручку.

Теперь у нас появилась новая игра: Лиза становилась возле стула, а я садилась на корточки против нее и командовала: «Иди к маме!»

Вот что может произойти на заводе, где «рабочим хорошо», как принято считать. Крупная промышленность, акционерное общество получают гигантские прибыли и все увеличивают и увеличивают выпуск готовой продукции. Работа там легкая, там проявляют заботу о рабочих, для них существуют врачи и амбулатория, и руководство предприятия сотрудничает с могущественным профсоюзом металлургов, чтобы все шло «как можно лучше».

Сегодня очередь Цецилии.

Она старше меня и давно работает на контроле. Но я легче приспосабливаюсь. Работа у меня спорится, я не устаю так, как она. И зарабатываю я лучше. Она берет очень быстрый темп, а потом не может его выдержать. Перед обедом к ней подошел нормировщик, чтобы провести хронометраж.

Он был не хуже других, но я видела, что Цецилия испугалась.

— У нее сегодня не ладится,— сказала я нормировщику.— Вы лучше у меня проверьте.

Нормировщик только фыркнул. «Суется не в свое дело»,— наверное, подумал он. А может быть, он слышал от инженеров, что со мной лучше не связываться. Цецилия теперь уже знала: покажешь большую скорость — он снизит расценки. Я ей говорила это, и многие говорили. Но она знала и другое: если снизить скорость, он запишет, что она работает плохо, и ее персведут куда-нибудь, где она будет меньше зарабатывать.

Итак, она гнала вовсю. А он наблюдал и отсчитывал. У Цецилии есть муж, он ждет, что она принесет домой шестьдесят крон, которые она зарабатывает за неделю. На меньшее им не свести концы с концами. Дома у нее лежит больной сын, а дочь учится в дорогой школе. Цецилия нервничает решительно из-за всего, ей надо бы поехать куда-нибудь отдохнуть. Но она вынуждена все свободное время проводить около сына.

И Цецилия гнала вовсю, пока у нее голова не пошла кругом.

Цецилия не глупа. Но она считает, что может избежать последствий отупляющей работы. Не замечает, что дело у нее идет все хуже и хуже. «Что если я потеряю сына, если надо мужу?» Она сама из себя сделала выючную лошадь. Она будет работать, пока не свалится с ног. Тоже своего рода честолюбие! Тщеславие заставляет ее, как и многих других женщин, предъявлять к себе непомерные требования. Муж у нее не такой уж плохой, помогает ей по дому; что бы она стала делать без него? Он не из тех, кто способен расстраиваться по поводу того, что жена зарабатывает больше, чем он.

Цецилия не так боялась нормировщика, как себя самое. Она старалась не волноваться и не ускорять темпа. Так продолжалось некоторое время. Потом она, видимо, решила, что работает слишком медленно, и погнала из последних сил. Руки ее лихорадочно метались, она то краснела, то бледнела. «Ну, теперь остановись, девушка, оглянись вокруг, выругайся хотя бы! Только так ты можешь спасти себя»,— думала я. Как бы мне хотелось сейчас схватить шарикоподшипник и бросить в нормировщика, прямо в его таблицу.

И тут вдруг я увидела, как у нее выпрямились руки и ноги. Судороги! Все остальное произошло в одно мгновение: руки свело, пальцы скрючились. Она хотела было подняться и упала на подшивники. Если бы это была машина, которая могла ранить ее, произошло бы несчастье.

Однако это тоже был несчастный случай во время работы, и ее следовало бы отправить к врачу. Возможно, врач констатировал бы переутомление. Но она молча соскользнула на пол и лежала там. Никто не пришел из амбулатории, чтобы забрать ее. Просто нервы! Это не болезнь. Нужно передохнуть немножко, пойти домой, раз нездоровится. Легко сказать! Потерять полдня! Надсмотрщик-то с хронометром и таблицей ничего не теряет. Но пока что он ушел, это уже хорошо — и мы посоветовали ей полежать до перерыва. Иначе скажут, что она симулирует.

Подумать только! Цецилия разыгрывает комедию.

Нас — тысяча женщин на «Шарикоподшивнике». Четвертая часть всех рабочих. У большинства работа очень однообразная, поэтому специально для нас организована гимнастика. Но мы не смогли добиться, чтобы хозяева считались с нашими нуждами, тем более, чтобы они их уважали. Мы недостаточно скандалим.

Тысяча женщин могли бы исправить множество глупостей, если бы мы держались единомышленно. Если бы мы были активны, каждая за себя и все вместе, а не только в работе на заводе, каждая в своем углу. Но как это сделать?

Я спросила Хильму. Она социал-демократка, член партии и ярая поборница Союза женщин. Профсоюзные дела ее меньше интересуют, но она бывает на собраниях.

— Как нам сплотить наших женщин, чтобы мы могли выдвинуть свои требования?

— Какие требования? — резко спрашивает Хильма. Если бы я не знала ее много лет, я бы подумала, что ослышалась. И все же на мгновение я растерялась. Тогда она решила, что все козыри у нее в руках, и нанесла последний, решительный удар. — Мы не будем сотрудничать с коммунистами. Запомни это!

— Спасибо тебе, это я знаю. Но раз мне нельзя быть вместе с сознательными женщинами, которые борются за свои законные требования, значит, мне придется стать коммунисткой, — отвечаю я.

Это подействовало, Хильма вытаращила на меня глаза и попыталась засмеяться. Но это была лишь жалкая, кривая усмешка, обнажившая два ряда фальшивых зубов. Она еще не знает, что скажет правление союза. Она не может, как бы ей этого ни хотелось, исключить меня. Она может лишь доложить начальству.

— Это не умно,— сказала она наконец.

Хильма работает здесь около двадцати лет, она поседела среди шарикоподшипников. Ее сын служит в почтовом отделении. Из ее рассказов я поняла, что он достойный сынок своей матери, с той разницей, что не читает рабочих газет. Но Хильму это нисколько не беспокоит. Она уверена, что он такой же умница, как она сама.

— Что значит — не умно? — спросила я. — Не умно требовать равной заработной платы? Не умно активно бороться за социализм?

— Ты очень печешься о своем социализме. Это всем известно. Но если ты собираешься агитировать за сотрудничество с коммунистами, тебе придется пожалеть об этом.

Хильма не удостаивает меня больше ни словом. «С ней разговаривать — воду в ступе толочь», — по-видимому, думает она. Она даже не простилась.

— Передай привет своим бонзам, скажи, что я собираюсь продолжать агитировать за социализм, — крикнула я ей вдогонку.

Раз не удалось здесь, пойду к Гертруде и буду утешать себя тем, что неудачи тоже приносят пользу. Гертруда не была ни на одном профсоюзном собрании, наверное, уже лет пятнадцать. Ее считают образованной девушкой, она дочь коммивояжера, который сбился с пути истинного и умер от пьянства. У нее на руках мать; на «Шарикоподшипнике» она работает «временно», пока не подыщет себе лучшего места. Ее уволили из магазина дамского платья, но она говорит, что не могла прожить на жалованье, которое ей там платили. Мы, товарищи, не очень-то ей доверяли, — не больше, чем в магазине. Однако большинство питало к ней уважение. Гертруда работала добросовестно, держалась замкнуто, но не высокомерно. Она всегда была оригинально одета и причесана по последней моде. Наверное, это ей давалось нелегко.

Мы часто ездили вместе в трамвае. Она живет недалеко от нас. Я уверена, что она считает меня вульгарной. Я и не собираюсь поднимать себя в ее глазах. Я просто хотела узнать, что она думает о социализме. «Ты так по-своему

вульгарна, дорогая моя девочка, как я никогда не была», — говорю я себе. Но я пригласила ее к себе домой, и она не отказалась.

Не знаю, что она подумала. Что у меня званый обед или вечеринка? Во всяком случае, она явилась шикарно одетая, накрашенная и напудренная, где только можно, и так держалась, как будто приготовилась быть звездой вечера. Выглядела она лучше, чем на работе. Ее треугольное и довольно плоское лицо с острым подбородком казалось моложе (ей, по-видимому, лет тридцать), а в живых глазах не было видно утомления от шарикоподшипников и бессонных ночей.

Но ее глаза сразу сузились, когда она увидела Лизу. Я совсем не собиралась хвастаться. Девочка сама напомнила о себе. Она услышала наши голоса, и ей захотелось присоединиться к нам. Она поняла, что тут что-то не так, раз я спряталась от нее. Я должна была проявить больше внимания к ней. В комнате вдруг раздался визг и ее обычное «а-а-а», означавшее, что ее нужно посадить на горшок. Я не могла удержаться от смеха, когда Гертруда с удивлением уставилась на меня.

— Это моя маленькая дочка. Иди взгляни на нее!

Как только Лиза очутилась на руках и ухватилась за мою шею, сразу же кончились вопли и крики. Она долго смотрела на чужую тетю, потерлась подбородком о мою щеку, зажмурила глаза, но сейчас же опять раскрыла их.

— Ну, что же ты не поздороваешься, — сказала я. Она было протянула ручонку, но сейчас же отдернула ее.

— Она видит, что я непохожа на других, — сказала Гертруда и неуверенно улыбнулась.

— Так как же, ты скажешь тете «добрый вечер»? — повторила я. Лиза кивнула Гертруде. И все время она серьезно смотрела на новую тетю. Когда мы вышли, девочка тихо лежала в своей постельке.

— Ребенок — это, вероятно, большая обуза? — спросила Гертруда, когда мы сели пить кофе.

— Ребенок — это большое счастье, — засмеялась я. — Но будь я на десять лет моложе, может быть, мне это и мешало бы.

— Мне жаль тех, кто рано выходит замуж, — сказала Гертруда. Мне хотелось поговорить с ней о другом, поэтому я удержалась от колкости, которая вертелась у меня на языке. Но Гертруда избегала всего, что имело отношение к работе или профсоюзной организации. Как только речь за-

ходила об общественных вопросах, она сразу замыкалась в себе. Я знала, что она не религиозна. Возможно, ей хотелось поболтать о театре, что она и делала обычно в трамвае, когда видела афиши. Но я не собиралась спорить с ней об игре артистов. Наконец она прямо сказала:

— По-моему, заниматься политикой смешно.

— Существует и не смешная политика. И тебе следовало бы это знать,— возразила я.— Без этой политики ты бы не имела работы, которая дает тебе возможность существовать.

— Как так?—она улыбнулась с чувством превосходства.

— Ты говорила, что твоя мама вышивает для одной фирмы. Эта фирма платит ей несколько крон за скатерть, над которой она просиживает целую неделю.

— Она всю жизнь так работала,— прервала меня Гертруда.— Но это не имеет никакого отношения к политике.

— Почему же ты не вышиваешь вместе с ней? Очень просто: потому что теперь для женщин находится лучше оплачиваемая работа. И за это ты должна сказать спасибо политике, которая постепенно, шаг за шагом, заставляла хозяев повышать нищенскую заработную плату. Это стоило такой борьбы, какую тебе и представить трудно.

— Ты так стараешься, как будто тебе за это платят,— насмешливо сказала Гертруда.

Но я продолжала, невзирая на ее надутые губы. Чем более равнодушной она выглядела, тем больше я старалась. Надо ей все разъяснить, чтобы у нее сложилось собственное мнение. Я была так зла на нее, что заговорила патетическим тоном. Пусть. После я смогу хохотать, сколько мне захочется.

— У себя дома ведь ты за все платишь, а не мамыны хозяева,— сказала я.

Гертруда стала слушать внимательнее, но до нее явно не доходило то, что я говорила о женском труде.

— Если ты думаешь, что я считаю себя работницей, то ошибаешься,— заявила она.

— Нисколько! Ты можешь, конечно, считать себя выше других. Но сравни себя с женами акционеров и попробуй представить, что они думают о тебе.

Она так покраснела, что даже пудра не могла этого скрыть.

— Они считают, что ты годишься на то, чтобы сделать свой взнос на драгоценности и шикарные лимузины для них, не больше,— продолжала я, и если ей было скучно, неприятно

слушать, не моя в том вина.— Тебе — смазочное масло, им — духи.

— Замолчи,— прошипела она.

— Но если я замолчу, ни тебе, ни мне не будет от этого легче.

Тогда Гертруда встала. Но не ушла. Прошлась по комнате, привычным изящным движением провела пуховкой по лицу. Оказывается, в дверь позвонили, а я и не слышала. Позвонили еще раз.

Пришел Калле. Сначала он удивленно вытаращил глаза, как будто хотел спросить, что это за светская дама, которая разделяет со мной одиночество. «Фрёкен Стернборг»,— сказала я, представляя Гертруду. Для него тоже нашелся кофе, и он опустился на стул около нас.

Гертруду сразу как будто подменили. Снова большие глаза, губы сложены сердечком, нервные движения, и вся словно наэлектризованная. Калле она показалась довольно комичной. Я заметила, что он с удовольствием ее поддразнивает. Правда, он уже не прежний озорной мальчишка, но все же не мог удержаться: нет-нет, да и отпустит какую-нибудь колкость на ее счет. Она краснела, точно семнадцатилетняя девочка, мне даже было немного жаль ее. Но ей совсем не было жаль себя. Вертелась она перед ним изо всех сил. То и дело одергивала свою короткую юбочку и закладывала ногу на ногу — то правую, то левую, стараясь показать узкую щиколотку в шелковом чулке, покачивала ножкой и хихикала. И от всего этого она казалась еще смешнее.

Отвечала Гертруда невпопад, хохотала, как дурочка. Но она наслаждалась от души этой игрой слов и ножек. Калле, впрочем, тоже оживился. Во всяком случае, им было весело. А за это сердиться на своих ближних нельзя. Но скоро Калле решил, что с него довольно шуток.

— Мне завтра рано вставать на работу,— сказал он и поднялся.

Гертруда моментально вскочила.— Да, да, и мне тоже! — воскликнула она.

— Вот как? Так вы товарищи по работе? Ты тоже работаешь на «Шарикоподшипнике»? — спросил он.

— Конечно.— Она залилась краской оттого, что Калле так непринужденно сказал ей «ты».

— Прекрасно. Вероятно, ты хочешь помочь Элин расшевелить заводских девушек?

Она слегка смутилась, но от своего намерения уйти вместе с ним не отказалась.

— Спасибо за приятный вечер,— сказала она мне.

— Это необходимо,— продолжал Калле.— Они не понимают, как нужно вести себя на заводе, так пусть больше говорят хотя бы в профсоюзе.

Она кивнула в знак согласия.

— Подожди минутку, Калле должен захватить пакет для своего маленького сына,— сказала я и вышла, оставив их вдвоем.

Когда я вернулась, она все еще стояла и кивала головой. Калле понял, как она относится к профсоюзу, и прочел ей хорошую лекцию. Гертруда слушала серьезно, видно было, что ей хочется понять его.

Теперь я обзавелась новой компаньонкой на вечернее дежурство. Майя-Стина обычно разделяет со мной заботу о детях, когда остальные женщины хотят отдохнуть. Такой порядок мы завели с первого октября, после того как она переехала сюда вместе с Турстеном и близнецами. В будни по вечерам ее мужа почти никогда не бывает дома, кроме субботы,— он или на собрании или уходит куда-нибудь по делам. Это он предложил, чтобы мы составили друг другу компанию, и теперь все идет как нельзя лучше.

Она работает в большой мебельной фирме, а он — на электростанции. Оба живут близко от работы. Через день он приходит с работы первый и сам готовит ужин, чтобы она могла сесть за накрытый стол. Они женаты десять лет, но этого никак не скажешь, глядя на них. Вечером, примерно за полчаса до его прихода, Майя-Стина начинает смотреть на часы. «Сейчас он придет, сейчас придет»,— говорит она наконец, и он является точно в обещанный срок. Майя-Стина выходит в коридор встречать его.

Однако она не из тех женщин, которые на все смотрят глазами мужа. Она более рассудительна, чем он. Когда Турстен хохочет во все горло, Майя-Стина лишь слегка улыбнется. Оба они долгое время состояли в Союзе молодежи. Познакомились они на праздновании Первого мая: оба продавали «Фрихетен» в Хедене, каждый от своей организации. В прошлом году Турстен вступил в коммунистическую партию. Он считает, что это естественный шаг при его убеждениях.

Майя-Стина не решилась последовать его примеру. Они долго обсуждали этот вопрос. Ей было очень трудно оставить старых товарищей и сблизиться с новыми. К тому же она не была уверена, который путь правильный. В сентябре она голосовала за коммунистов.

Давно уже не испытывала я такой бодрости, какая появляется у меня во время разговоров с Майей-Стиной. Но иногда и она впадает в уныние. Она потеряла своего первого ребенка и долгое время после этого не могла оправиться. Она даже стала набожной, как и ее мать. Несколько лет Майя-Стина не решалась снова иметь детей. Близнецы явились результатом счастливой случайности, хотя перед их появлением у нее опять начались какие-то причуды. Но в общем Майя-Стина сильная женщина. Она растит своих мальчишек, ухаживает за ними (им по два года), вяжет и шьет и работает так, что в мебельной фирме без нее не могут обойтись. При этом Майя-Стина успевает читать, следить за политикой и содержать дом в таком порядке, что кажется, это ей ничего не стоит; она никогда не торопится, всегда спокойная и довольная. Турстен ей во всем помогает; она всегда чувствует его восхищение, его нежность. А это хорошая поддержка и на работе и дома.

Я с трудом могу представить себе Майю-Стину без Турстена. Неужели она социалистка? Правда, она получила хорошую закваску еще дома от отца; кое-чему ее научили и в Союзе молодежи. Но к чему все это потом, когда человек идет на работу туда, где все должно быть «аполитично» и, следовательно, так буржуазно, чтобы хозяева могли получить как можно больше прибылей. Это называется «деловым» подходом, так как в капиталистическом обществе «дело» — это интересы правящих классов, и в деловой жизни человек тоже должен быть деловым и думать о прибылях деловых людей. Тут не приходится много говорить: все товарищи, работающие в подобных местах, знают это. И если социалист не гнет шею, он встречает удивленные взгляды окружающих, предостерегающие или уклончивые, молчание или отпор, пафосы или подозрительность. И все это Майя-Стина видит шесть дней в неделю по восемь часов в день. Нет, мне гораздо легче быть социалисткой.

Майя-Стина разрывается между двумя окружениями.

— Ты бы посмотрела на людей, которые покупают мебель, — сказала она мне. — Одним удалось сколотить немного деньжонок и они хотят приобрести что-нибудь новое, совре-

менное. Как они изображают из себя знатоков, ценителей! Они болтают о стилях, они пыжятся и вертятся перед зеркалами. Они ничего не понимают ни в материале, ни в работе, но говорят о «чистоте стиля». Им можно всучить что угодно, если только сказать, что это «античный стиль» или что это работа модного архитектора. Эти люди верят всему, что говорят другие. Если они прочтут анонс или статью о мебели нового стиля, они тотчас же мчатся в магазин. И с важностью обсуждают все, что им известно о том, как поживают какой-нибудь оптовый торговец или жена директора.

Майя-Стина очень трезво относится к таким вещам, она вполне самостоятельная женщина. Критически относится она, например, и к нашим партийным газетам.

— Послушай,— сказала она мне однажды вечером.— Обратила ты внимание, что писали в газетах, когда Чемберлен встретился с Гитлером? Мир в Европе спасен! Прага пожертвовала собой ради мира. А несколькими днями позже английские рабочие газеты писали, что мир не был спасен даже на пять минут. Теперь же они пишут, что у диктаторов распухают гребешки и что Ворошилов сказал: «Мировая война приближается». Значит, Прага пожертвовала собой не ради мира, а ради войны. Что называется, из огня да в полымя!

— Я не верю, что издатели газет знают, о чем говорят рабочие в городе,— сказала я.— Они пишут, что нужно прислушиваться к голосам избирателей, но интересно, каких избирателей они имеют в виду. Во всяком случае, не женщин, разве только кумушек, возглавляющих женские организации.

— Не мешало бы этим кумушкам послушать тебя! — сказала Майя и засмеялась.

— Пусть послушают. Только я не хочу идти одна. Может, соберем депутацию недовольных такой жизнью?..

— Я пойду с тобой. Пойдем и в редакции газет, если хочешь. Только когда же мы пойдем? — спросила она.

Мы переглянулись. Мы должны работать. А когда мы после работы прибегаем домой, нас ждут дети. Где же нам взять время? Может быть, в субботу?..

— Давай напишем письмо,— предложила Майя.

А что мы будем писать?

Это был чудесный вечер, мы так серьезно обсуждали, что бы мы сказали тем или другим людям. Мы ведь в лучшем случае только голосуем «за» или «против» резолюции и ее!

отдельных параграфов на наших собраниях. Мы никогда не сидим в комитетах и правлениях.

Должны ли мы быть резки? Должны ли мы бить их по голове их же собственными громкими словами: «демократия», «демократический». Мы с удовольствием напомним им, что слово — это еще не все. Мы все еще рабы чужих денег. Мы все еще бессильны и бесправны. А еще толкуем о власти народа! Мы даже не можем голосовать каждые два или четыре года за тех, кто будет руководить нашей работой. Каким бы ужасным ни были мастер или директор, мы вынуждены им подчиняться, в то время как те, что от нашего имени должны выступать против капитализма, сидят сложа руки. Мы могли бы хоть спросить их: «Как вы боретесь против фашизма? Мы ждем Народного фронта, который положит конец фашизму. Мы ждем, чтобы вы подали нам знак, нужно ведь что-то предпринять и остановить войну, хотя лучше было бы предотвратить ее, пока она не началась». Многие еще могли бы мы сказать. Но тут мы попробовали себе представить, а что бы они нам ответили? И мы начали хохотать. Мы представили себе, с какими лицами они будут разыгрывать перед нами комедию и уверять, что у них нет времени. В редакции все сразу побегут в свои кабинеты писать фальшивые статьи, маскирующие предательство демократии. Кумушки из женских организаций, как только услышат о Народном фронте, спрячутся в уборные.

Очень забавно представлять все это. Но когда мы вволю потешились, страшно довольные сами собой, мы спросили себя почти в один голос:

— А что же, собственно, газета и кумушки из женского союза могут сделать? Ведь они тоже не свободны. Они вынуждены слушаться приказаний, иначе они лишатся работы.

Партийные секретари и редакторы, наверное, получили из высших инстанций приказ о «новых» лозунгах. Мы не должны больше говорить о конечной цели, нам следует лишь «отстаивать свои позиции». И это называется «народное управление»?

Да, вот какие дела, Майя-Стина и Элин. Что мы скажем? Что мы можем сделать? Нам не следует сравнивать наше теперешнее положение с тем, какого мы достигнем при социализме. Мы должны вспомнить, в какой политической и социальной обстановке зарождалось рабочее движение, и благодарить бога. Профсоюзные бонзы взобрались на высокие кресла, выше уж некуда. Спасибо, спасибо. Государственные

советники благодарны судьбе за то, что их положение отлично от прежнего. Мы не должны спрашивать, чему научило их прошлое. Мы должны быть благодарны за то, что нам живется лучше, чем немецким рабочим. Мы должны быть послушны. Мы свободные люди. Спасибо, спасибо.

Мы не должны спрашивать, что такое свобода. Это неблагодарность.

Богачи и предприниматели могут делать с нами все, что им заблагорассудится. Они теперь тоже «народ». Они состоят в народной партии и помогают «демократам» защищать страну от народовластия. Не так-то легко лавировать туда и сюда, но мы должны сохранять хорошую мину при плохой игре. Мы должны пойти на компромисс с реакционерами и чувствовать себя в безопасности, когда они свяжут нам руки. Капиталистическое общество так сложно и запутанно, что мы должны испытывать уважение к его запутавшимся руководителям. Мы, социал-демократы, будем долго жить в этом обществе. Еще раз спасибо.

Но в конце концов мы с Майей-Стиной все-таки решили, что мы-то будем обсуждать наши цели.

Один честный человек, который недавно приехал из Праги, написал в газету статью обо всем, что там происходило после того, как чехами пожертвовали «ради мира». Реакция и антисемитизм пришли на смену демократии, которую предали, говорилось в статье. Я захватила ее с собой, и мы с несколькими девушками обсудили ее в перерыв.

— Если мы не будем настороже, то же самое произойдет и у нас,— сказала я.

Один из членов молодежного клуба прервал меня с самым серьезным и мрачным видом:

— Ты занимаешься антигосударственной деятельностью,— заявил он.

— Вот как? В таком случае само государство антинародно,— ответила я.

— Как может государство быть антинародным? — удивился он.

— А как я могу быть против государства? — возразила я.

— Ты сотрудничаешь с коммунистами, а они хотят отменить право собственности, на котором зиждется государство.

— Это право не имеет никакого отношения к нам, рабо-

чим, мой мальчик! Шарикоподшипники, которые мы делаем, принадлежат не нам. Нам не принадлежит даже жалование, которое мы получаем. Государство вычитает из него в виде налогов столько, сколько захочет. Попробуй перестань платить — и ты увидишь, как построено общество.

— Молодец! — сказали девушки и засмеялись.

— А ты бойка на язык, баба!

— Будешь бойка. Своим умом ведь ты не поймешь — значит, кто-то должен объяснить тебе, — ответила я.

Испугавшись, как бы ему не пришлось выслушивать еще и другие объяснения, он счел за лучшее ретироваться. Но в дверях он все-таки обернулся и сказал: — Ты коммунистка!

— Да, теперь в молодежных клубах уже не позволяют изучать социализм, — сказала Майя-Стина, когда я вчера рассказала ей об этом разговоре. — Давай предложим женской организации провести дискуссию о социализме и конечной цели развития. Да, так мы и сделаем! Мы заставим кумушек занять определенную позицию. Вот увидишь, народ валом повалит на это собрание!

Мы сразу же набросали план, что обсуждать на этой дискуссии и как поддерживать друг друга. Это будет такая встряска, которая расшевелит людей. Мы-то уже скажем точно, где жмет башмак. Даже председательский колокольчик не заставит нас замолчать.

Майя-Стина начнет. Она скажет о равной оплате для женщин, о равных правах, об участии в политической и культурной жизни. Затем о борьбе против домашнего рабства, в которой большинство женщин заинтересовано. Затем выставит требование о включении всех женщин в борьбу за мир, требование о проведении мероприятий в духе истинной демократии, где матери могут защищать права своих детей и где интересы молодежи тоже принимаются во внимание. Я буду говорить о пути к будущему, о социалистическом обществе.

Это не мечта, а политика «возможного». Общество, где ни один не сидит на шее у другого, где все работают на общее благо и все пользуются плодами своих трудов. Скажете, слишком хорошо, чтобы могло быть правдой? Мы сами сделаем это правдой. Не нужно только слушаться тех, кто боится лишиться жизни и имущества в новом обществе, где народ, а не деньги станет хозяином страны. В обществе трудящихся не будет места паразитам. Но если они захотят трудиться, они найдут себе место среди честных людей.

Неужели всем не будет тогда лучше, чем сейчас? Подумать только, как поразительно все изменится, когда фабрики и магазины станут нашей собственностью, когда труд станет делом чести, когда вырвутся на свободу все ныне скованные силы, когда будет использован весь опыт, вся инициатива, а не только та, которая помогает алчному капиталисту набивать карман. Представьте себе, что вся прибыль, вся экономия и новые методы труда пойдут на пользу трудящимся, на улучшение условий жизни и труда, на отдых и пенсии для всех, что будут выстроены прекрасные школы, ясли и детские сады, что вся масса получит право учиться. Неужели мы еще не созрели, чтобы начать борьбу за новую жизнь для в

Несколько месяцев жили свои планы, радовались великому и каждому дню приходили во все большее во наконец, не подали наше письмо правлению и мы там присутствовать не име право писать «заявление», отпечатать «с уважением» честь Майей-Стиной и еще двух. После только ждать.

Это искусство, же давно изучили.

К тому времени, когда, по нашим расчетам, должно было состояться собрание, пришел ответ. Нас благодарили за интерес к общественным нуждам, о котором свидетельствовало наше предложение. Правление решило созвать в конце января 1939 года большое собрание, где будет сделан доклад на тему «Психология труда», после чего присутствующие смогут задавать докладчику вопросы.

Вот тебе и раз! Мы сидели, опустив головы. Кажется, мы даже покраснели от стыда. Что случилось с нашими прекрасными планами!

— Что такое «психология труда»? — спросила я.

Майя-Стина покачала головой, у нее не было сил даже улыбнуться.

Очевидно, то, чему надо учиться, поскольку можно будет задавать вопросы. Очевидно, придумано для того, чтобы рабочий примирился с существующей системой труда, чтобы слушался мастеров и хронометражистов и не смел возражать — в его же собственных интересах, как они говорят.

Следовало бы рассмеяться, но мы обе готовы были заплакать и даже не решались взглянуть друг другу в глаза.— Чтобы я еще когда-нибудь в жизни связалась с этими кумушками! — воскликнула я.

Но мне еще пришлось с ними столкнуться.

Неделей позже фру Рингланд явилась в клуб, куда и я пришла, чтобы поговорить об одном деле. Она была страшно любезна и начала говорить о собрании. В правлении очень довольны нашей инициативой, только тема обсуждения не представляется актуальной сейчас, после выборов. Эта дискуссия может только вызвать раскол среди рабочих, объяснила она. Кроме того, вряд ли подобная тема может увлечь рабочих, слишком уж она «теоретическая».

— А «психология труда» — не теоретическая тема? — спросила я.

— Можно сделать ее практической, — улыбнулась она. — И потом психология — это очень современно.

«К черту современность!» — хотелось мне сказать прямо ей в лицо, но я взяла себя в руки.

— Пора также подумать и о рождестве, — продолжала она. — Нам, женщинам, столько хлопот предстоит, что тут уж не до собрания, пока все это не кончится.

Столько у них хлопот за месяц до рождества, что придется сделать им одолжение и не беспокоить их. В этот вечер мы с Майей-Стиной уже не лили слез. Мы как будто освободились от каких-то пут. Мы загорелись еще большей жаждой деятельности.

Прежде всего мы вволю посмеялись над этими безумно занятыми женщинами, которым нужно шесть недель, чтобы подготовиться к рождеству, и потом еще месяц, чтобы его праздновать. Это гораздо больше того короткого отпуска, который женщина получает в связи с рождением ребенка. И в это время никто не думает о политике. Политические деятели уверены, что рождество не меньше, чем роды, мешают женщине проявлять активность в общественной жизни. Да, мы посмеялись вдоволь, можно сказать, отвели душу.

Теперь мы знали, как нам готовиться к рождеству. Мне не пришлось растолковывать Майе-Стине, и ей не надо было меня убеждать. Времени для колебаний больше не было. Мы обратимся к той партии, для которой социализм всегда актуален.

Решив вступить в коммунистическую партию, мы (трое из тех четырех, что подписались под заявлением) сознавали,

что совершаем серьезный шаг в жизни. В эту партию должны вступить все трудящиеся женщины, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы так оно и было.

Майя-Стина радовалась, что идет в ногу с Турстеном, а я чувствовала, что шагаю вместе со всеми борющимися женщинами во всем мире. Они сразу стали ближе мне, эти женщины, которых я никогда не видела; я не знала, как их зовут, но я знала, что все они мои товарищи. У нас одна цель. Если мы соберемся и побеседуем друг с другом, мы обо всем договоримся и проникнемся чувством солидарности. Они такие же реальные люди, как Майя-Стина и я. Ее ведь я тоже не знала до этой осени, а она жила, существовала.

Ну а вместе с тем приблизилась и конечная цель. Женщины принесли ее с собой. Это была наша радость — моя и их. Будничная жизнь в свете этой конечной цели уже не приводила нас в уныние. Мы с волнением ждали, когда примем за работу, за политическую работу. И это казалось настолько естественным, как будто мои руки специально были созданы для такой работы.

V

Майя-Стина и Турстен никогда не видели Бертиля. Впрочем, они не видели меня и вместе с Гуннаром. Но они, конечно, знали, что Бертиль в Испании. Они ничего не спрашивали, и я всегда была им за это благодарна.

Для них я была просто товарищем, женщиной, не имеющей мужа, и больше ничего. Если они считали, что мне вполне достаточно моей маленькой дочки и что я равнодушна к мужчинам, тем лучше. Они были недалеко от истины, и мне так было спокойнее. Во мне родилось какое-то недоверие, неприязнь к мужчинам. Есть, конечно, среди них такие, как мои братья и Янне, как Турстен и, может быть, еще некоторые, но остальные... Мне хорошо и без мужа. В политической борьбе никто не спрашивает, какого ты пола. Меня это вполне устраивало.

Но в ноябре в газетах все чаще стали появляться сообщения о том, что бойцы Интернациональной бригады возвращаются домой. Никто не знал, был ли среди них Бертиль. Не думаю, чтобы он хотел сделать нам сюрприз. Это могло произойти только помимо его желания. Он не привык много думать о нас. Он мог быть ранен, болен, а может быть, по-

пал в плен, мы говорили об этом с Бэдой. А что если он погиб или пропал без вести?

Майя-Стина, наверное, что-то подозревала, видя, что я ни слова не сказала об их приезде, в то время как другие только и говорили о героях Испании и готовились к встрече. Мы читали об их возвращении на родину. В нескольких городах им устроили торжественную встречу, хотя они возвращались не как победители. Майя-Стина знала, что мы очень долго не имели вестей от Бертиля. Но так же было и с другими бойцами Интернациональной бригады. Он мог быть и среди тех, кого ждали домой в декабре. Майя-Стина, по-видимому, думала, что я что-то скрываю, но она не пыталась меня утешать и не делала никаких намеков. В это время она старалась быть сдержанной с Турстеном, чтобы я не завидовала их счастью, хотя иной раз она с удовольствием уселась бы к нему на колени.

И все-таки я волновалась. Если даже Бертиль вернется, это не решение проблемы. Все останется по-прежнему неясным, независимо от того, выйдет ли он из вагона на своих собственных ногах, с целыми руками или его вынесут на носилках. Если он такой же, каким был тогда, когда отправился в Испанию, он может начать новую борьбу. Лучше, если бы он был тогда моложе, в том возрасте, когда люди учатся, путешествуя! Как Артур, как Хельге. Но если он все такой же, как прежде, когда он, возвращаясь с работы, усаживался на диван, предоставляя мне ухаживать за ним, то ему придется убедиться, что в доме кое-что изменилось.

Если он придет, как чужой, и косо посмотрит на Лизу, тогда ему лучше не приходить. Обойдемся и без него. Лиза — часть меня самой. Не нужен ему мой ребенок — значит, я ему тоже не нужна. Значит, он хочет только обрести снова власть надо мной. Нет, никогда этого больше не будет... Если он останется прежним и будет плестись за бонзами, ему придется понять: хочешь быть моим товарищем — изволь уважать мою партию.

* * *

Бэда и Янне тоже пошли с нами встречать героев Испании. И мы радовались вместе со всеми. Мы принесли цветы. Мы знали, что Бертиля нет в первой партии прибывающих: его имени не было в списке шведских бойцов, которые проезжали через Париж. Но ведь многие отправились другим путем, на пароходе...

Поэтому мы не были удивлены, когда его не оказалось среди товарищей. Мы оставались до конца, прослушали приветственные речи, но не стали здороваться с бойцами. Бэда поддалась общему настроению, на глазах у нее блеснули слезы, хотя я не думаю, чтобы она была больше разочарована, чем я.

— К рождеству он, вероятно, все-таки придет,— сказала она, когда мы возвращались домой. Ей хотелось меня утешить.

Она крепко держала Янне под руку, как в то время, когда они только что поженились. Она не знала, понравится ли Бертилю, что она вышла замуж.

И все же мы испытывали что-то вроде разочарования, как будто он снова покинул нас. Временами мне даже было жаль его. Как будто мы совсем о нем забыли, потому что он так далеко от нас... Я чувствовала, что мы обе боимся смотреть в глаза его товарищам.

В воскресенье Бэда зашла узнать, что слышно насчет новой партии. Я слышала, что должна прибыть новая группа испанских бойцов, но будет ли среди них Бертиль, неизвестно.

— Если он не придет и к рождеству, тогда вы с Лизой приезжайте к нам, проведете у нас святки,— предложила Бэда. Я поблагодарила ее. Ничего лучшего мы не могли бы пожелать себе. Дома нам не удастся справить рождество: у меня было туго с деньгами, да и времени не было, чтобы что-нибудь приготовить. Мне также нужно было по возможности хорошенько отдохнуть в эти свободные дни.

В следующее воскресенье Бэда опять пришла. Хотя с Бертилем так ничего и не выяснилось, мы радовались рождеству. Лиза в первый раз праздновала рождество. В прошлом году в это время она была просто сонной куклой.

— Янне так рад, что Лиза пробудет с нами несколько дней,— сказала Бэда.

Она вообще больше говорила о Лизе, чем о Бертиле. Но, может быть, она делала это для того, чтобы не огорчать меня? Как товарищи по работе, как Майя-Стинна в эти дни? Они старались не глядеть на меня, когда я могла это заметить. Они старались не говорить при мне о бойцах из Интернациональной бригады. Тревога не покидала меня.

Мы так привыкли обуздывать свои чувства, что можно подумать, мы их вообще никогда не испытываем. Этому мы рано научаемся. Чувства мешают работе, если работа их не

задушит. А ведь мы существуем для того, чтобы работать и кормить тех, кто не работает. Эти люди играют в чувства, но не испытывают их. Мы же бываем вспыльчивы и резки, но это для того, чтобы скрывать свои чувства... А чувства гложут нас, как червяк точит дерево.

Это случилось во время рождественских праздников. Я получила от Комитета помощи Испании извещение о том, что Бертиль возвращается домой. Он остановился на несколько дней в Париже вместе с группой американских негров и немецких эмигрантов.

Я была так ошеломлена, что просто не знала, что мне делать. Лиза спала. И вдруг я поняла: надо сообщить Бэде... Я бросилась вниз к Майе-Стине и попросила разрешения позвонить.

— О, как я рада! — воскликнула она и бросилась мне на шею.

Обе мы дрожали и всхлипывали. И тут только среди этой суматохи я поняла, как я счастлива. Я едва смогла позвонить по телефону.

— Вот уж действительно рождественский подарок! — кричала Бэда, и я слышала, как она говорит Янне: — Бертиль возвращается, Янне! Мы сейчас же едем к Элин и Лизе.

«Это мне надо бы поехать к ним, — подумала я, — в дороге я бы успокоилась». Я чувствовала такую слабость, что мне пришлось посидеть немного у Майи-Стины. Может быть, это было просто сердцебиение, но я не рискнула пойти наверх, к Лизе, и остаться с ней одной до прихода Бэды. Если бы возвращался не Бертиль, а Гуннар, все было бы очень просто, по крайней мере сначала. Я чувствовала себя такой беспомощной, когда думала о Бертиле. Мне почему-то пришли на ум американские негры и немецкие эмигранты. Но тут меня захлестнула горячая волна такой радости и волнения! Я почувствовала, что мне надо побыть одной.

Когда я вошла в комнату, Лиза уже проснулась.

— Бабушка сейчас приедет, — сказала я и обняла ее.

— Ба, ба, — лепетала Лиза, — бу, бу...

— Забодаю! — и мы столкнулись лбами. — Забодаю, — говорила я, подражая бабушке. Лиза громко хохотала, а я кружилась с ней по комнате.

Она уже не хотела спать и уселась в уголке дивана, а я пошла заваривать кофе. В кухне у меня снова заколотилось

сердце. Меня охватил страх перед тем, что мне предстояло. А вдруг он инвалид? По спине у меня побежали мурашки. Один из наших товарищей вернулся инвалидом. Это же все равно, что ребенок, мне придется за ним ухаживать, учить его ходить, развлекать его... Нет, я должна посмотреть, чем это Лиза занялась. Она не из тех детей, которых находишь там, где ты их оставил. Однако в комнате так тихо, что можно подумать, она спит.

Тут я услышала, как что-то тяжело шлепнулось на пол, и вслед за тем раздался крик. Когда я вбежала в комнату, Лиза лежала перед диваном и не двигалась. На секунду я застыла от ужаса, потом схватила ее и села с ней на диван. Лиза удивленно пощупала свой лоб. Уголки рта ее опустились, она, кажется, хотела заплакать.

— Забодай его, мама,— плаксивым голосом потребовала она.

— Никогда не бодайся с полом,— сказала я и подула на шишку на ее лобике.

Лиза свернулась клубочком у меня на коленях и засунула палец в рот. Так мы и сидели, когда пришли Бэда с Янне.

— Смотри-ка, мы пришли к Лизе в гости,— сказал Янне, выглянув из коридора и подмигивая ей.

— Она уже ждет папу,— засмеялась Бэда, моментально очутившись около нас.— Сейчас Лиза получит пирожное, которое спрятано в корзине.

Лиза вынула палец изо рта, протянула ручку Бэде. Но она была очень серьезна и крепко держалась за меня. Янне притащил корзинку и, улыбаясь, поставил на пол перед нами. Лизе очень хотелось узнать, что там такое, но она не решалась отпустить меня. Молча тянула она меня за руку к корзине. Янне присел на корточки.

— Чего хочет сегодня наша девочка? — спросил Янне и протянул Лизе пакетик с конфетами.

Но она смотрела в корзину, а не на пакетик. Тогда он вытащил бутылку сливок и банку молотого кофе, но Лиза наклонилась над корзинкой, стараясь увидеть там еще что-то, и ничего не видела.

— Бедняжка,— сказала Бэда.— Ведь ей обещали пирожное.

Янне осторожно поднял крышку картонной коробки. Там лежали пирожные, сахарное печенье и булочки. Тут Лиза отпустила мою руку.

Бэда разостлала на столе скатерть, потом пошла на кухню и заварила кофе. Оттуда она принесла чашки и сахарницу. Янне вытащил из корзины бутылку портвейна и вручил мне. И все время он подмигивал одним глазом.

— Мы захватили с собой все, что у нас было,— сказала Бэда.— Тут хватит, чтобы достойно встретить человека. Ведь Бертиль может завтра уже быть здесь.

Я вздрогнула, как будто меня ударили. Но она этого не видела. Она посмотрела на меня долгим взглядом и только тут, вероятно, заметила, что я за все время не произнесла ни слова. Но в этот момент Янне кивнул на Лизу, и все взоры обратились к ней. Она была целиком поглощена своим занятием, зажав в одном кулачке сахарное печенье, а в другом пирожное. И до чего же серьезный был у нее вид! Янне улыбался.

— Бедная малютка хочет кушать,— засюсюкала Бэда. Тут она заметила у девочки на лбу шишку и уже хотела что-то сказать. Я едва успела подать ей знак. Лучше было не обращать на Лизу внимания.

— Откуси кусочек, увидишь, как это вкусно,— шепнул ей Янне.

Лиза осторожно откусила печенье и сунула пирожное Янне прямо в рот. Он сделал вид, что попробовал, и Лиза протянула его Бэде.

— Ах ты, малышка! — в восторге воскликнула Бэда, схватила девочку и посадила к себе на колени.— Какой ангелочек! Долго ли ты будешь радовать папу с мамой? Ради бога, следи за ней хорошенько, Элин.

Янне подмигнул мне. Я тем временем накрыла стол для кофе, поставила стаканы, блюдо для печенья и все прочее. Лиза спокойно сидела у бабушки и жевала пирожное. Время от времени она откусывала от сладкой булочки, тогда Бэда тоже начинала чмокать, как будто и ей перепало кое-что. И такое это было тихое и мирное зрелище, что я снова вздрогнула, когда вспомнила, что завтра он, может быть, придет... Не взять ли Бэде девочку к себе на ближайшие дни? Она бы с удовольствием это сделала. Это лучше, чем если Бертиль, увидев Лизу, повернется и уйдет.

— Как это хорошо, что завтра придет твой папа,— сказала Бэда.— Смотри, сколько у тебя вкусных вещей.— И она пододвинула к ней блюдо с булочками.

Лиза не знала, за что ухватиться. Рот у нее был полон сахарного печенья, а она уже протянула руку за булочками.

Я стояла и смотрела, но мысли мои были далеко. Вдруг я заметила, что не подала на стол кофе. Я забыла также налить сливок в молочник. Но я не могла заставить себя что-нибудь делать.

— Ей надо запить,— сказала Бэда.— Так это слишком сухо.

Мне казалось, что Бэда говорит беспрестанно, а Янне как-то особенно спокоен и молчалив. Как он взял кофейник, чтобы налить нам всем кофе, я даже не заметила. Бэде я налила сама.

— Все-таки ты опередила меня,— сказал Янне и от души расхохотался.

Бэда тоже захохотала. Я заглянула в ее чашку — что такое? Белый кофе. Ах, я налила одних сливок!

— Извините, я думала о бутылке — сказала я.

— Наверное, ты думала о Лизе. Есть у тебя молоко? — спросила Бэда.

— Ничего подобного. Элин думала о вине,— сказал Янне, продолжая смеяться.

— Молоко у меня есть,— ответила я, взяла чашку Бэды и пошла в кухню. Когда я вернулась, в руках у меня был пустой молочник. Бэда и Янне переглянулись, их явно забавляло мое поведение. Янне встал и мягко, но властно усадил меня на стул.

— Вина тебе сегодня нельзя, это совершенно ясно. Выпей немножко кофе и отдохни.

— Твоя рассеянность вполне понятна,— утешала меня Бэда.— У меня бы на твоём месте тоже голова пошла кругом. Завтра ты не ходи на работу, слышишь?

— У меня нет ни малейшего желания идти на работу,— сказала я, и это была истинная правда.

— Ты не будешь спать ночью, если сейчас выпьешь крепкого кофе. Как хорошо, что мы приехали, а то бы ты здесь натворила дел! Хотя никто, конечно, тебя бы за это не упрекнул.

Янне принес из кухни бидон с молоком и чашку Бэды со сливками.

— Это я выпью,— улыбнулся он.— Бэде нельзя пить сливки. Она стала такой модницей.

— Спасибо, милый Янне. Теперь Лиза выпьет молочка,— сказала Бэда. Потом она подмигнула ему и шепнула, достаточно громко, впрочем: — Ровно настолько модница, чтобы нравиться моему милому муженьку.

И тут вдруг раздался звонок у двери. Мы не слышали шагов на лестнице, хотя входная дверь была открыта. Я решила, что это Майя-Стина в домашних туфлях. Я открыла дверь. За порогом стоял мужчина с эспаньолкой, в плаще и испанской шапочке и с чемоданчиком в руке.

— Я привез вам привет...— и он замолчал.

У меня замерло сердце. Я бросила быстрый взгляд на его чемоданчик, жалкий, ободранный, поцарапанный. Этот чемодан я купила, когда мы собирались отправиться в путешествие, которому не суждено было состояться.

— Добрый вечер,— сказал он тихо.

— Бертиль! — закричала я.— Боже мой!

В комнате раздался шум отодвигаемых стульев. Лиза заплакала.

— Кто там? — воскликнула Бэда.

— Да Бертиль же, Бертиль! — кричала я и смеялась — все разом, хотя он мне все-таки казался каким-то чужим и я смущалась, стоя тут, рядом с ним в коридоре.— У него борода!

Тогда засмеялся и Бертиль и снял шапочку. Бэда выбежала с Лизой на руках, Янне за ней. Я поспешила закрыть дверь за Бертилем, когда он вошел наконец в комнату; правая рука у него была на перевязи.

— Мое дорогое дитя! Это ты,— прошептала Бэда.

* * *

Бэда первая пришла в себя. Я была рада всему, что она говорила и делала. Не из-за одной только бороды стал Бертиль каким-то новым, не похожим на себя. Он похудел, но выглядел крепким и сильным. И, конечно, он стал старше. Мы ведь его очень давно не видели. Казалось, у него даже глаза другие стали. Может быть, это из-за темной бороды. Он более пристально разглядывал все вокруг себя, как будто привык наблюдать за всем издали. Он не стал более нервным или беспокойным от того, что ему пришлось пережить. Может быть, лишь несколько живее...

Бэда посадила Лизу между нами на диван. Сама она носилась взад-вперед, то за кофейными чашками, то за стаканом для Бертиля, то за хлебом, то за маслом или за тарелкой.

— Ну вот, теперь вытаскивай бутылку, Янне. Теперь мы выпьем,— сказала она.— Мы ждали тебя, Бертиль, но не знали, когда ты приедешь.— Она опять убежала, на этот раз за сыром, и, вернувшись, вдруг сказала Лизе:

— Скажи «папа».

Лиза прижалась ко мне. Ее пугал этот чужой дядя, но его борода ее заинтересовала. Она все оборачивалась и поглядывала на него.

— Ты можешь сказать «папа», ты же такая умница,— уговаривала ее Бэда.— Ведь ты говоришь «бабушка».

— Дядя,— сказала Лиза.— Баба.

И еще долго она, единственная изо всех, оставалась серьезной и удивленно рассматривала взрослых.

— Ах ты, маленькая плутовка! Ты не веришь, что дядя — твой папа,— смеялась Бэда, а по щекам ее катились слезы радости.

— Дядя,— повторила Лиза и покосилась на Бертиля уже менее испуганно. Однако она забралась ко мне на колени.

Янне розлил вино. Бэда подняла свой стакан и посмотрела на меня.

— Ваше здоровье и с приездом!

— Твое здоровье, дядя, добро пожаловать,— сказала Бэда и хотела засмеяться, но на глазах у нее опять показались слезы.— Подумать только, что ты вернулся!

Мы не могли бы ни в чем упрекнуть Бертиля. Как молния мелькнула мысль, что я невероятно, неправдоподобно счастлива. Мы ждали друг друга — Бертиль и я. Мы пыгались взглянуть друг другу в глаза и тут же опускали их. Мы сидели, улыбались и словно стыдились чего-то. «Кто-то из нас должен сделать первый шаг»,— думала я. Говорить было трудно. «Я буду помогать ему, пока рука у него в повязке, буду ухаживать за ним, как за ребенком». Мне хотелось погладить его больную руку так, чтобы он этого не заметил, но ко мне была обращена здоровая рука. Я пододвинулась чуточку ближе к нему. Мне хотелось, чтобы он взял Лизу к себе на колени, поиграл с ней немножко. Но он тоже, видно, растерялся.

Он приехал парходом из Руана вместе с несколькими норвежцами, рассказывал он Янне. Они с товарищем были на верфи, когда добровольцев отправляли домой, и отстали от них. Так он и не успел закончить важную работу.

— Это где, в Испании? — спросил Янне.

— Вообще многое еще нужно сделать.

Бертиль сидел на своем собственном диване и осматривался, словно в чужом доме. Но я не удивлялась: он еще не-

достаточно освоился, чтобы рассказывать о чем-нибудь, кроме возвращения на родину. Бородку он отрастил в госпитале, куда попал после того, как его ранило осколком в руку во время бомбардировки одного завода.

— А как завод? — спросил Янне.

— Всего несколько пробоя в стенах. Но рабочих обстреляли из пулемета, когда они побежали тушить пожар в соседней школе.

— А дети? — с ужасом спросила Бэда.

— Их там немного было. Большинство успело убежать. Но их тоже обстреляли с истребителей.

— И ты все это пережил!

— Многие пережили, — отвечал Бертиль. — На войне некогда думать, только успевай расчищать и работай дальше.

— Ты видел столько несчастных испанских детей, — вздохнула Бэда. — Невинные дети страдают — это, по моему, страшнее всего. Но ты зато мог радоваться за своего ребенка, который спокойно живет в Швеции. Ведь ты получил мое письмо?

На это многое можно было ответить. У меня внутри все замерло от напряжения. Я не смела взглянуть на Бертиля и вся обратилась в слух. Мне хотелось бы в этот момент быть далеко отсюда, но я не в состоянии была даже пальцем шевельнуть. Казалось, все наше будущее повисло на волоске. Что-то он ответит? Если бы я могла что-нибудь сказать сама!

Он обернулся, как будто хотел посмотреть мне в глаза, но вместо этого посмотрел на Лизу и улыбнулся. Как он был спокоен!

— Иногда я получал письма, — сказал он, — по два, по три сразу. Я все время переезжал с места на место, никогда долго не оставался на одном заводе. Иногда совершал продолжительные путешествия. Дела было много. Думать было некогда.

Бертиль, Бертиль!

Такой прежний, несмотря на бородку и Испанию. Как я довольна, что ты тот же, как перед отъездом. Бэда так счастлива, что с ним ничего не случилось; она только смотрела на него и слушала его рассказы.

Лиза засыпала. Я взяла ее на руки, но продолжала сидеть на диване. Я так устала.

— Посмотри на нее,— усмехнулась Бэда и кивнула в мою сторону, когда я взяла Лизу.

— Я, пожалуй, пойду уложу ее,— сказала я.

— Скажи папе «спокойной ночи»... в первый раз,— Бэда улыбнулась, но голос ее дрогнул.

Однако девочка закрыла глаза руками, прячась от бороды, и вся изогнулась, упираясь, когда я хотела передать ее Бертилю.

— Ничего, завтра она уже к тебе привыкнет,— засмеялась Бэда.

Они думают о завтрашнем дне! Как еще далеко до этого. Чем дольше просидит здесь Бэда, тем больше оттягивается минута, когда мне придется остаться с Бертилем наедине.

Я пошла укладывать Лизу, он поднялся и пошел за мной. О, я не могла этому поверить. Но когда он вошел следом за мной в комнату, я почувствовала к нему такую благодарность, как будто он взял нас с Лизой на руки и понес. Я не решалась проявить свою радость. Я была, конечно, слишком неуверенна. С Лизой на руках я повернулась к нему, Лиза дремала, глазки ее стали совсем узенькими и, когда он склонился над ней, совсем закрылись. Теперь он мог взять ее, она не шевелилась. Но мы так и стояли — девочка между нами. У него ведь была только одна рука.

Мы были очень смущены. Двери мы не закрыли и оба смотрели на Лизу.

Может быть, это длилось не так долго, как мне показалось. Но я могла ждать. Пусть смотрит на нее, сколько ему угодно.

Он не поседел. Волосы на голове были такие же черные, как и борода. Черты лица обострились, стали резче, чем раньше, но борода скрывала это. Скулы выдались, обозначились впадины на висках.

Он улыбался все шире и шире. Да, он сейчас был очень непохож на себя. Как будто другой человек. Мне показалось, что он хочет взять ребенка.

Я готова была сказать ему все самое лучшее, самое радостное, чего не могла сказать раньше.

— Ну разве она не мила? — прошептала я.

Он кивнул. Потом погладил ее волосики, осторожно, осторожно. Но я ощущала эти прикосновения всем своим существом.

Я крепче прижала к себе дочь. Нужно было уложить ее так, чтобы она не проснулась. Бертиль молча склонился над постелькой и смотрел на нее. Мне вдруг показалось, что я держу в руках его, но не так, как держат ребенка... Пришлось зажмуриться и задержать дыхание — мне хотелось выкрикнуть его имя.

Нет, так нельзя. Так можно напугать человека.

— Да,— сказал он, выпрямившись.— Ей хорошо. У нее есть ты.

Он оглядел комнату. Я не могла произнести ни слова. О чем он думает? Он взял меня за руку. Я ждала, что он что-нибудь скажет. Но он только вывел меня к остальным. Бэда посмотрела на нас долгим взглядом. Она тоже чего-то ждала. Она сегодня просто сияла счастьем. Бертиль кивнул ей и улыбнулся — так спокойно, спокойно. Но вместо того, чтобы сесть снова за стол, он повел меня в кухню.

— Наш испанец хочет со всем познакомиться, чтобы чувствовать себя снова дома,— сказала Бэда нам вслед.

— Да. Все кажется таким странным,— отозвался Бертиль.— Как будто все новое.

Он внимательно осмотрел кухню, всю сверху донизу, не отпуская моей руки. Сначала он был серьезен, потом сложил губы в эту новую для нас улыбку, словно себе в бородку, которая казалась такой забавной. Потом взглянул на меня, и тут мне показалось, что в его глазах я вижу свое счастье.

— Бертиль, о чем ты думаешь? — спросила я.— Не странно тебе быть снова дома?

— Я не был уверен, что еду домой,— сказал он.

— А теперь ты уверен, что ты дома?

— Да.

Он обнял меня, и я поцеловала его в бородку.

— Я не могла удержаться, ты же знаешь, как я любопытна,— сказала Бэда, явившись вместе с Янне на следующий вечер.— И потом нам ведь нужно обсудить, что мы будем делать на рождество.

— Прежде всего ей хочется знать, выпили ли вы вино? — засмеялся Янне.

— Это он хочет, он! — засмеялась и Бэда.— Потому что он принес еще вина.

У них было с собой не только вино. Они притащили столько всего, как будто собирались пировать всю ночь. Тут было и жаркое, и соус, и картофель, и кофе, и торт.

— Да, вино мы выпили,— сказала я немного смущенно.— Оно было такое хорошее.

— Вот и прекрасно. Ах, как это хорошо, как приятно! — вырвалось у Бэды.— То есть, что вы решили отпраздновать этот день.

— О да,— согласился Бертиль.— На это у нас хватило смекалки.

— И вы целый день целовались?

— Не совсем,— сказала я, выручая его. Бэда видела, как я счастлива.— Мы были на Рыбном рынке и взяли с собой Лизу,— продолжала я.— Бертилю ведь хочется посмотреть город. Но его никто не узнал — из-за бороды. Впрочем, я теперь нахожу, что она ему идет.

— Ах, вот как! Ну, я не могу ничего сказать. Мне нужно еще привыкнуть.

— Ну, а что вы еще делали сегодня? — спросил Янне и подмигнул.

Бертиль расхаживал по комнате. Вид у него был очень довольный. Когда он двигался, он казался моложе, несмотря на бородку. Он обернулся, почесал в затылке и сказал:

— У нас был превосходный обед: треска и яблочный пирог. Никогда в жизни я так хорошо не обедал, даю честное слово.

— Лиза сидела с нами за столом,— поспешила я добавить.— И с аппетитом ела и треску и пирог. Она сидела у Бертиля на коленях и совсем не боялась.

Бэда стояла в дверях в кухню, где разогревались котлеты, а я стала накрывать на стол. Она следила взглядом за Бертилем. Мне показалось, что она смеется над нами, но она вдруг сказала:

— Какие хорошие манеры у нашего мальчика, это у него испанское.

— Ничего подобного. Это старые гетеборгские манеры, уж вы мне поверьте,— засмеялся Янне.— А сейчас, я считаю, мы должны выпить за эти манеры. Они того стоят.

Он вытащил бутылку, и Бертиль пошел за стаканами.

— Выпьем за Испанию,— сказала я.— Вчера мы забыли об этом.

— Правильно,— подтвердил Бертиль.— Чтобы никогда не забывать Испанию!

Едва мы успели сделать первый глоток, как он начал рассказывать. Это произошло как-то незаметно, как нечто само собой разумеющееся. Но это был рассказ не столько о

стране, сколько о товарищах — испанских и других. Мне очень хотелось узнать, как выглядит та земля, где ему пришлось побывать, но я еще успею расспросить его. Он лишь несколько раз вскользь упомянул об этом, а в основном говорил о войне.

Котлеты шипели на сковороде. Я входила и выходила из комнаты, принесла блюдо, тарелки. Бертиль стоял в дверях и обращался то к Бэде, то к Янне, но я чувствовала, что говорит он все время для меня. И ведь это для него я накрывала на стол. Мой муж, твердила я себе, мой муж! Вначале я даже плохо слушала, о чем он рассказывает.

Но это не имело значения. Я слышала его голос, и сам он был здесь, со мной. Его голос ласкал мой слух, он проникал куда-то вглубь, к самому сердцу. Я двигалась так легко, словно его голос и слова несли меня. А он говорил об Испании. Он произносил слова, имена, немного резким, суровым тоном перечисляя события. Он хорошо научился говорить по-испански. Мне казалось, что я пережила все вместе с ним, как будто я сама побывала в Испании.

Бэда подала котлеты, я взглянула в кухню, не надо ли еще что-нибудь принести, стараясь в то же время не пропустить ничего из его рассказа. Я заметила, что Бэда серьезна и молчалива и, может быть, чуточку испугана. Я понимала: кухня, посуда, накрытый стол — это казалось почти невероятным. То, другое, стало ближе — та удивительная, сожженная, оборванная, голодная, истекающая кровью Испания. Машины в грудах развалин, среди обугленных стен.

— Бедное дитя, что ты только пережил! — сказала Бэда.

— Я видел очень немного. А испанцы прошли через все это. Мы старались помочь им, чем могли. А потом... Нам казалось, что мы бросаем в беде своих лучших друзей.

— Хороший народ испанцы? — спросил Янне.

— Прекрасный. Во всяком случае, те, с кем мне приходилось сталкиваться. Когда фашистов разобьют и Испания будет свободной, мы с Элин поедem туда в гости. Там хочется остаться навсегда.

— Только бы скорее у них наступил мир! — вздохнула я.

— Мир наступит не скоро, — сказал Бертиль. — Они теперь один на один с чернорубашечниками. Проклятый сброд, готовы разрушить все на свете!

Мы стояли у стола, собираясь усесться. Стол выглядел роскошно! На нем было столько всего, что хватило бы и не на четверых. Бертиль был задумчив. Я поняла, что мыслями

он со своими испанскими товарищами. Еще так недавно он вместе с ними ходил на работу и видел, как они жуют сухой хлеб, чтобы хоть немного утолить голод... Новый Бертиль! Я просунула руку под его локоть и крепко прижалась к нему, хотя мы были не одни.

— Сядем,— сказала я.— Теперь мы можем послушать еще об Испании.

На следующий день надо было идти на работу. Но вечером мы зашли к Майе-Стине и Турстену. Им тоже было любопытно послушать об Испании.

— Вот он, наш испанец! — провозгласил Турстен.— Добро пожаловать к нам в Швецию!

— Да, теперь в вас столько испанского, что вы можете поделиться с нами,— сказала Майя-Стина и обняла меня, это было первое, что она сделала.— Как я рада,— шепнула она мне на ухо.

В комнате благоухало всяческой снедью. Потом я догадалась, что они отложили обед до нашего прихода. Нас угостили кушаньем, которое Майя-Стина мастерски готовила, а Турстен виртуозно поедал: бараниной с капустой. И я была благодарна им за все — ради Бертиля.

— Мы думали позвать сегодня товарищей,— сказал Турстен.— Но потом решили, что не стоит тебя утомлять после долгого путешествия. Ты должен немного отдохнуть в семейном кругу. А то нашлось бы немало желающих выразить тебе свою признательность. То, что сделал ты, должны были сделать тысячи рабочих-металлистов!

— И все бы они были нужны,— сказал Бертиль.— Каждый из них.

— Фашисты были бы теперь уже у нас, здесь, если бы их не задержали два года назад под Мадридом. Я уверен в этом. Возможно, они заняли бы всю Европу, кроме Советского Союза.

— Они еще могут прийти сюда, если немцы и итальянцы будут их поддерживать, как там, в Испании.

— Да и в другие страны тоже. Они сейчас сильны. А мы будем соблюдать нейтралитет!

— И там были такие люди, которые хотели остаться вне игры,— сказал Бертиль.— Одни не умели читать, другие не осмеливались. Всевозможные священники и монахи шныряли повсюду и запугивали народ. А народу так плохо живется!

Он и не верит, что можно жить лучше. Я никогда не видел такого убожества, с каким я встретился там во многих городах.

— Да, ты все это видел. До нас же лишь доходят кое-какие слухи. А услышанное так легко забывается. И ты работал вместе с испанскими товарищами. Если бы несколько тысяч наших парней последовали твоему примеру, это было бы здорово. Вернувшись домой с поля битвы объединят вокруг себя людей на заводах и в клубах. Если нацисты придут, эти парни будут бравыми партизанами.

— Только бы они получили работу,— сказала я.— Капиталисты боятся тех, кто осмеливался выступить за свободу.

— Получат в партийных организациях. Нам нужны такие люди.

Тут я подумала о руке Бертиля. Ведь он проходит с повязкой не меньше месяца. А потом!.. Но Турстен рассмеялся:

— Предприниматели так глупы, что не рискуют брать на работу тех, кто сражался в Испании. Таким образом, они оказывают нам услугу, а себе вредят: они лишаются честных людей, а мы получаем надежных работников. Люди, много повидавшие и имеющие большой жизненный опыт,— солидная сила в наших рядах.

Я подумала, что Турстен не без умысла говорит все это Бертилю; вероятно, он догадывается о моих сомнениях: Во всяком случае, я была благодарна ему за все, что он сказал. И за то, что он так сразу сошелся с Бертилем.

Мы с Майей-Стиной болтали в кухне. Посуда была уже вымыта, и теперь мы готовили кофе. Бертиль и Турстен уселись на диване за маленьким столиком. Мне было видно их, до меня долетали обрывки их разговора, и время от времени я подходила к двери и смотрела на них. Им было хорошо вместе.

Бертиль от души смеялся над рассказами Турстена об электростанции. Что-что, а рассказывать смешные истории Турстен был мастер. Инженерам и конторщикам и в голову не приходит, какой он хитрый, как он подмечает все их слабости, а они-то нос задирают перед рабочими. Как легко разглядеть их сущность простому, нормальному человеку, обладающему хорошим зрением.

Они были сейчас удивительно, до смешного, разные — Турстен и Бертиль, и, несмотря на это, оба мне очень нрави-

лись. Оба они крепкие и сильные. Турстен кажется более энергичным, деятельным и одновременно более спокойным, уверенным в себе. У него открытое, ясное лицо, легкий румянец на щеках, волнистые волосы цвета ржаной соломы и быстрые серо-голубые глаза. «Здоровяк парень»,— невольно думаешь, глядя на его огромные кулаки. Он чуть полноват, приветлив и добродушен, и можно догадаться, что в груди у него бьется горячее, отзывчивое сердце. Бертиль более сдержан, хотя теперь он стал гораздо общительнее, чем прежде, даже гораздо откровеннее. Когда он смотрит на Турстена, взгляд его спокоен и дружелюбен, как будто он уже знает Турстена лучше, чем прежних товарищей по работе и других своих знакомых.

И вдруг мне пришло в голову, что Бертиль пережил среди своих товарищей не только то, о чем он рассказал. Наверное, там был кто-то, кем он восхищался, кто стал его самым близким другом, кого напомнил ему Турстен. Одна только обстановка и события не могли оказать на него такого влияния. Конечно, человек чему-то учится у жизни, получает какие-то впечатления и материал для размышлений, но все это не может так изменить человека, чтобы это стало заметно для окружающих. Так может быть лишь в том случае, если он знает что-то особенное, возможно, новое для него самого и если что-то сам делает. Тогда он может измениться вот так, до неузнаваемости.

Итак, мы будем пить кофе. Майя-Стина принесла поднос и подтолкнула меня.

— А он очень мил с этой испанской бородкой,— шепнула она мне.— Что ты сказала, когда его увидела?

— Я вскрикнула: «Это Бертиль!»

— Я так и думала. Хорошо иногда вскрикнуть от души.

Мы с Майей-Стиной уселись на диване. Бертиль и Турстен были так увлечены разговором, что не обращали на нас внимания. Бертиль рассказывал об испанских заводах. Там работали не только испанцы, но и масса добровольцев различных национальностей. Однажды Бертилю довелось работать с двумя неграми. До этого ему никогда не приходилось сталкиваться с неграми, и он настолько растерялся, что даже слегка вздрогнул, когда увидел их около машин. А они встретили его с сияющими лицами, как будто были страшно рады ему, и когда оказалось, что он не понимает английскую речь, они взяли его за руку и подвели к осевому подшипнику, в котором, по их мнению, крылась неполадка.

При этом они так весело смеялись, что Бертиль подумал, уж не подшучивают ли они над ним. Но действительно старый английский подшипник дурил. Негры прекрасные механики. Работали они играючи. Они моментально все замечали, все схватывали. Казалось, все их пять органов чувств находятся в постоянном напряжении. И это их качество не раз сослужило им хорошую службу, даже в первый же день, что они работали вместе. Они стояли, согнувшись над станками, когда один из негров заметил, что кирпич в стене над ними качается. Он едва успел оттащить Бертиля и второго негра в сторону, как стена с грохотом рухнула.

«За эти два года ему, наверное, много раз грозила опасность,— думала я.— Он принимал участие в борьбе не на жизнь, а на смерть. Изо дня в день он работал бок о бок с товарищами, такими, как эти негры, доверяя им свою жизнь. Может быть, он помогал спасать других, как спасали и его самого, хотя он об этом не рассказывал. Он два года прожил в обстановке, о которой мы можем только мечтать,— в обстановке солидарности...»

Он рассказывал множество историй о других добровольцах: о французах, о немецких и итальянских беженцах, о чехах, скандинавах и многих других. Они отличались друг от друга только языком. Откуда они пришли — не имело значения.

— Бертиль забыл про кофе,— сказала Майя-Стина.— Придется отнести на кухню подогреть.

— Ты приехал с юга, Бертиль. Наверное, ты не откажешься от рюмки коньячку,— предложил Турстен. Но прежде чем он успел подняться, Майя-Стина уже была на ногах.

— Я схожу,— сказала она.— Пусть Бертиль рассказывает.

Когда она вернулась и поставила бутылку на стол, Турстен притянул ее к себе, посадил на колени.

— Вот мой лучший товарищ,— сказал он.— По ночам, когда мы спим и видим сны, все товарищи и все человечество воплощаются в ней. Правда?

— Только для тебя,— сказала Майя-Стина.

— Конечно, это для меня ты все вместе взятое,— сказал он и легонько шлепнул ее.

— Так не ведут себя за столом, ты это знаешь,— сказала Майя-Стина, но не преминула обнять его.

— Неужели мне уж нельзя тебя шлепнуть единствен-

ный раз за весь вечер! Ты так хорошо нас накормила, надо же мне тебя поблагодарить!

Она передала Турстену стакан.

— За твое здоровье, Бертиль,— сказала она.— Садись рядом с Элин на диван. Это мое самое любимое место.

А я, я была так счастлива, когда он сел ко мне! Я посмотрела долгим взглядом ему в глаза и прошептала:

— Мой любимый Бертиль!

— Будь как дома, Элин. Бери пример с меня,— посоветовала Майя-Стина.— Так мало нам приходится быть вместе. А потом Бертиль нам расскажет еще об Испании.

Было уже довольно поздно, когда мы, наконец, расстались. Утром всем рано вставать. Но Турстену все же удалось уговорить Бертиля выступить на профсоюзном собрании и рассказать об Испании.

— Если я смогу,— улыбнулся Бертиль.

— У тебя получится лучше, чем ты думаешь,— сказал Турстен.— Как только пройдут рождество и Новый год, приходи к нам в клуб, расскажешь ребятам о заводах Испании. Об этом им еще никто не рассказывал.



Д Е Т И

I

«Сегодня Первое мая, Первое мая, сегодня Первое мая!» — так мы пели детьми. Других слов я не помню. А может быть, больше никаких слов и не было. Да их и не нужно было. Сегодня Первое мая. Почему дети всех рабочих и матери маленьких детей не идут огромной процессией по всему городу и не поют: «Сегодня Первое мая, Первое мая!» Мы могли бы это сделать — ведь сегодня праздник. А к тому

же мы, металлисты, бастуем. Мы и наши дети должны бы идти в первых рядах, под знаменами.

Такого Первого мая еще никогда не было. Гитлер умер, Муссолини повесили (жаль, что не повесили и Франко). Советские войска в Берлине, они освободили Варшаву, Будапешт, Бухарест и Софию, не говоря уже обо всех русских городах и многих, многих других. То, что еще недавно казалось невероятным, свершилось: демократические государства побеждают, миллионы людей по всей земле поют о свободе.

* * *

Вчера было второе мая, второе мая! Так могла бы я петь сегодня. Берлин капитулировал. Немцы в Австрии и Италии тоже сдались. Пятнадцать тысяч норвежских и датских борцов за свободу вышли из гитлеровских концентрационных лагерей и находятся теперь на свободе. Пятнадцать тысяч семей радуются. Нет, гораздо, гораздо больше.

Кажется, что в эти удивительные майские дни светится вся земля.

* * *

Сегодня три месяца как продолжается забастовка. Она началась пятого февраля. Раз бастующие продержались эти месяцы и сохранили дух единства (несмотря на всю агитацию против «радикалов»), то, несомненно, победы демократических государств придадут им мужества и приведут к еще большим успехам. Царит весеннее настроение, хотя борьба и считается «не политической».

Сегодня освобождена Дания. И Голландия. Немцы там капитулировали. Повсюду развеваются флаги, у нас тоже. Никогда еще улицы не видели такого общего ликования. Люди смеются и кричат друг другу: «Мир, мир!» Разве можно забыть день пятого мая!

Можем ли мы оставаться аполитичными? Мы ведь тоже хотим быть свободными. Смириться с тем, что Союз предпринимателей решает вопрос о нашей заработной плате и условиях труда,— это просто глупость. Ведь нас достаточно много, для того чтобы подкрепить нашу волю силой. Господа из Союза считают, что сила и право только на стороне денег и полиции.

А Гитлера больше нет.

* * *

Вчера в городе было еще больше радости и флагов. Норвегия также свободна. Германия капитулировала. Преемники Гитлера сдались на милость победителя.

Сегодня появилось первое воззвание о мире. Мировая война окончена. Идет освобождение Праги. Это восьмое мая.

Что это была за неделя! Мы даже и мечтать не смели о том великом, что произошло. Оно кажется сном.

Встречаешься с людьми на улице и не находишь слов. Но знаешь, что все думают об одном и том же. Мир! Мир всем народам земли. Хочется кричать и смеяться. Свобода! Хочется взять за руки всех ликующих людей и танцевать. Танцевать так, как еще никогда не танцевали. Мир стал совсем иным за одну неделю.

Старое не исчезло сразу. Но теперь мы знаем, что у нас есть силы побороть его. Все больше и больше людей постигают великую цель и отваживаются верить в нее.

Вчера — такое уж теперь царит настроение — три проф-организации, входящие в Союз металлистов, прислали приветствие тем, кто ведет переговоры с Союзом предпринимателей об окончании забастовки. «Мы полны решимости бороться до полной победы», — так заканчивалось их приветствие.

* * *

Неделя ликования кончилась. Снова для нас наступили будни.

Но все же это были весенние дни. И эти дни внушили людям уверенность: новое будет продолжать свой путь и изменит мир.

Если в течение многих дней ты был почти вне себя от радости, то теперь тебе в голову может прийти и другое. В памяти всплывает многое из того, что ты видел и слышал ранее. Но тогда у тебя не было времени задержать на этом свои мысли. Теперь другое дело, теперь это может лишить тебя мужества, если только ты дашь волю этим мыслям.

Я вспоминаю, как один человек во время первомайской демонстрации сказал: — Знамя будет тяжелым бременем, поверьте мне. Да! — Я возмутилась, но он только ухмыльнулся и не пожелал объяснить, что он имеет в виду. — А тебе приходилось быть знаменосцем? — спросила я. — Нет, не

приходилось,— ответил он.— Так что ж ты тогда говоришь? — сказала я.

— Надо уметь держаться в тени,— засмеялся он,— А быть знаменосцем — это слишком уж большая честь!

Я не восприняла это как личное оскорбление, но все же мне казалось, что нести красное знамя — почет для каждого рабочего. Разве это не так?

Кое-кто говорит, что я не похожа на других рабочих. Я, например, бастую, хотя у моего мужа собственная маленькая мастерская. Я не должна была бы выступать за забастовку.

Бертиль не был на демонстрации. Но это не значит, что он изменил красному знамени. Многим недостает мужества, но не ему. Во время войны он вел себя так честно и преданно, как мало кто другой.

Теперь часто приходит на память то, что мы читали в дни победы, что рассказывали беженцы и освобожденные из гитлеровских концентрационных лагерей. Вначале это казалось слишком страшным, мы были не в состоянии осознать все это. Мы предпочитали думать о тех тысячах, которые вернулись оттуда живыми. Однако потом пришлось вспомнить, что именно шведские власти выдавали несчастных, которые и попадали в эти лагеря, и невольно приходило на ум, что мы еще не созрели политически, не доросли.

Когда Норвегия была освобождена и я радовалась, что скоро мы получим весточку от Артура, я прочитала об одном иностранце, которому удалось пробраться в Швецию. Здесь-то его и настигла злая судьба. Он был антифашистом, его предупредили, и в течение нескольких месяцев он скрывался от властей. После смерти Гитлера он обратился в комиссию по делам иностранцев и узнал, что его семье тоже удалось перебраться в Швецию, но ее выдали немцам. Этого он не вынес. Слишком много ему пришлось пережить. Мертвый человек бесполезен. Но он, наверное, не мог думать ни о чем, кроме своих погибших родных и перенесенных ими перед смертью страданиях. Как больно, что мы не смогли его оградить от наших отечественных сторонников фашизма. Что-то тут неправильно. Мы так хорошо все знали, мы были, как говорится, свободны, мы так много говорили о свободе, но мы не решились выставить заслон против фашистов. Мы боялись, что сами станем таким заслоном.

Ну вот, опять мы боремся!

Конец неопределенности ожидания. Получено предложение арбитражной комиссии, которое должно положить конец забастовке. Но что думают о нас господа из арбитража? Два раза мы голосовали против проекта договора, который был более приемлем, чем это предложение, а теперь мы должны примириться?!

Важные господа из Союза предпринимателей, наверное, никогда не принимали всерьез борьбы за повышение заработной платы. Они только пожимают плечами в ответ на наши требования. Они хотят, как и раньше, чтобы вся власть была в их руках. Когда мы объявили забастовку, один старый металлист сказал, что наш конфликт может продлиться четыре-пять месяцев — уж он-то хорошо знал Союз предпринимателей!

Может быть, он прав. Но клин клином вышибают. Теперь мы имеем возможность что-то сделать для будущего.

Когда мы ведем переговоры о трудовом соглашении или затеваем конфликт, это налагает на нас такую же большую ответственность, как и свобода, за которую мы боремся. Но вот поступает «арбитражное предложение». И что же? Наше требование о повышении заработной платы урезано в нем наполовину, о равной плате за женский и мужской труд в нем нет и речи. Капиталисты хотят по-прежнему извлекать большие прибыли, пользуясь бесправным положением трудящихся женщин. Они вынуждают нас подписать документ, выгодный для эксплуататоров, и называют это соглашением. Но за нами еще остается право голосовать против!

Беда никогда не приходит одна. Утром проект договора. Вечером Уландер.

А виновата во всем весна. Вечера стали светлее. Было уже половина девятого, и если бы раньше стемнело, я бы его не увидела.

Лизу и Хильдинга удалось уложить только после того, как я дала им по бутерброду и рассказала множество сказок. Они считают себя уже большими и не хотят ложиться, пока светло. Да и вечера стали такие интересные. Они непременно хотели идти со мной встречать отца.

— Я позову бабушку, пусть она вас укладывает, — сказала я, хотя у меня и в мыслях этого не было. Они бы не

уснули и через час, если бы Бэда стала возиться с ними, а Лизе завтра в школу.

Подойдя к мастерской, я увидела высокую фигуру, тесно прижавшуюся к забору. Похоже было, что человек подсматривает в щелочку.

Я обрадовалась, что пошла в обход и увидела эту каналью. Решив проследить за ним, я остановилась за кустами. Что ему тут нужно, позади здания? Дверь ведь открыта для любого, кто приходит по честному делу. Может быть, это вор, изучающий обстановку, пока ночной сторож еще не начал свой обход. Такие гости и раньше посещали Бертиля, пытаюсь раздобыть немного металла.

Он стоял спиной ко мне; можно было бы узнать его по цилиндру, но я сообразила это гораздо позже. Только когда он обернулся, я увидела, что это Уландер, важный господин, владелец механической мастерской, член Союза предпринимателей. Я притаилась в тени, ожидая, что он пройдет мимо.

Пусть полюбопытствует! Я считала, что ему не вредно помучиться. Пусть убедится, что у Бертиля работа идет хорошо. В его собственной мастерской с пятого февраля тишина. Все восемь рабочих ушли и появлялись только в пикетах забастовщиков. Конечно, у него был мастер (сам-то он был не механиком, а дельцом), но и тот не желал болтаться без дела в пустой мастерской. Уландер теперь на своей шкуре почувствовал, что значит перегибать палку.

Когда мы пять лет назад приехали в Редбергслид, здесь и в помине не было длинного человека с длинной шеей и в цилиндре. Бертиль спокойно начал работать в своей ремонтной мастерской, не думая о конкурентах. Старая мастерская была закрыта. Он снял ее помещение через знакомых Бэды. Это было единственное помещение, которое можно было снять за сходную цену. Над дверями он повесил дощечку: «Ремонт моторов, Б. Марк». В Ульскрукене появился, наконец, человек, в котором так долго нуждались.

Ему пришлось в первый же год взять помощника, и еще одного на второй, затем мальчика-ученика, и, наконец, когда началась забастовка, у него стали работать Хельге и товарищ по партии — Эббе.

В один прекрасный день — это было осенью того года, когда немцы напали на Советский Союз — на стене бывшей картонажной фабрики появилась вывеска: «Тур Уландер, механическая мастерская». Тогда мы не придали этому значения — ведь кто угодно имеет право открыть фирму или

ваниями рабочих лидеров. Интересы общества в переживаемое нами трудное время требуют решительных мер со стороны государственных властей и объединения всех патриотически настроенных граждан против тирании красных! «Да поможет нам бог!» — так заканчивалось это благочестивое сочинение.

И другие лица писали подобные вещи, хотя не всегда так богобоязненно, и все это печаталось в хрониках и передовицах газет. В капиталистическом мире это называется «общественным мнением». Возможно, что подобные высказывания повлияли на некоторых металлистов, даже наверное на многих девушек с «Шарикоподшипника»: это было заметно по голосованию 27 марта. Тридцать две тысячи голосов было тогда подано за предложение арбитражной комиссии и сорок восемь тысяч против. В январе же было двадцать три тысячи за и шестьдесят тысяч против первого проекта. Уландер, наверное, все же был огорчен, ему хотелось бы, чтобы еще больше рабочих капитулировало после семи недель, но он, наверное, утешался тем же, чем и его собратья: общественное мнение на нашей стороне. 29 марта он сделал еще одну попытку.

Благодаря своим большим ушам Уландер смог кое-что разузнать о Бертиле, но, будучи холостяком, он не поинтересовался нами — женщинами из этого дома. Однажды он позвонил у дверей Бэды и спросил хозяина.

— Хозяйка я, — сказала Бэда. Уландер вежливо держал цилиндр в левой руке, но она сразу узнала его. Он пытался пролезть в дверь, бормоча извинения... — В чем дело? — спросила Бэда, не пуская его.

— Важное дело, — ответил он, и его маленький рот растянулся в масляную улыбку. — Очень важное.

— Кто вы такой? — спросила Бэда, обдумывая, как ей поступить.

Уландер прежде всего хотел войти. Он попытался толкнуть дверь, но Бэда крепко держала ее.

— Очень важное дело, — улыбался он. — Нам нужно поговорить наедине.

— Я не впускаю незнакомых, — сказала Бэда. Уландер уставился на нее, что-то соображая, потом зашептал: — Видите ли, мы, владельцы домов, несем ответственность за проживающих у нас жильцов. Это очень важно.

— Что вы хотите сказать? — спросила Бэда.

Он кланялся, извивался, переминался с ноги на ногу, как будто ему жали ботинки, и снова улыбался.

— Мы должны поговорить наедине, милая Фру.

Бэда сделала вид, что закрывает дверь, он заволновался и протянул руку вперед.— Моя фамилия,— сказал он,— моя фамилия...

Она подумала, что нельзя же прищемить ему руку, и чуть-чуть приоткрыла дверь.— У-У-Уландер,— пробормотал он. Но Бэда не пустила его дальше порога.— Господин Уландер, владеец механической мастерской? — громко спросила она. Он бросил взгляд вниз на лестницу и кивнул головой.— Что угодно господину Уландеру? — резко спросила она.— За действия жильцов я не отвечаю.

Он нерешительно вздохнул и посмотрел на нее умоляющим взглядом. Бэда потом рассказывала, что она и сама совершенно растерялась и только думала, как бы задержать его, пока кто-нибудь не появится на лестнице. Но никто не приходил.

— Может быть, назначим на другой день? — спросил он после долгого молчания.

— А о чем нам разговаривать в другой день? — фыркнула Бэда; чем больше она на него смотрела, тем больше злилась.

Уландер подошел к лестнице, прислушался и посмотрел вниз. Все было тихо. Тогда он вернулся к приоткрытой двери, просунул в нее голову и зашипел:— Этот жилец внизу — опасный человек. Он красный. Коммунист. Изменник родины. Это он и организовал забастовку. А сам работает и отнимает у других кусок хлеба. Если не дать ему по шапке, он переманит всех моих рабочих. Он доведет меня до сумы. Но мы, владельцы недвижимой собственности, должны держаться вместе. Фру должна отказать ему как можно скорее.

Он вошел в раж и говорил все громче, стараясь в то же время пошире открыть дверь и пролезть в дом.

— Фру сделает угодное богу дело,— шипел он.— Это очень опасный человек. Фру получит награду, когда он уедет.

Лицо в отверстии двери, похожее на морду большой крысы, все приближалось, вот-вот укусит.

— Если бы мне взглянуть на его контракт...

— Вон! — взвизгнула Бэда и чуть не плюнула в отвратительную физиономию.

Уландер быстро отскочил назад. Она захлопнула дверь и заперла на ключ.

Хорошо, что не я стояла за дверью, я бы прищемила ему нос, а то и его длинную шею!.. Да, если бы не были сейчас все заняты борьбой против нацистов, я бы подумала, что Бэда упустила удобный случай избавиться от «конкурента». Но нам было не до Уландера.

И его долго не было видно. Но через его ворота снова въезжали и уезжали грузовики. А под дощечкой с вывеской появилось короткое объявление: «Покупается лом».

Убедившись, что это Уландер стоит у забора Бертиля и заглядывает внутрь, я молча торжествовала. Все, что произошло после Первого мая, да, в сущности, и все, что происходило в течение целого года, развеяло по ветру планы реакции. Люди, подобные вот этому господину в цилиндре, спекулирующие на войне и погрязшие во лжи, попали в те самые сети, которые они расставили для других.

Я подумала, что стоит только посмотреть на его согнутую фигуру и сразу видно, как его бесит, что у коммуниста честной работы больше чем достаточно. А ему мешают высасывать соки из людей, которые вынуждены работать в его мастерской. Если бы этот незадачливый предприниматель занялся чем-нибудь полезным и разумным, вместо того чтобы обманывать других, ему не пришлось бы теперь грызть локти. Все равно дела идут не так, как ему бы хотелось.

Но вдруг я заметила, что он что-то делает у забора: не то сверлит, не то пилит очень осторожно. Теперь моя очередь проявить любопытство.

Наверное, Уландер услышал шум моих шагов по гравию, и, прежде чем я успела разглядеть, чем он занимался, он уже стоял у забора, как столб, засунув руки в карманы. А потом пошел мне навстречу. Я не испугалась, я думала только о том, как бы захватить инструмент, которым он пилил. Взглянула на его карманы. Из них ничто не выпирало, не выглядывало. Полагая, что он пройдет мимо, я смотрела в сторону, стараясь обнаружить отверстие в заборе. Но Уландер остановился передо мной и вежливенько приподнял цилиндр.

— Извините, фрёкен, — сказал он так, что я вздрогнула. — Разве мы не знакомы? — О, эта сладенькая улыбочка! У меня руки зачесались ударить его.

— Кто вы такой? — спросила я, как Бэда. Мне хотелось, чтобы он вспомнил об этом эпизоде.

— Фрёкен, очевидно, на кого-то похожа, — нашелся он. — Но это неважно. Я только хотел задать один вопрос, если разрешите...

Он надел цилиндр, но от этого не стал приятнее. Весь какой-то масляный, он изгибался, выворачивался и так близко вытянул ко мне свой нос, что я отшатнулась, однако тут же сообразила, что, если дать ему приблизиться, мне удастся ощупать его карманы.

— Не знаете ли вы, фрёкен, сколько человек работает там? — спросил он, кивнув на забор. — Я не здешний, видите ли. Фрёкен, по-видимому, известно, что идет забастовка? Да, да, забастовка в механических мастерских. А здесь работают. Даже сверхурочно, от чего рабочие обычно отказываются, потому что они красные. Они работают, чтобы сделать революцию и ухудшить положение народа еще больше. Они хотят перевернуть все вверх ногами и забрать власть над народом. Но...

— Ах вот как, — сказала я и встала рядом с ним.

Он схватил меня за руку. И, очевидно, так уж ему хотелось высказаться, что он забыл о своем вопросе и продолжал, самодовольно улыбаясь:

— Но забастовке скоро конец, фрёкен! Рабочие не посмеют сказать «нет» на последнее предложение. Это значило бы самим себе выкопать яму! Да, да, да. Они попытались получить работу на лесозаготовках, чтобы как-то продержаться, но лесовладельцы заодно с предпринимателями, это же ясно. Да и сами рабочие против забастовщиков. Только красные продолжают бастовать потому, что им платят русские. Министры не решаются их поддерживать, хотя они такие же изменники родины, как и красные. Есть еще право и порядок в старой Швеции, ха-ха-ха! Забастовщики скоро почувствуют это на своей шкуре.

Пока он болтал, я успела ощупать один его карман, но не обнаружила там ничего твердого. Теперь нужно было зайти с другой стороны. Начало темнеть, вспыхнули фонари. До забора оставалось несколько шагов. Я вырвала свою руку и пошла к забору, человек в цилиндре последовал за мной.

Ему очень хотелось выговориться, и он снова попытался схватить мою руку.

— Милая фрёкен, — сказал он и понизил голос, наклоняясь ко мне. — Сделайте мне одолжение, пойдите куда-нибудь вечером, а? Красные прячут оружие и бензин для самолетов. Если бы вы вошли в калитку...

— Войти и спросить? — сказала я, ощупывая его второй карман. Но я слишком спешила, а может пальцы у меня дрожали.

— Нет, зачем же, дружочек! — возбужденно прошептал он, но в ту же минуту схватился за карман и вздрогнул, поймав мою руку.

Он так испугался, что буквально отпрыгнул в сторону.

— В чем дело? — спросила я, еле-еле удерживаясь от смеха.

— Карманный воришка! — пробормотал он неуверенно, не то вопросительно, не то с облегчением.

— Вы носите в кармане отмычки? — спросила я.

Уландер явно не поверил своим собственным ушам. Он застыл на месте, не шевелясь, и только вертел головой, сглядываясь вокруг, точно птица.

— Нет! — выкрикнул он наконец и пустился наутек.

Ой, как он бежал! Его длинные ноги цеплялись одна за другую, длинное пальто развевалось сзади, обеими руками он держался за цилиндр, вытягивал шею, точно курица, за которой гонятся с топором. У фонаря он остановился и оглянулся на меня и на забор. Никто его не преследовал. Он мог идти, как подобает приличному господину. Большими шагами.

Бертиль, когда услышал всю эту историю, сказал, что я, вероятно, выглядела не лучше.

— Успокойся, — сказал он и обнял меня за плечи. — Ты же вся дрожишь. Сегодня вечером он больше ничего не сделает. А завтра я заткну чем-нибудь щель в заборе, в которую он смотрел. Пошли домой.

После вчерашнего вечера я совершенно раскисла. И это только оттого, что я столкнулась с Уландером! А я-то думала, что смогу с ним справиться.

Почему я так испугалась? Потому ли, что мы не привыкли к таким вещам? Любая мелочь может сбить нас с толку. Мы живем мелкими интересами, предъявляем к себе небольшие требования. Мы прозябали в оазисе мирных будней, пока люди вокруг нас боролись за жизнь, — люди, которые могли бы быть нашими товарищами.

Они прошли через тяжелые испытания, о которых мы только читаем. Так странно на расстоянии слышать о великих страданиях других, это похоже на эхо среди немых стен.

И так всегда, каждый раз. Вот и теперь то же самое. Нас пощадили, и мы бродим в спящем пространстве среди тишины. Нам приходится, конечно, трудиться, переживать мелкие огорчения, но зато мы живем в покое, отгороженные от остального мира. Мы довольны этим покоем и своей обособленностью и пугаемся всякого шума, доносящегося оттуда, где идет борьба.

Совесть у нас нечиста. Мы преувеличиваем неизвестную нам опасность, но отказываемся взглянуть ей в лицо. Мы точно смакуем свой страх и делаем себе пугало из чужих переживаний. И мы довольствуемся страхом, который испытываем за нашими немymi стенами. Я считала, что нужно покончить с этим, но теперь я убедилась, как легко меня испугать.

Вчера, когда мы вернулись домой, Бертиль сказал: — Ты думала, что Уландер — это что-то вроде немецких оборотней? Может быть, хотя мне это не приходило в голову. Если и оборотень, то мелкий.

Я боюсь того, что может произойти. Сам Уландер мне не страшен. Но кто-то следит за Бертилем. Мы ведь слышали, как нацисты всюду преследуют демократов и борцов за свободу, они не ограничиваются только подсматриванием или даже взломом.

Они могут очень повредить Бертилю. После встречи с Уландером я поняла, насколько наша мастерская стала у них поперек горла. Они считают, что самое ее существование угрожает их интересам. То обстоятельство, что работа ведется в маленьких масштабах, не делает ее в их глазах менее «красной». Они так ненавидят свободу, что даже малейшая ее искра жжет их, и они стремятся ее загасить, боясь, как бы она не превратилась в восстание против священного капитализма, их древнего бога.

Нацисты могут быть льстивы с нами, как Уландер, пока надеются использовать нас в своих целях и пока они воображают, что мы принимаем их ложь за чистую монету. Но мы видим их издали. Будь в них хоть сколько-нибудь человеческих чувств, они бы не вели себя так в оккупированных и истерзанных ими странах. И если бы я не испытывала ужаса, читая об их злодеяниях, я не была бы настоящим человеком. Мы будем начеку, господин Уландер. Бертиль, конечно, тоже больше думает о нем, чем говорит. Он научился быть бдительным, это теперь у него в крови.

«Я научу Хильдинга быть начеку», — подумала я утром, когда Лиза ушла в школу. Мы с ним пошли в мастерскую. Он так любит ходить к папе, но мастерская не место для пятилетнего малыша, и ему разрешается это только по воскресеньям. Он все рассматривает и спрашивает, спрашивает. В воскресенье у папы есть время, чтобы отвечать. Это единственные дни, когда они бывают вместе. Бертиль редко может выбрать часок, чтобы повозиться с мальчиком, и в мастерской они оба развлекаются. Хильдингу даже разрешают поиграть некоторыми инструментами.

Сначала мы зашли к сапожнику и к торговцу красками. По пути я думала о том, что не так-то легко научить Хильдинга следить за Уландером. Правильно ли будет, если я расскажу ему об Уландере? Он может испугаться «господина». Он может поделиться с другими ребятами. Прежде всего мы пройдемся вдоль забора и посмотрим, попытался ли «конкурент» побывать там еще раз. Но Хильдингу нужно объяснить, зачем мы туда пошли.

Когда мы вышли от торговца красками и направились к мастерской, перед нами по улице шли два человека — один пожилой, другой несколько помоложе. Они шли медленно, видимо, прогуливались на солнышке. Тот, что помоложе, шел, заложив руки за спину, несколько наклонясь вперед, и иногда что-то говорил прямо в ухо второму. Он был выше и худее. Время от времени он повышал голос, и тогда пожилой кивал.

Мы догоняли их, хотя тоже шли медленно. Что-то знакомое послышалось мне в этом голосе: какие-то гортанные звуки, переливы где-то в горле, какие-то крикливые нотки, когда голос слишком повышается. Не слышала ли я этого человека где-либо с трибуны? Я посмотрела на него внимательнее. Если бы он повернулся, я, может быть, узнала бы его... Но он не оборачивался. Какие у него оттопыренные уши!

И как я не догадалась, что это Уландер, не могу понять! Да, это был Уландер собственной персоной, без пальто и цилиндра в этот теплый майский день.

Я взяла Хильдинга за руку и остановилась.

Но мальчику хотелось в мастерскую, я же ему обещала! Он не понимал, почему мы остановились на улице, где нет ничего интересного. Я не могла сразу сказать ему, что высокий человек впереди шпионит за папиной мастерской и нам следует посмотреть, куда он идет. А может, обогнать их и

первыми прийти к мастерской. Вот кто с восторгом отправился бы следить за Уландером, так это Хельге.

— Мама, пойдем! — потянул меня Хильдинг.

Он замолчал, когда мы прибавили шагу, и я услышала, что говорит Уландер. Он говорил не о забастовке, — может быть, об этом уже было сказано раньше, — он говорил о рабочих. — Это болезнь времени, — утверждал он, — что рабочие имеют возможность выдвигать такие бесстыдные требования. Нужно раз и навсегда положить конец их бесчинствам, как это сделали немцы. Это единственный выход.

Старик кивнул.

Мы шли за ними, но они нас не замечали. Я пошла немного медленней, пустив Хильдинга бежать вперед: когда еще услышишь такое откровенное высказывание предпринимателя!

— У них ничего нет, кроме пары рук, — продолжал Уландер. — Им платят за то, что они делают. Но они вмешиваются во все, даже в те вещи, к которым не имеют никакого отношения. В этом вся беда. Все ресурсы в наших руках, мы руководим работами, продаем продукты, мы вкладываем деньги, у нас машины, мы делаем изобретения, мы владеем знаниями. Мы знаем законы и порядки. Мы рискуем. Мы имеем людей, которые организуют необходимые связи и улаживают наши дела. Банки нам доверяют. Мы платим иностранным агентам. Мы делаем рекламу и прессу. Все в наших руках. Если бы рабочие не упорствовали, все шло бы как по маслу. При наших возможностях мы бы переживали золотые времена.

Старик все кивал. Потом посмотрел на Уландера долгим взглядом и спросил:

— Но можно ли вкладывать деньги, пока отношения с рабочими не улажены?

— Они будут улажены, нужно только время, — поспешил ответить Уландер. — Мы нажмем на их вожаков. А потом заберем в руки и их. Время работает для денег, это вы, дядя, знаете. Скоро будет конец ограничениям, карточной системе, вот тогда мы будем делать дела. Делать большие деньги!

Это он выкрикивал на улице, в рабочем районе. Он был в восторге от того, что может громко издеваться над нами. Мною овладело острое желание подойти и подставить ему ножку, но я подумала: «Он кричит от злости, потому что дела его плохи, ему нужно занять денег у старика, нужно надуть его...»

Уландер оглянулся. В дверях лавочки, в воротах видны были люди; несколько окон, выходящих на солнечную сторону, были открыты. Заметил он и меня. Мне показалось, что вид у него очень гордый. Как же! Ведь не каждый день доводится скромному вкладчику прогуливаться и беседовать с таким большим человеком. Тут я обогнала их, Хильдинг убежал далеко вперед.

Они продолжали громко разговаривать. Мне хотелось узнать, не заговорит ли Уландер о Бертиле. Но теперь он жаловался на налоги. На государственный контроль над свободной экономической жизнью, как он выразился. Они не довольствуются крохами, эти господа, держащие в своих руках нашу экономику. Им нужна власть без всяких ограничений. Это обычные жалобы в их газетах. Они «протестуют против социализации».

Удаляясь от них, я недоумевала — неужели они пойдут дальше в том же направлении. Улица кончилась. Оставался только спуск вниз, мимо забора. Конечно, они могут прогуливаться и там в солнечный день, но какой смысл Уландеру так кружить около мастерской Бертиля?..

А какой смысл в том, что я выслеживаю Уландера? Может ли он вообще причинить Бертилю какое-нибудь зло?

«Не стали ли мы слишком подозрительны теперь, во время забастовки? — думала я. — Слишком много у нас свободного времени, вот всякая чепуха и лезет на ум. Чуть что — и выбиваешься из колеи, от любого пустяка волосы шевелиться начинают. Может быть, я слишком уж слежу за Хильдингом (он ведь может бегать и играть с другими мальчиками), и не следует учить его тому, чего он не понимает. Может быть, я без причины волнуюсь за Бертиля. Он, наверное, сам справится с этим неудачником, убивающим время на пустую болтовню и интриги».

Нужно время и терпение, чтобы убедить самое себя. Но передо мной бежал Хильдинг, а сзади шли дельцы. У мальчика терпения не было. Ему хотелось скорее в мастерскую, однако он помнил, что ему не разрешают бегать туда одному.

— Мама, иди же! — крикнул он, добежав до угла и остановившись. «Теперь Бертиль догадается, что я здесь и наблюдаю», — подумала я и покраснела от смущения. Но, обернувшись, я увидела, что Уландер идет за мной. Он был один.

При желании я могла бы здорово напугать его. Он, наверное, не узнал меня. В тот раз на мне были плащ и берет, теперь я была в костюме. Но мне так хотелось посмотреть, что

он будет делать, если ему не мешать. Не известно еще, видел ли он меня. Он медленно спускался вниз и упорно поглядывал через забор.

Мы остановились за углом.— Тихо,— шепнула я Хильдингу,— этот человек шпионит за папой!

Мальчик поглядел на меня большими глазами. Но он не испугался. Он молчал, прислушивался и с волнением смотрел на меня. Мы услышали шаги, они приближались, но вдруг затихли. Тогда Хильдинг на цыпочках подошел к забору и выглянул за угол.— Что он делает? — шепнул он.— Смотри, мама, смотри!

Я подошла. В руке у Уландера был сантиметр. Он мерил высоту забора. Потом присел и стал тыкать палкой в землю.

Я спряталась.— Вымеряет,— прошептала я Хильдингу.— Зачем он это делает? — спросил он.— Не знаю,— ответила я.— Мы будем следить, чтобы он не сделал ничего плохого папе.— Да,— сказал Хильдинг и опять высунул голову.

Но тут же он обернулся ко мне, весь съежившись и широко раскрыв рот. Глаза его блестели.— Он хотел встать и шлепнулся на задницу,— сказал он. Мальчика душил смех, он даже забыл, что надо говорить шепотом.— Честное слово, мама.

Я не удержалась и посмотрела. Да, Уландер стоял на четвереньках. Он неуклюже поднялся и стал счищать с себя грязь. Оглянувшись, он увидел нас и стал подниматься по лестнице.

— Мы его спугнули, мама? — спросил Хильдинг; когда я кивнула, он запрыгал и захлопал в ладоши.

Кажется, что весь мир просидел пять лет в германских тюрьмах. Сколько событий в этом мае! Оживает все, что поджигатели войны стремились задушить. Заключение возвращаются и пишут о пережитом в газетах. Отовсюду прибывают беженцы. Все больше и больше узнают люди о том, что происходило в долгие годы затемнения. Молчавшие ранее начинают выступать с критикой, возмущаются замалчиванием правды. Организуются собрания в защиту мира, на них собираются массы народа; много собраний, хотя обычно в это время года на собрания не ходят. Но ведь мы жили, как рыбы в озере под толстым слоем льда.

А мы, металлисты, проводим еще и наши забастовочные собрания. И какие хорошие собрания! Важные господа из

Союза предпринимателей считали, конечно, что они разобьют нас своим арбитражным предложением. А оказалось наоборот. Прошло почти четыре месяца, а на собраниях говорят только о том, чтобы держаться и держаться вместе. Мы голосуем против предложения. Иначе мы не добьемся осуществления наших требований: равной заработной платы, ликвидации потогонной системы; не добьемся и половины того повышения почасовой оплаты, которого мы требовали, а получим хитро составленную сдельщину, снижающую наши заработки! Важные господа из Союза предпринимателей рассчитывают, что у нас задрожат поджилки, если нас не поддержат «нейтральное» правительство и «современный» Совет профсоюзов, но их планы осуждены на провал. А когда высокооплачиваемые социал-демократические бонзы бывают не «нейтральными» и не «современными»? Мы их в расчет не берем. Нам не нужно говорить друг другу: «Вспомни Сталинград! Подумай, против чего выстояли русские рабочие и как долго они держались!»

Мы помним Сталинград.

Самое лучшее — это наши забастовочные вечера. Это настоящие праздники. И всю программу исполняют сами рабочие.

Вдвойне весело оттого, что и готовят вечер и выступают на нем товарищи. Мы сами тоже кое-что умеем. Борьба создает приподнятое настроение. Хорошо, что мы предоставлены самим себе. Тут-то и выявляются способности. Кто знал, что на «Шарикоподшипнике» есть люди, которые с успехом могут выступать на сцене? Обычно на предприятии есть один-два человека, которые увлекаются театром, так называемые любители. И вот думаешь: «Почему же нам самим не устраивать такие вечера?» Мы могли бы тогда проводить время в клубе, вместо того чтобы посещать дорогие увеселительные заведения.

Мы, наверное, многое упустили. Мы верили больше в других, чем в самих себя, — вот в чем беда. Товарищи на заводах, молодежь должны были показать, на что они способны, и учиться большому. И всем от этого была бы только польза. Нас много, вполне достаточно, чтобы справиться с таким делом, лишь бы начать.

Нам следовало бы проводить собрания в защиту мира и тогда, когда вопрос о мире не стоял на повестке дня. Ведь

есть же люди, которые не интересуются танцами и пенисем. Они с удовольствием посещают серьезные собрания, а при таком настроении, какое царит сейчас, эти серьезные собрания превращаются в радостные весенние праздники. Но нам следовало проводить такие же большие собрания и тогда, когда было опасно выступать против войны, когда борьба за мир не была еще «актуальна». Пробудить общественное мнение важнее, чем его использовать. А когда ветер меняется, флюгер сам поворачивается.

Мы проголосовали «против»!

В третий раз мы голосовали против арбитражного предложения. Что это за арбитраж и что это за предложение? — позвольте спросить. Счетчикам и невдомек, что прежде всего нужно считаться с людьми.

На этот раз «против» было подано больше голосов, чем раньше. 60 519 «против» и только 18 304 «за». В марте было тридцать две тысячи «за» и сорок шесть тысяч «против». В январе почти столько же «против», сколько и теперь, но двадцать три тысячи «за».

Переговоры снова прервались. Позорное предложение говорит о том, что их никак не переводят на реальную почву. Представители Союза предпринимателей живут приятными мечтами о том, что в мире все обстоит по-прежнему. Даже много времени спустя после падения Берлина они про себя думали: «Фюрер не мог умереть, всевышний поможет нам против коммунистов, слава и хвала ему!»

Мы можем сказать, как говорили норвежцы о немцах: «Им никогда не согнуть нас!»

* * *

Пятый месяц продолжается забастовка.

Буржуазные газеты наперебой бранятся и ворчат, но не могут, конечно, обойтись без лицемерия и лжи. Больше всего их заботит «экономика страны», а вернее сказать — власть и прибыли предпринимателей. Они по-прежнему как будто не понимают, что безудержная и безответственная жадность предпринимателей, которые отказываются удовлетворительно оплачивать выполненную работу, — это как раз проявление их заботы об экономике страны. Они сваливают все на классовую борьбу рабочих, в то время как причина борьбы —

жажда власти и прибылей у их хозяев. Интеллигенция и за сто лет не научилась это понимать. Буржуазная интеллигенция странно устроена. Не имея права самостоятельно мыслить, она твердит о своей свободе. Точь-в-точь как перед началом борьбы против фашизма и диктаторов.

Мы, поборники коллективности, по крайней мере свободны в том отношении, что можем иметь свое мнение о политике. Нас не увольняют, когда мы высказываемся против мнения начальства. Но за эту свободу мы дорого платим: длинный рабочий день, низкая заработная плата, тяжелый труд,— и все для того, чтобы «экономика» процветала. В прошлом году прибыли СКФ составили свыше семнадцати миллионов крон. Нет ничего удивительного в том, что акционеры благословляют и войну, и существующий общественный порядок и что забастовка приводит их в ярость. Подумать только — рабочие бастуют, вместо того чтобы дать им еще семнадцать миллионов прибыли!

Мы не делаем революции. Во время забастовки соблюдается полный порядок: штрейкбрехеров ведь нет. Эта борьба сплачивает нас. Ведь большинству рабочих никогда еще не приходилось участвовать в подобном испытании наших общих сил, и многие раньше считали, что не следует доводить дело до конфликта, что можно договориться с предпринимателями, которые в наше время так умны и так склонны идти на переговоры. Теперь они по-другому запели.

— Неужели никогда не будет иначе! — восклицают девушки, раньше нисколько не интересовавшиеся политикой. Но кое-кто, как Ида и Ракель, сдает позиции. Во время забастовки они устроились на работу в конторе, работу нетрудную, не требующую большого напряжения сил. Они получают в час больше, чем могли бы заработать при самой высокой сдельной оплате по тому предложению, против которого мы голосовали. Они были лучшими работницами в своем цехе. Теперь другие хозяева извлекают выгоду из их точной и ловкой работы.

Нелегко сидеть сложа руки — и не только недели, но и целые месяцы. Нам, замужним женщинам, всегда есть чем заняться, в особенности теперь, в период карточной системы и забастовки, когда приходится всячески экономить и изворачиваться. Но теперь уходит больше времени, чем раньше, — готовить, штопать, чинить, перешивать, выискивать какую-то замену вещам, которые достать невозможно. Люди нервничают, не зная, как свести концы с концами. Жалуются. Муж-

чины ищут к чему бы приложить руки. Одни взялись за лесные работы, хотя это плохо оплачивается, другие живут случайным заработком. Но теперь, летом, они стремятся надыхаться свежим воздухом, в особенности молодежь. Потом, когда они начнут работать в мастерских, воздух и солнце будут самым дорогим товаром, выдаваемым скудными порциями.

Мало кто надеялся, что сможет продержаться так долго. Шутка ли? Жить на пособие с зимы до лета, тосковать по работе, ждать, когда наступят светлые времена, — и смотреть, как пустеет касса. Читать в газетах всякие глупости о бастующих, лежать по ночам без сна. Кое-кто шутит: нужно, мол, стиснуть зубы, если только они есть. Металлисты могут еще смеяться. Во всяком случае, металлисты Гетеборга. Но это не так легко, как кажется.

Они и стискивают зубы и смеются одновременно. Многие кажутся мрачными, но их ничего не стоит развеселить. У них много досуга, и они сочиняют шутки. «Это не забастовка металлистов, — говорят они, — а забастовка предпринимателей. Они же не хотят платить». — «Если бы хозяева так же хотели работать, как мы, забастовка давно бы кончилась», — говорят другие.

У нас есть время учиться новой технике, технике единства. Сплотиться в борьбе и в быту. Чем дальше, тем единство крепче. «Когда мы помогаем друг другу, дела идут», — говорят те самые люди, которые вначале плакались. А мы — это товарищи и по работе, и дома. Они узнали, что такое единство. Без поддержки других профсоюзов касса опустела бы. Широкая солидарность — это крепкая почва под ногами. И дело тут не только в деньгах. Когда сборы в помощь семьям бастующих идут хорошо, то думаешь и о том, как много неизвестных людей оказали нам эту помощь. Ведь и заметки в газете о результатах сборов — это тоже помощь. Помощь, придающая нам мужество и терпение.

Но с некоторыми товарищами приходится трудно. Они не бывают на собраниях забастовщиков. Не нравятся им и наши вечера. Они молчат и держатся обособленно. Я сама была одинока и знаю, что это такое. Но как им помочь?

В борьбе нужно быть в ладу с самим собой, и все же иногда в душу закрадывается ощущение собственной никчемности, отверженности. Человек привык работать. Жизнь — это труд. Когда не работаешь, все кажется таким неустойчивым. Жажда заняться делом становится мучительной. Смотришь на руки: они какие-то чужие, вялые. Можно ли про-

кормить себя руками, которые скоро ни на что не будут годны?.. Одинокiй человек пугается собственного отражения в зеркале. А потом начинает бояться других людей. Или своих воспоминаний. Так ведь можно с головой увязнуть в своем прошлом.

Воспоминания должны только помочь человеку уяснить, что он находится в пути. Они должны быть похожи на хорошие книги. Читая их, ты видишь, что они полезные, замечательные, благодаря им ты начинаешь лучше узнавать себя, свои трудности. А когда дочитаешь, убеждаешься, что знаешь гораздо больше, чем раньше.

Иногда мне не хватает товарищей или работы, я чувствую себя одинокой и бесполезной, и тогда я удивляюсь, что Лиза и Хильдинг так радуются тому, что я дома. Они не отходят от меня. Я рассказываю им о бабушке и дедушке, о том, что мы делали в Майурне, в другом конце города, когда были маленькими. Дети садятся поближе ко мне, не спускают с меня глаз. Они никогда не слышали так много о бабушке, как теперь, во время забастовки. А я сейчас особенно ясно вижу перед собой отца, вспоминаю и долгую забастовку на верфях. Он вложил всю свою жизнь в борьбу за свободу и за нас.

Утром мы с Бэдой пошли на рынок и взяли с собой Хильдинга. Он помогает нести покупки, как взрослый мужчина, хотя он еще такой маленький! Зато потом он пойдет вместе с нами в кафе, а для него это самое большое развлечение. Кроме того, ведь всюду так много интересного — в крытой части рынка, на площади и во всех маленьких переулках, не говоря уже о крепостном рве, и мальчик смотрит во все глаза. Небольшую передышку он получил, только когда мы пришли на Королевскую площадь; ему нужно так много рассказать и о стольком спросить, пока мы пьем кофе.

Когда мы вернулись домой, он снова убежал на улицу. Ему не терпелось рассказать товарищам обо всем, что он видел в городе. Лиза пришла из школы, но она плохой слушатель. Она всегда слишком критически относилась к его историям. Она была старше, ходила в школу и считала своим долгом поучать младшего братишку.

Хильдинг долго не возвращался, но нам было не до него. Мы поднялись в кухню к Бэде и готовили кушанья на воскресенье. Мы собирались на шхеры — обе семьи и Хельге с

товарищам — на весь день. Янне купил себе парусную лодку, о которой мечтал много лет, и мы думали половить рыбу, позагорать на скалах. Мы варили, пекли, жарили, упаковывали посуду и все необходимое. Даже лучше, что мальчика не было дома: нас не отрывали от дела споры между Лизой и Хильдингом. Он, конечно, захотел бы помочь нам. Лиза летала взад и вперед, легкая, как птичка, и кружилась от восторга каждый раз, когда ее просили принести какую-нибудь банку и уложить продукты. Она щебетала, не закрывая рта, как будто получала сдельно за свое щебетанье.

Но вдруг мы услышали голос Хильдинга.

— Мама! — закричал он далеко внизу, на лестнице. — Мама, где ты?

Бэда быстро отворила дверь и крикнула: — Мама здесь, дружок, в чем дело?

Он, задыхаясь, взбежал по ступенькам и закричал так, что крик прокатился по всей лестнице.

— Мама!

— Что ты шумишь? — задорно сказала Лиза. — С тобой же ничего не случилось.

Но Хильдинг и не взглянул на нее. Он посмотрел на меня, сделал несколько шагов по кухне и остановился.

— Мама, я видел человека, который измерял!..

— Где ты его видел? — спросила я.

— В Багарегорне. В парке, где мы играли. На нем была шляпа. «Убирайтесь!» — сказал он нам. А мы закричали: «Убирайся сам!» — «Чертовы сопляки!» — сказал другой. Но все-таки они ушли. Тогда я подумал, что нам надо посмотреть, куда они идут. Так мы и сделали. Но они нас не видели. Мы крались, как индейцы, честное слово!

— Куда же они пошли? — спросила Бэда.

— В парк.

— А что они там делали? — спросила я.

— Они сели на скамейку.

— Ну и что? — засмеялась Лиза. — Подумаешь, сели на скамейку!

— Но они же сели, — возразил Хильдинг.

— А другой был старый человек? — спросила я.

— Противный старик, — сказал Хильдинг.

— Раньше Багарегорн был прибежищем для бродяг, — сказала Бэда. — Может быть, они там ютятся и до сих пор. По-моему, вам не следует там играть. Как ты думаешь, Элин?

— А что делают бродяги? — спросил Хильдинг.

— Что делают? — Бэда посмотрела на меня.— Бродяги — это такие люди, которые никогда ничего не делают. Бродяжничают, понимаешь, ходят себе по дорогам, пьют водку и нюхают табак. Тем и живут.

Мальчик посмотрел на бабушку большими глазами.

— А разве можно прожить табаком? — спросил он.

— Нет, конечно! — засмеялась Бэда.— Во всяком случае, они живут не так, как другие люди. Они побираются и, может быть, не голодают. А вот мы едем за город только на воскресенье, и нам нужно много еды с собой.

— Мы поедем на шхеры, — поправил ее Хильдинг.— Да, мама?

— Если ты будешь бегать за бродягами, тебя не возьмут, — сказала Лиза.

Но это было уж слишком, он сжал кулачки, собираясь броситься на нее.

— Мама! — закричала Лиза, и я вынуждена была вмешаться.

— Хорошо, что ты видел этого старика, — прошептала я Хильдингу на ушко и обняла его свободной рукой.

Бертиль работал до позднего вечера даже по субботам. Но в эту субботу у нас было столько дел, что я даже не заметила его отсутствия. Только когда я уложила детей и уселась почитать газету, во мне зашевелилась тревога, а может, тоска, и я не могла прочесть ни строчки.

Пришел Янне, спросил о Бертиле, и мы решили сходить в мастерскую.

— Что он там делает в это время? — удивился Янне, когда мы подошли к мастерской.

Калитка была заперта. Из-за забора поднимался дым, как будто там жгли что-то.

— Может быть, он ушел? — спросила я.— Нет, он не оставил бы ничего горящего.

Наконец Бертиль открыл нам. Он был весь в саже.

— Ты зажег субботний костер? — засмеялся Янне.

— Да, это был бы костер! — ответил Бертиль.— Горел бы и в субботу и в воскресенье.

Пожар был уже потушен, но угольки упрямо тлели еще в золе на земле. Вокруг валялись доски, черные, мокрые, на них горели пятна нефти, от сожженного мусора поднимался

тяжелый запах. Бертилю пришлось поработать, пока он не загасил этот костер. Лицо у него было черное и лоснилось от пота.

— Хорошо, что я был еще здесь,— сказал он.— Если бы я ушел раньше, как намеревался, многое бы сгорело.

Загорелась куча старого лома, ящиков, бумаги, может быть, тряпок и старых красок. Пылало так, что светло стало. От жара могли заняться и забор, и сама мастерская.

— Но мусор же не мог загореться сам по себе? — спросила я.

— Мусор, нефть и жара — этого достаточно,— сказал Янне.

— Нет времени навести порядок — вот беда,— признался Бертиль.

— Что же у других-то не случается.

— Это уж как повезет,— сказал Янне.— Попадет солнце на кусочек стекла, и вот вокруг начинает дымиться. Если, конечно, нет дождя.

Я взяла палку и помешала в золе, там лежали гвозди, кусочки жести, банки из-под краски, всякое тряпье.

— Побереги ботинки,— сказал Бертиль.— Они могут загореться. Что ты ищешь?

— Кусочек стекла.

Я продолжала копать в золе. Бертиль и Янне тушили огонь вокруг меня.

— Ты заперся,— сказала я.— А если бы с тобой что-нибудь случилось, пока ты тушил?

— Некогда было об этом думать. Хельге ушел и запер. Ведь сегодня суббота, и я не хотел никого впускать, а то сюда все ломился пьяный человек по кличке «Пять часов», хотел порыться в ломе. Два раза приходил.

— От Уландера?

— Уландера? Нет. Он ничего об этом не говорил.

— Разве не мог Уландер его послать? Может быть, он был не так пьян, чтобы сказать тебе об этом?

Бертиль и Янне продолжали затаптывать угли и мелкие язычки пламени. Никто из них не ответил. Я тоже не стала продолжать разговор. Убедившись, что нигде больше не дымится, мы пошли домой.

Беда была совершенно вне себя, когда услышала о пожаре. Напрасно Янне твердил, что все обошлось благополучно, наоборот, все, что представляло опасность, сгорело. Но она не успокаивалась.

— А что завтра? — спрашивала она. — Можем ли мы уехать на шхеры?

— Лучше всего поменьше говорить об этом, — сказал Бертиль. — Я жег мусор.

— Ты же не получишь страховки?

— Горело на дворе, где ничто не застраховано.

— Хорошо хоть этого не увидел какой-нибудь полицейский, — сказала Бэда. — Жечь что-либо во дворах запрещено. — На некоторое время она успокоилась. Но потом снова заволновалась. По-видимому, настроение у нее было испорчено на весь вечер. Бертиль очень тихо сказал, что ему придется в воскресенье остаться дома: ему нельзя далеко отлучаться от мастерской, если день будет жаркий. Тогда Бэда потребовала, чтобы мы все отложили воскресную прогулку. У нее не будет ни минуты покоя, если Бертиль останется здесь один: вдруг снова начнется пожар.

— Мы не можем огорчать детей, — сказала я.

— Бэда, дорогая, — улыбнулся Янне. — Будешь ли ты сидеть дома или в лодке, — толк один, ты ничем помочь не сможешь.

Бэда встала. Она растерянно разглаживала рукой фартук, уставившись на Янне. Ей очень хотелось ответить ему, но она не знала как. Мне показалось, что она покраснела. Она взглянула на Бертиля, потом на меня.

— Нет, мы не можем огорчить Хильдинга и Лизу, — сказала она. — Не можем. А тебе обязательно нужно сторожить мастерскую, Бертиль?

— Нужно? Нет, но если меня не будет, может что-нибудь случиться. Лучше быть начеку.

— Все-таки жаль, — задумчиво сказал Янне.

— Ну вот, а меня не хотел поддержать, — засмеялась Бэда и обняла его за шею. — Я научу тебя, как со мной обращаться, противный такой! Разве дома я только и знаю, что сидеть сложа руки?

Он притянул ее к себе на колени и прошептал:

— Неужели ты не будешь спокойна, сидя рядом со мной?

— Ах вот чего тебе хочется, муженек! Да, я буду сидеть около тебя и держать тебя за руку, когда ты будешь править.

— Пожалуйста. По крайней мере познакомишься поближе с морем.

— Ах, наконец-то я увижу тебя в лодке! — воскликнула Бэда, словно все тревоги были уже забыты. — А теперь все в постель! Нам в восемь вставать!

Ей очень хочется командовать нами. Она, как мать, для нас всех. Наверное, она слишком мало была матерью. А быть только бабушкой и отказаться от всяких забот — это не для нее. Хорошо еще, что она такая добрая, не раздражается. Бертиль вряд ли улыбается провести с ней целый день в лодке, смотреть, как она кокетничает с Янне, да еще в купальном костюме, если будет жарко.

Я не пыталась уговорить его. Ему не меньше, чем другим, было бы полезно провести день на шхерах — покупаться и позагорать на скалах. Но будут же еще хорошие воскресенья. Он прав: мастерскую нельзя оставлять без присмотра.

— Быть может, все-таки это штучки Уландера? — спросила я.

— Я все думаю, как это могло произойти. Этот «Пять часов» ничего не понимает в ломе.

И он засмеялся. Если бы мы могли вдвоем провести воскресенье, ни о чем не тревожась! Нам было бы так чудесно, как будто никаких уландеров и на свете нет.

* * *

Вот что значит быть слишком женщиной!

Мы вернулись домой вечером, проведя чудесный летний день в лодке. Дети чувствовали себя прекрасно, они играли и в воде и на земле. Все были довольны. Только мне не доставало Бертиля, и я все думала, каково-то ему одному. Я сама чувствовала себя одинокой, хотя со мной были мои дети и хотя полная счастья ночь пела в моем теле и в моей душе. А может быть, поэтому я так и тосковала по нем. Может быть, поэтому-то мы и вернулись раньше назначенного срока.

И вот я стою лицом к лицу с незнакомой женщиной в моем доме.

А я-то думала, что я уже успокоилась... Никто не успел вымолвить и слова, а мне показалось, что мой муж и эта женщина застигнуты врасплох. Ах, вот почему ему нужно было остаться дома! Меня как будто ударили в самое сердце; было так больно, что я уже не соображала — стою ли я еще или упала, хотела крикнуть и не могла.

Я рада, что ни одно слово не сорвалось с моего языка.

Я отвернулась. Бертиль мог бы поторопиться с объяснением. Но он всегда такой медлительный. Начала она.

— Это, по-видимому, Элин, — сказала она, — он так много о тебе говорил. — Она сказала это, как самую обыч-

ную вещь, как говорят с товарищем, на губах ее не было и тени улыбки.

Я ничего не понимала и таращила на нее глаза. И вдруг поняла, что она говорит по-норвежски. Мое сердце забилось, я сразу же вспомнила Артура.

Наконец-то и Бертиль открыл рот: — Это жена Артура.

Оба были так серьезны, что я подумала: она приехала с печальной вестью, немцы его убили. Мне казалось, что на лице ее написано уныние, тревога. Но, несмотря на тяжелое предчувствие, горячая волна поднялась у меня к сердцу. Я бросилась к ней, мы обнялись и крепко прижались друг к другу в радостном порыве. На ее лице появилась бледная улыбка.

— Мы ничего не знали. Как тебя зовут?

— Гури, Гури Брандволл.

— Она приехала из Германии, — сказал Бертиль.

«Почему же Артур ничего не написал?» — подумала я, продолжая смотреть на Гури. Может быть, она подумала о том же. Улыбка исчезла. Я держала ее руки в своих. Она была спокойнее меня.

— Дорогая Гури, — прошептала я, стараясь овладеть собой. — Оставайся у нас, мы ему напишем.

— Бертиль дал ему телеграмму, — сказала она.

Мне стало стыдно за себя, за свои подозрения. Я посмотрела на Бертиля. Мне хотелось поблагодарить его, на коленях просить у него прощенья. Я никому не сделала зла, кроме себя самой, но моя всегдашняя порывистость чуть было не наделала беды.

Он кивнул мне. Он не понял, что я хотела сказать, но, может быть, когда-нибудь я расскажу ему об этом.

Бэда немного боялась гостии, скорее того непонятного, что вошло в дом вместе с ней из концентрационного лагеря, где она была среди других осужденных на смерть женщин. Янне рано ушел наверх; она помогла мне уложить детей и убрала со стола. Потом пожелала спокойной ночи. И дети и старики устали за целый день.

Гури была чужой, ее присутствие вселяло в окружающих тревогу. В течение трех лет она боролась в рядах норвежских борцов движения сопротивления. Она училась в университете; ей было всего двадцать лет, когда она стала распространять нелегальные газеты. В сентябре прошлого года

ее арестовали и вскоре отправили в немецкий лагерь. За полгода до этого она стала женой Артура. Он не был коммунистом, как она, но он был шведским подданным, и немцы следили за ним. Они познакомились в подполье. В Германии Гури пробыла шесть месяцев в лагере вместе с украинскими, венгерскими, румынскими, польскими, итальянскими, французскими и бельгийскими женщинами. Эти месяцы были долгими годами кошмара среди несчастных женщин, охваченных мучительным страхом смерти. Тяжелее всего было видеть заключенных француженок и полек. Украинки были выносливее других и помогали остальным не терять мужества. Гури заболела, ей казалось, что она уже не выздоровеет, она потеряла всякую надежду. Когда первая партия норвежских и датских заключенных отправлялась в Швецию, ее не взяли. Она прибыла сюда позже с группой товарищей по несчастью и некоторое время лежала в карантине. Вспомнив мой адрес, она добралась до нас. Если бы ей в свое время удалось перейти границу, она бы искала убежища именно здесь.

Мы долго сидели за столом. Далеко за полночь. Сколько раз мы ужинали за этим столом с товарищами, чаще всего, когда в городе проводились партийные конференции и ищейки реакции выслеживали коммунистов, но этот ужин был самым удивительным.

Иногда казалось, что Гури вот-вот упадет.

Я посоветовала ей лечь, она ведь устала с дороги, но она не хотела. И снова начинала есть. Ей казалось, что она ест очень много, но на самом деле это было так мало.

— К приезду Артура я не буду ходить на тень, — сказала она. Мы мазали ей мармеладом или маргарином маленькие кусочки хлеба, и она ела. Я снова заваривала чай, а она рассказывала о Германии, но тоже как будто маленькими кусочками. А иногда мы начинали говорить о том, что нужно сделать после войны.

— Ты такая же хорошая, как и он, — сказала она, глядя на меня в упор. — Элин — красивое имя. Такое благозвучное.

Казалось, что она мне ровесница, но ей было всего двадцать четыре года. Она примерно одного роста со мной, у нее черные волосы, очень белое лицо, высокий лоб, прямой нос, тонкие прямые брови.

Мы все время сидели за столом. Она не курила. Пила только чай.

— С тех пор как я покинула Норвегию, я не пила такого хорошего чаю,— сказала она.— Это почти как дома.

Только иногда у Гури слегка вздрагивали губы. Подолгу она сидела молча, и вид у нее при этом был какой-то безнадежный. Ела она медленно, как будто ей трудно было глотать. Я подумала: «Она так устала от всего пережитого, что живет, как во сне. Наверное, ей страшно остаться одной, поэтому она не хочет ложиться спать, она боится бессоницы или страшных снов».

— Артур и Гури,— разве это плохо звучит? — улыбнулась она.— Я жду Артура.

Я думала, она шутит, но она тут же спросила:

— Ночью сюда приносят телеграммы?

Бертилю нужно было рано вставать. Он ушел и взял с собой будильник. Гури и я остались за столом.

— У тебя никогда не было выкидыша? — спросила она.— У меня был. После этого становишься такой странной. Мы ведь работали, как звери. Когда я от усталости не могла заснуть, мне чудилось, что они убивают Артура. Каждый раз, когда я слышала крики, мне казалось, что кричит Артур. Но я видела, как он портил их машины. Это знала только я. От меня они бы никогда об этом не узнали. Поэтому я не могла плакать. Я собиралась стать механиком, как и он. И работать на его месте.

К концу ночи Гури стала более откровенна, рассказывала все больше и больше, но как-то отрывочно. Иногда она пугала меня, глядя на меня в упор и шепча что-то бессвязно и путанно, как мне казалось. Но в следующую же минуту она начинала говорить об Артуре таким надрывным прерывающимся голосом, как будто из груди ее рвался крик. Наконец я уже не могла больше слушать, я села рядом с ней на диване и взяла ее руку. И она вдруг затихла, посмотрела на меня, совсем как ребенок, и снова прошептала:

— Ты такая же хорошая, как он, Элин.

Она не была уже более чужой женщиной, прибывшей издалека, из мира страданий, смерти, жестокости. Мы были как две сестры, видевшиеся в последний раз до войны.

«Сделали ли мы здесь, у себя, все, что могли?» — думала я позже, лежа без сна. Мы накладывали пластыри и старательно лечили свои мелкие царапины. Нам жилось так хорошо, что мы перестали переносить даже малейшие толчки. Мы так бережем себя, что довольствуемся малым в своей борьбе. И сомневаемся, стоит ли делать что-то большее.

О чем я могла рассказать ей? О забастовке? Слишком уж это было обыкновенно. Чем объяснить, что мы не ставим себе больших целей? Нас заставляют пригнуться к земле, в особенности женщин, и мы покорно миримся с этим. Мы ведь слишком робки, чтобы чего-нибудь желать.

Я почувствовала, что она устала. Она прислонилась ко мне, и голова ее опустилась на мое плечо.

Я же не могла спать. За окном было светло. Настало утро. Я сидела неподвижно, боясь потревожить сон Гури, как если бы мне поручили хранить драгоценность. Когда Бертиль проснулся, ему пришлось самому приготовить себе завтрак. Я слышала, как ушел Янне. Пришла Бэда и помогла мне раздеть Гури, уложить ее в мою постель. Она чуть-чуть застонала, но не проснулась.

Мы обе спали, когда пришла телеграмма от Артура.

— Калле! Калле! Ах, этот Калле! — пела моя душа, когда я прочла в газете о требованиях рабочих телефонного завода. Вот как нужно рабочим выдвигать свои требования! Я слышала голос Калле в этой статье. «Убрать сторонников нацистов из государственных и муниципальных органов! Это наш долг перед товарищами, отдавшими свою жизнь в борьбе с нацизмом. Шведские пронацистские организации должны быть запрещены, а их печатные издания конфискованы.

Начинайте действовать — и немедленно!»

Если бы только Калле дали возможность выступить за это, то все отделения всех профсоюзов послали бы правительству такие резолюции... Но здесь боятся дать «радикалам» возможность говорить! А то, пожалуй, зачесались бы зады у тех, что сидят в министерских креслах и склоняют головы перед старым королем и его реакционными друзьями.

Они заставляют полицию преследовать антифашистов, которые помогали норвежскому и датскому народу еще до поражения Гитлера, и покровительствуют чиновникам, работавшим на руку немцам. Все обстоит по-прежнему. Удалить все пронацистские элементы, подрывающие основы демократии, они не решаются — это отпугнуло бы избирателей, необходимых «рабочему правительству» для того, чтобы иметь что противопоставить социалистически настроенным рабочим.

Калле прав. Мы, не имеющие власти, можем принести пользу критикой. И можем и должны. Многим известно то же, что и нам, они думают так же, но лишь пожимают плечами. По-прежнему лишь пожимают плечами, хотя и знают о наступлении нового. Может быть, не столько от страха, сколько из скромности? Но почему же они позволяют нескромным властвовать, делать все по-своему и превращать черное в белое? Почему, почему?.. Мы спрашиваем, потому что задавать вопросы — это как раз то малое, что в наших силах.

В моих силах помочь Гури, и на это уходит почти целый день. Она не хочет выходить из дому. Она ждет, что Артур появится еще до субботы так же неожиданно, как его телеграмма. Теперь, когда она знает, что он жив, она стала спокойнее. Но кажется, что она живет не здесь, а то в Норвегии, в гуще борьбы, то в лагере. Рассказывая о своих товарищах, она вдруг настораживается, как будто услышала свои собственные слова и испугалась их. Она пишет Артуру каждый день, но прячет письма.

Лучше всего, когда мы одни.

Мы играем в заговорщиков. — Если бы полиция Мэллера прознала, что здесь норвежская коммунистка беседует со шведской, немедленно примчались бы ищейки и вставили подслушивающий аппарат в замочную скважину, — говорю я, и Гури заливается смехом. Она смотрит на дверь и спрашивает:

— Кто этот Мэллер? — Она не знает никого из шведских знаменитостей, за исключением Торгни Сэгерстедта, и я рассказываю ей о наших прекрасных демократах, которые стали еще прекраснее, получив датские и норвежские медали борцов за свободу, хотя датским и норвежским борцам сопротивления досталось меньше, чем испанцам или русским. И мы хохочем. — Так будет и у нас в Норвегии, — говорит она. — Но мы не позволим военным спекулянтам остаться на свободе. — А можете вы справиться с политическими спекулянтами тоже? — спрашиваю я. — С теми, кто держит курс на Англию и Америку? — Спросим Артура, — отвечает она.

С любопытством, но молча она разглядывает детей, они тоже не спускают с нее глаз. Наверное, она слишком молода, чтобы разговаривать с ними. Ни братьев, ни сестер у нее нет. Впрочем, днем дети обычно на улице.

— Мне бы хотелось посмотреть, какой я была в лизинном возрасте, — сказала она как-то. — Она не похожа на норвежских девочек. По-моему, норвежские девушки очаровательны, но тебе они, может быть, и не понравились бы. Не могу понять, почему Артур женился на мне. Он типичный швед.

— А разве есть какая-нибудь разница между шведами и норвежцами? — засмеялась я.

— О, конечно, есть, — сказала она задумчиво.

— Значит, ему норвежки больше нравятся!

Она улыбнулась:

— Ты так добра, Элин. Но как только он придет, мы уедем домой.

Забастовка, несомненно, вступила в решающую фазу! Теперь Гури больше не рассказывает. Она сидит и слушает, как будто и не думает ни о чем, кроме нашей забастовки, она кивает головой, задает вопросы. Да, здесь тоже идет борьба.

Владельцы заводов хотят, чтобы мы снова приступили к работе. Это после того, как они оглянулись назад, а затем попытались заглянуть месяца на два вперед, — чуть дальше собственного носа.

Вероятно, банки вселили тревогу в сердца важных господ, ведь к мирной обстановке нужно еще примениться. Впрочем, банки тоже хотят, чтобы мы заплатили за победу как можно дороже. Они угрожают штрафом тем членам Союза предпринимателей, которые проявят достаточно здравого смысла, чтобы пойти на разумные условия. Они, несомненно, оказывали нажим и интриговали. Интриговали и оказывали нажим на Совет профсоюзов и на правительство, чтобы они воздействовали на руководство нашего союза. Государственным железным дорогам дан приказ не принимать на работу металлистов. Правительственные газеты в экстренных выпусках требуют, чтобы мы умили свои претензии и уступили владельцам заводов. Но когда заводские профсоюзные организации предлагают правительству создать новую, независимую арбитражную комиссию, тогда важные господа притворяются глухими. Вопрос сейчас в том, как отнесется правление союза к твердому мнению заводских профсоюзных организаций, требующих: «Никаких решений за столом! Судьбу забастовки должны решать рабочие!»

Забастовка металлистов — дело всего рабочего класса. Помощь бастующим становится всенародным делом. Одни

только стокгольмские металлисты получили шестьсот тысяч крон из фонда солидарности. Каждый день поступают деньги от всевозможных профсоюзов со всей страны. Бастующие непреклонны, они держат свой фронт, их воля к борьбе и солидарности нерушима. Мы знаем, что будет с нами, со всеми, работающими не покладая рук и получающими мизерную оплату, если мы сдадимся раньше времени.

Гури внимательно следит за сообщениями. Она знает, что такое борьба. О ее цели, о ее значении ей также не нужно рассказывать. Она понимает тактику наших противников: отколоть часть рабочих и добиться, чтобы они выразили недовольство нашими представителями, ведущими переговоры. Но одного она не понимает и без конца задает один и тот же вопрос: почему бы представителям рабочих в риксдаге не действовать согласованно? Они тогда смогли бы повлиять на политику заработной платы. Перед лицом единого рабочего фронта тактика противников не имела бы никакого успеха.

— Единого рабочего фронта не дадут создать,— это все, что я могу ей ответить.

— Не дадут? — спрашивает она.— Как это не дадут?

— Не дадут.

— Этого я не понимаю,— говорит она и смотрит на меня недоверчиво.

— Это долгая история,— отвечаю я и думаю, какая все-таки большая разница между норвежцами и шведами.

Артур приехал в субботу, как он телеграфировал. В субботу же началось совещание о коллективном договоре с металлистами, который должен решить вопрос о забастовке.

Все воскресенье мы очень волновались.

Да, это воскресенье было непохоже на обычное!.. Но дети все же пошли гулять. Янне и Бэда взяли их с собой. Но Хельге предпочел остаться с Артуром.

Может быть, потому, что я много лет заменяла мать мальчишкам, я была так счастлива, когда Артур приехал домой, когда они с Хельге оказались вместе. Да и Артур и Гури тоже вместе! Я была так счастлива, что уходила от них поплакать и вспомнить маму... Если бы она могла увидеть своих детей! Жизнь ее была исполнена горестей и тяжкого труда. Я, наверное, никогда не смогу освободиться

от сознания, что мы были слишком малы, чтобы сделать ее счастливой.

Мне часто кажется, что в то время вообще не было радости. Но ведь даже Артур и Хельге переживали вместе радостные минуты. Хельге восхищался своим старшим братом. А восхищение и радость всегда идут вместе. Он ходил за Артуром по пятам, старался все делать, как он, перенимал его взгляды и вкусы, готов был оказать ему любую услугу. Больше всех сейчас задавал вопросы Хельге: о положении в Норвегии, о том, как там было во время войны, о работе Артура. Он упивался каждым словом Артура. Он, точно маленький мальчиш, смеялся еще долго после того, как уже все успокоивались. И только из уважения к Гури он не притащил шахматную доску.

Бэда еще в субботу приготовила нам обед на воскресенье, чтобы мне не пришлось торчать в кухне, и все боялась, что я не накормлю досыта Артура и Гури, что моих карточек не хватит!

— Подумай только, у них в Норвегии ничего нет, — напомнила она мне, уходя. — Если сливок не хватит, у меня в погребе есть еще. Кофе они могут пить вволю.

Артур же очень любил кофе — как я об этом раньше не подумала! Но я не подумала и о том, что Артур женат. Теперь он может пить кофе и говорить о кофе. Он не сказал, как он рад, что встретился наконец с Гури, но я уверена, что именно поэтому он так шумно восторгался кофе. Они все время сидели рядом, Гури не сводила с него глаз, но Артур смотрел или в чашку с кофе, или еще куда-нибудь, как будто стеснялся. А Гури была так счастлива, что счастье светилось в ее лице, глазах, и что бы она ни делала, она все держала его за руку. Артур же только жмурился и не мог видеть в ее лице отражения своего собственного счастья. После завтрака она придвинула свой стул к нему и просунула ему руку под локоть.

— Ты выпил уже четыре чашки, — сказала она. — Не стоит больше.

— Когда мы приедем домой, ты сваришь мне такого кофе! — засмеялся он.

— Типичный швед! — воскликнула Гури.

Мы сидели уже несколько часов за воскресным завтраком, и Артур рассказывал истории, одну страшнее другой, о квислинговцах, о немцах. Но больше всего он говорил о повседневной, будничной борьбе против глупой жажды гос-

подства, против жульничества и обмана, о множестве «полосатых» * спекулянтов, стремившихся обвести вокруг пальца и нацистов и норвежцев. Мы предпочитали слушать что-нибудь смешное.

Но Бертиль сидел молча и, казалось, думал о том серьезном, что скрывалось за шутками. Это был боевой юмор, юмор борцов. Мне думается, он вспоминал своих товарищей и испанский народ. Уже семь лет прошло, но он часто вспоминает пережитое в Испании. Между бровями у него залегают тогда мелкие суровые морщинки, от которых мне становится тревожно. Я слишком мало знаю о том, что творится тогда в его душе. И с годами это не проходит. Может быть, перед ним возникают видения? Убитые дети? Кажется, что иногда Хильдинг и Лиза вызывают в нем эти воспоминания. Я ведь знаю, что он видел расстрелянных детей, детей, искалеченных бомбами. Очевидно, это так поразило его, что ему до сих пор тяжело об этом говорить. Его, может быть, до сих пор мучит совесть, что он не мог помочь детям, не мог отомстить их убийцам. Я все ждала, что он спросит, как немцы обращались с норвежскими детьми. Когда мы позавтракали и убрали со стола, я попросила Бертиля пойти со мной в кухню и помочь мне мыть посуду.

— Я помогу! — сказала Гури, как бы очнувшись.

— Об этом не может быть и речи, — сказала я.

— Разве я ни на что не гожусь?

— Пойдите с Артуром посмотреть город. Тут много нового для тех, кто давно здесь не был.

— Она выгоняет нас! — Гури повернулась к Артуру и взяла его под руку. — А нам так хорошо здесь!

— Да, да. Вон отсюда, на воздух, сегодня такой хороший летний день, — сказала я. — И потом я хочу немного побыть вдвоем с Бертилем!

— Вы же всю ночь были вместе, разве тебе мало?

— Конечно, мало.

— Она во что бы то ни стало хочет от нас отделаться, — засмеялась Гури. — Но город и есть город. И зачем нам новые дома, в которых мы не будем жить? А на заводы нас не пустят.

— Потом мы можем пойти все вместе в мастерскую Бертиля, — предложила я.

* Так называли не явных нацистов, а тех, кто, используя ситуацию, наживался на поставках гитлеровцам. — Прим. перев.

Но мы так никуда и не пошли. Я не привыкла уступать, однако Гури мне пришлось уступить. По радио начали передавать последние известия. Нам хотелось услышать о конференции металлостов. Мы слушали почти благоговейно, но ничего нового не услышали.

— Иногда отсутствие новостей — это хорошие новости, — сказал Бертиль.

— Да, если ждешь плохих, — откликнулась я.

Гури подошла, обняла меня за шею. — Мне кажется, что Артуру хочется выпить чашку кофе, — прошептала она мне на ухо. — Я сварю.

— Бертилю, наверное, тоже, — сказала я. — А к кофе у нас будут булочки.

Пока Гури варила кофе, мы заговорили о забастовке. Рассказали Артуру подробно об упорной борьбе, привели цифры. По его мнению, владельцы заводов хотели сыграть на забастовке. Она была им на руку, но они не рассчитывали, что война кончится так быстро. Они предполагали, что рабочие откажутся от всяких требований повышения заработной платы. Это очень помогло бы в развертывании кампании за рост промышленности, когда наступит мир. Какие военные прибыли!.. Он засмеялся. А теперь они терпят убыток на каждом часе, и чем дальше, тем будет хуже.

Мы и сами так думали. Но нас удивило, что это говорил Артур. Неужели он так внимательно следил за тем, что делается в Швеции? Или положение было настолько аналогичным, что он сразу же в нем разобрался? Артур стал инженером на большом заводе. Мы толком не знали, каковы его взгляды. Из слов Гури мы только поняли, что он близкий нам человек, хотя и не состоит ни в какой партии. А тут он как бы сразу вырос в наших глазах. Мы с Хельге переглянулись. Он стал совсем другим, совсем не похожим на нашего брата, такого застенчивого и задумчивого. Я подумала, как обрадуются Калле и Мария, когда его увидят. Во время войны с ним ведь все могло случиться.

Гури гордо внесла поднос с кофе. Но это было выше ее слабых сил, ее руки дрожали. Ей пришлось сесть и потом уже поставить поднос на стол.

— Это ведь в первый раз с тех пор, как мы покинули наш дом, — улыбнулась она, тяжело дыша.

Маленький мужественный человек! Может быть, ты не всегда мягка. Ты не ручной котенок. Ты можешь быть резкой и твердой, умеешь уходить в себя, делая вид, что ничего не понимаешь. В тебе есть еще что-то незрелое, есть и много такого, что тебе придется обуздывать. Но я вижу, что Артур любит тебя. Я надеюсь, что он всегда умеет проявлять свою любовь, а ты умеешь понимать, что его застенчивость и неуверенность происходят только от глубокого уважения. Ты вызвала к жизни тепло его души. И если ты это ценишь, тебе будет хорошо с ним. Ты это знаешь. Ты научишься понимать его, но не впадай в крайности, не превращайся то в его служанку, то в повелительницу.

Сейчас ты лежишь, похожая на тень, какой тебе так не хочется быть. Тут есть и моя вина. Я, конечно, предупредила тебя, но ты так настаивала, чтобы я предоставила тебе всю работу в кухне. Это было так соблазнительно... Нам нужно о многом переговорить. Милос дитя, успокой меня, открой глаза... Пусть тебе кажется, что тебя ласкает Артур, хотя ты и не хочешь, чтобы он видел тебя такой.

Если бы ты призналась в своей беспомощности, ты бы меньше страдала. Ты сама себе хуже делаешь. Не позвать ли мне Артура?

Нет никого, кто был бы тебе ближе. И пусть он видит тебя не только, когда ты здорова и весела, как во время свадебного путешествия. Ты должна всегда думать «мы» — у меня это плохо получалось, но ты в жизни видела больше, чем я. Он сумеет помочь тебе, если тебе будет тяжело. Даже если вы больше товарищи, чем муж и жена. Ты, наверное, жаждешь загладить свою вину, вплоть до самоуничтожения, хотя ты, наверное, затопала бы ногами и заявила: «Мне нечего заглаживать!..» Ты слышишь меня, Гури?

Ты сказала «Артур»?

Артур! Артур!

Вечером тоже не было никаких сообщений о конференции.

— Будь благоразумна, Элин,— сказал Бертиль.— Им же нужно сначала все закончить.

— А чего же они еще не закончили?

— Элин следовало бы быть там,— улыбнулся Хельге.

— Хорошо, что ты дома,— сказал Бертиль.

Не уверена, что я почувствовала благодарность к нему за эти слова. Нет, я предложила тогда сходить в мастерскую. Конечно, я беспокоилась: то, что случилось в прошлую субботу, может случиться и сегодня.

— Уландер — набожный христианин, он никуда не пойдет в воскресенье, — сказал Бертиль, чтобы поддразнить меня.

Но в общем они не возражали. «Артур с Гури пока побудут вдвоем, — подумала я. — А то скоро придет Бэда с детьми и в доме поднимется шум».

В мастерской все было в порядке. Но Бертиль и Хельге переглянулись, когда я стала их спрашивать.

— Это правда? — спросила я.

— Мы встретили Уландера на улице, — ответил Хельге.

— Видно, он не такой уж набожный!

Они обошли весь квартал и снова увидели его. Он шел в направлении Хэрланды. Хельге хотел пойти за ним и посмотреть, не в тюрьму ли он идет повидаться там с кем-нибудь, но Бертиль этого не одобрил.

Вошел Артур.

— Не будем говорить ему об этом, — прошептал Бертиль. Ему, по-видимому, было неловко за всю эту историю.

— Гури лучше? — спросила я.

— У нее страшная головная боль, — ответил Артур. — Она хочет поговорить с тобой.

Когда я зашла к ней, она поднялась на постели.

— Он пробудил меня к жизни, — сказала она. — Он чудесный. Но...

— У тебя болит голова?

— Да, но...

— Почему ты не спишь? Тебе нужно как можно больше спать.

— Он тоже это говорит! Но почему я такая слабая? И из-за меня всем в доме скучно. Разве обязательно слушаться своего мужа, Элин?

— Будь умницей. Делай так, как будет лучше и для тебя и для него. Если ты выпишься...

— Сегодня воскресенье, мы бы провели такой хороший вечер. Все соберутся. А я заняла всю комнату. Какая я развалина!

— Не думай так, Гури! Мы рады, что ты у нас, что мы можем позаботиться о тебе, неужели ты этого не понимаешь? Сейчас ты слишком взволнованна. Вот поправишься, и вам

будет хорошо вместе. За это я отдала бы не только комнату, глупышка!

— Ты так говоришь, потому что ты добрая. Но нужно ли слушаться своего мужа? Разумно ли это?

— Я вовсе не добрая. Я строгая и строптивая, спроси у Бертиля! Или у Бэды...

— Но ты мне не ответила. Скажи, как будто я твоя дочь. Я ведь почти могла бы быть твоей дочерью.

— С мужем нужно было счастливой.

— Но нужно ли поступать, как он хочет? Потому что он так хочет?

— Разве он требует, чтобы ты слушалась?

— Нет, что ты! Но если знаешь...

— Значит, ты знаешь, что так лучше, и не делаешь только потому, что не хочешь быть послушной женой? Милое дитя! Береги свою семейную жизнь!

— Это время сделало тебя умной?

— Любовь, дружок.

Она легла, но отвернулась к стене и натянула на себя одеяло.

Я продолжала сидеть около нее.

— Элин, скажи ему, что я легла. Может быть, он зайдет сюда.

— Я скажу ему, что ему тоже нужно лечь. Ему нужно хорошенько выспаться после путешествия. Но прежде ты можешь посидеть у него на коленях.

— Да, скажи ему, чтобы он взял меня к себе на колени.

— Спокойной ночи, дочка,— сказала я и вышла.

Легко быть умной за других.

Они не поняли, почему я засмеялась, когда мы услышали о решениях конференции. Будь я одна, я бы не засмеялась. Я как будто проснулась от долгого сна. Но ведь нельзя же плакать, увидев резкий контраст между сном и жизнью.

Большинство за снижение наших требований! О чем же они думают? Участники переговоров получили директиву согласиться на условия, дающие нам жалкие крохи из того, за что мы боролись. Неужели наши лидеры так горят желанием пойти на компромисс с предпринимателями?

Всех волнует вопрос: что же произошло? Что заставило принять такое решение? Этого мы, наверное, никогда не узнаем. Нам напомнили, что мы люди маленькие. Неужели

я одна полна упрямой решимости? Артуру было бы над чем посмеяться. Мы были так близки к победе над своими угнетателями.

Говорят, что руководство Союза боится политики. А разве не эти господа должны направлять рабочую политику? Они не боятся проводить свою политику и получают в этом серьезную поддержку.

Боже мой, что же теперь будет, когда большинство конференции сдалось? Неужели мы тоже должны сдать? Не так легко организовать собрание бастующих за несколько дней до праздника Ивана Купалы. Но...

Те, кто хочет как можно скорее положить конец забастовке, наверное, куют железо, пока оно горячо. Теперь они покончили и с конференцией. Но раз они осмелились зайти так далеко, против них поднимется буря.

Возможно, не все переживают это так остро, как я. Но мне кажется, что все живут в напряжении, увеличивающемся со дня на день. Больше чем когда-либо речь идет о моей работе, другой у меня нет. Бертиль может говорить, что ему угодно.

Конечно, я понимаю Хельге. Я понимаю его радость. Он привел новую знакомую — Соню, и на этот раз, кажется, дело обстоит серьезно. Забавно, что она датчанка. Он считает своим долгом во всем подражать Артуру. Девушка в него влюблена, это видно сразу. У них свободная неделя, и они уезжают праздновать Ивана Купалу. Мы рады принять ее у себя как еще одну сестру. Бэда говорит, что две иностранки в семье — это многовато, но она, конечно, шутит. Ее глаза блестят, когда она смотрит на Соню. Скоро она научится понимать по-датски, хотя теперь она только смеется и качает головой. Я уверена, что Бэда в восторге, что у нее вдруг объявился еще один «ребенок», о котором нужно думать и заботиться, когда Артур и Гури уедут.

Бертиль прав, считая меня несносной. Но я не могу быть иной. У него есть работа, много работы, задерживающей его каждый день допоздна. Летом у него работают еще два человека, а когда Хельге возьмет отпуск, он наймет еще двух. Ему нужно отдохнуть, когда он приходит домой, а тут я с забастовкой, с новыми переговорами. Так хочется все рассказать ему, почувствовать, что это его волнует. Он такой терпеливый, такой добрый. Он уверен, что забастовка истре-

пала мне нервы, в особенности теперь, когда принято решение. С другими ведь тоже так было, он знает это.

У меня дел по горло, но это все не то, это не работа. И как унизительно не иметь своих денег, а ведь они у меня были более двадцати лет подряд. Мне не следует соваться не в свое дело, но я-то знаю, что если мы уступим сейчас, то лишь немногим на «Шарикоподшипнике» повысят заработную плату... И работать будет еще труднее, к рабочим будут больше придирааться, в особенности к тем, с кем «рабочее руководство» хочет разделаться. Это нельзя назвать политическим преследованием, но все те, кто серьезно отнесся к своему долгу в борьбе, будут заклеены. Они — «большевики». Да, придется проглотить столько обид, что у многих испортится настроение. А от этого станет еще тяжелее работать, больше будет несчастных случаев, больше уныния. И, возможно, то хорошее, что родилось в стенах «Шарикоподшипника», там и умрет.

Я не жалею, что гнала Гури из дому. Теперь они с Артуром каждый день делают большие прогулки. Они останутся у нас и после праздника Ивана Купалы, чему я очень рада. Они слушают меня с интересом, но им не удастся скрыть, что когда они вдвоем, они как на седьмом небе. Им есть о чем подумать: о своем доме, о своем будущем в Норвегии.

Мое дитя, которое родится в мирное время. Милое мое дитя. Лишь бы оно было живо...

Это случилось в разгаре событий. Я снова чувствую первые признаки. Ошибки быть не может.

Сердце мое чуть не остановилось, когда я поняла это. Нет, нет! Родить еще одного ребенка — и в такое время?.. Но если я не способна ни на что другое, я рожу ребенка.

Что же такое чудо, если не то, что поражает человека, и я думаю совсем так же, как и в первый и во второй раз, — чудо начинается.

Я чувствую себя беспомощной и маленькой. Неужели я снова это переживу? Ради этого можно пожертвовать мелочами жизни. Крошечный человечек. Он станет большим. Сестра Лизе! Или брат Хильдингу! Ничто не приводит в такое изумление, как зарождающаяся в тебе новая жизнь. Неужели мне предстоит пережить это еще раз! «Мама, дай мне руку!» — шепчу я той, которой давно нет. Но кажется, что это говорю не я, а кто-то другой.

Летний вечер. Мы дома — Бертиль и я, Артур и Гури. Никому из нас не хотелось уезжать на праздники за город. Мы закоренелые горожане. А Гури очень нравится Гетеборг.

Мы погуляли, посмотрели на реку. Сначала с моста Хисинг. А потом сели на трамвай и поехали в Майурну. И наконец поднялись к церкви, откуда так далеко видно вокруг. Я подумала, как весело сейчас Лизе и Хильдингу. Они впервые проводят летние праздники на шхерах.

Правда, я подозревала, что меня нарочно повели так далеко, чтобы я рассеялась. Мы столько говорили о забастовке, им, наверное, не хочется думать о ней в этот праздничный вечер...

Настанет ли такое время, когда прекратится борьба между людьми и деньгами?

Но об этом еще рано говорить. Во всяком случае, скоро будет поставлено на голосование новое предложение — тогда вопрос будет решен. После конференции снова спешно были проведены переговоры. Предприниматели сделали небольшие уступки; на наших представителей, несомненно, нажимали изо всех сил, но те не согласились принять решение, о котором не высказали своего мнения рабочие. Они были вынуждены стоять за решение конференции о компромиссе. Большинство конференции принято новсе предложение да еще с поклоном — политика уступок ведет к поражению.

Наши представители знают, что бастующие не примут предложения. Повышение почасовой оплаты на 1941 год до 1:40, 1:50 или 1:60 в зависимости от цен в местности, никакой равной заработной платы для них, никакого увеличения сдельной оплаты. Это означает тридцать шесть тысяч низкооплачиваемых рабочих на двести двадцать две кроны больше в год, а для остальных придется не больше, а то и меньше, чем раньше. Правда, капиталисты набавили еще два эрс, но от этой победы отдает поражением. Наши представители сделали все, что было в их силах, но они не могли добиться ничего, чем одобрение предложения о переголосовании в новых условиях это, может быть, было единственно возможным.

Что ж поделаешь. У них более горькие правдивые у меня.

— Да, каким-то еще будет праздник Ивана Купала в будущем году? — говорю я. — Что-то будет тогда?

пала мне нервы, в особенности теперь, когда принято решение. С другими ведь тоже так было, он знает это.

У меня дел по горло, но это все не то, это не работа. И как унизительно не иметь своих денег, а ведь они у меня были более двадцати лет подряд. Мне не следует соваться не в свое дело, но я-то знаю, что если мы уступим сейчас, то лишь немногим на «Шарикоподшипнике» повысят заработную плату... И работать будет еще труднее, к рабочим будет больше придираться, в особенности к тем, с кем «рабочее руководство» хочет разделаться. Это нельзя назвать политическим преследованием, но все те, кто серьезно отнесся к своему долгу в борьбе, будут заклеены. Они — «большевики». Да, придется проглотить столько обид, что у многих испортится настроение. А от этого станет еще тяжелее работать, больше будет несчастных случаев, больше уныния. И, возможно, то хорошее, что родилось в стенах «Шарикоподшипника», там и умрет.

Я не жалею, что гнала Гури из дому. Теперь они с Артуром каждый день делают большие прогулки. Они останутся у нас и после праздника Ивана Купалы, чему я очень рада. Они слушают меня с интересом, но им не удастся скрыть, что когда они вдвоем, они как на седьмом небе. Им есть о чем подумать: о своем доме, о своем будущем в Норвегии.

Мое дитя, которое родится в мирное время. Милое мое дитя. Лишь бы оно было живо...

Это случилось в разгаре событий. Я снова чувствую первые признаки. Ошибки быть не может.

Сердце мое чуть не остановилось, когда я поняла это. Нет, нет! Родить еще одного ребенка — и в такое время?.. Но если я не способна ни на что другое, я рожу ребенка.

Что же такое чудо, если не то, что поражает человека, и я думаю совсем так же, как и в первый и во второй раз, — чудо начинается.

Я чувствую себя беспомощной и маленькой. Неужели я снова это переживу? Ради этого можно пожертвовать мелочами жизни. Крошечный человечек. Он станет большим. Сестра Лизе! Или брат Хильдингу! Ничто не приводит в такое изумление, как зарождающаяся в тебе новая жизнь. Неужели мне предстоит пережить это еще раз! «Мама, дай мне руку!» — шепчу я той, которой давно нет. Но кажется, что это говорю не я, а кто-то другой.

Летний вечер. Мы дома — Бертиль и я, Артур и Гури. Никому из нас не хотелось уезжать на праздники за город. Мы закоренелые горожане. А Гури очень нравится Гетеборг.

Мы погуляли, посмотрели на реку. Сначала с моста Хисинг. А потом сели на трамвай и поехали в Майурну. И наконец поднялись к церкви, откуда так далеко видно вокруг. Я подумала, как весело сейчас Лизе и Хильдингу. Они впервые проводят летние праздники на шхерах.

Правда, я подозревала, что меня нарочно повели так далеко, чтобы я рассеялась. Мы столько говорили о забастовке, им, наверное, не хочется думать о ней в этот праздничный вечер...

Настанет ли такое время, когда прекратится борьба между людьми и деньгами?

Но об этом еще рано говорить. Во всяком случае, скоро будет поставлено на голосование новое предложение — тогда вопрос будет решен. После конференции снова спешно были проведены переговоры. Предприниматели сделали небольшие уступки; на наших представителей, несомненно, нажимали изо всех сил, но те не согласились принять решение, о котором не высказали своего мнения рабочие. Они были вынуждены стоять за решение конференции о компромиссе. Большинство конференции принято новое предложение да еще с поклоном — политика уступок ведет к поражению.

Наши представители знают, что бастующие не примут предложения. Повышение почасовой оплаты на восемь эре, до 1 : 40, 1 : 50 или 1 : 60 в зависимости от цен в данной местности, никакой равной заработной платы для женщин, никакого увеличения сдельной оплаты. Это означает, что тридцать шесть тысяч низкооплачиваемых рабочих получат на двести двадцать две кроны больше в год, а на долю остальных придется не больше, а то и меньше, чем раньше. Правда, капиталисты набавили еще два эре, но от этой победы отдает поражением. Наши представители сделали все, что было в их силах, но они не могли добиться большего, чем одобрение предложения о переголосовании. В данных условиях это, может быть, было единственно возможное.

Что ж поделаешь. У них более горькие праздники, чем у меня.

— Да, каким-то еще будет праздник Ивана Купалы в будущем году? — говорю я. — Что-то будет тогда?

Гури улыбается Артуру: — К тому времени исполнится год нашей жизни в Норвегии.

— За год многое может произойти, — в тон мне отвечает Артур.

Бертиль явно колеблется. Неужели ему нечего сказать? Но он говорит:

— Человеку свойственно надеяться на лучшее.

Я рада, что он так ответил.

Я многому рада. Остальные, может быть, не верят этому. Они сегодня смотрят на меня так, как будто очень беспокоятся за меня. Они ждали взрыва отчаяния. Разве у меня такой убитый вид? Я испытываю скорее ожесточение и некоторую растерянность.

Но мои мысли заняты другим. Они этого еще не знают. Через год у меня на руках будет малыш, если все пойдет так же хорошо, как последние несколько месяцев. Самое плохое время позади. Но что делается вокруг нас?

Мы заговорили о Норвегии. Сейчас, в середине лета, в Осло проводится большой праздник победы. Гури и Артур не поехали туда. Гури знает, что у нее не хватило бы сил, а Артур вообще не любитель празднеств. Да и кроме того, у них нет своего жилья в Осло, а жить у ее родных, которые симпатизировали нацистам, они не хотят. Они предпочитают остаться здесь и поехать уже прямо на работу.

Артур говорит, что слишком рано праздновать победу. Нацизм еще не уничтожен, и нужно быть начеку. Он знал одного эмигранта, вернувшегося теперь из Швеции на родину. Этот эмигрант много говорил ему о нацизме после войны, о последствиях злоупотреблений властью и о духе насилия.

Это серьезный вопрос, о нем нельзя забывать в мирное время. Этот нацизм, наверное, будет выступать в демократическом одеянии, может быть, полученном из Америки, и, по-видимому, не остановится ни перед чем, чтобы вернуть себе власть. Политика гангстеров, жестокая и хитрая, но прикрытая красивыми словами.

Я невольно подумала об Уландере, но когда Артур стал развивать свою мысль дальше, я заметила, что он имеет в виду другое. — Ведь это то же самое, — говорил он, — что идти по земле, где побывали немцы: в любом месте можно наткнуться на мину. Дорожные, строительные, лесные рабочие, крестьяне, вспахивающие свои поля, шоферы на неизвестных им дорогах и, конечно, войска — всех их в первую

очередь подстерегает опасность. Это теперь. Но может быть и еще хуже.— Артур беседовал с норвежскими солдатами, прибывшими в Тронхейм из Финмарка и Нурланна, откуда они изгоняли немцев. Они близко познакомились с нацистскими методами ведения войны. Все так утонченно бесчеловечно, что они не поверили бы, если бы не видели собственными глазами. Там, где побывали немецкие войска, нельзя было сделать ни шагу, чтобы не нарваться на мину или бомбу замедленного действия. Если дом уцелел, то к двери его могла быть прикреплена такая бомба, вторая лежала в печи или была спрятана в стоявшей на полке кастрюле. Любую самую маленькую вещь приходилось обследовать тем, кто знал повадки немецких фашистов.

Колодцы были отравлены, лодки пробиты. Отступая, нацисты уничтожали все на своем пути: сжигали города, деревни, каждый, даже маленький домик; били скот, гнали население перед собой; убивали без зазрения совести за любой поступок, который был им не по нраву; обороняясь, выставляли впереди себя женщин и детей.

Но и их не щадили. Ни норвежцы, ни русские. А позже норвежским солдатам задали вопрос: хотят ли они продолжать войну против другой страны? Они не верили своим ушам: против народа, с которым они боролись плечом к плечу, против народа, который им помог освободить страну, который понес такие огромные жертвы в борьбе, которым они восхищались! Нет, ни при каких условиях! Хотя это делалось в большой тайне, но у всех было такое впечатление, что вопрос задавали американцы. Вопрос показался норвежцам настолько подлым и отвратительным, что они даже никому о нем не рассказали.

— Среди американцев есть нацисты? — спросила я.

— Конечно, как и во многих других странах, — ответил Артур.

— И что же, они хотят продолжать войну немцев?

— Насколько я понимаю, после смерти Рузвельта власть взяли люди совсем иных взглядов.

— В Америке во время войны, кажется, было много норвежцев? — спросил Бертиль.

— Да, довольно много.

— А теперь они вернутся и захотят американизировать Норвегию?

— В Англии норвежцев было еще больше, и они хотят сделать Норвегию английской, — ответил Артур.

— И это им удастся? — спросила я.

— В некоторых кругах, наверное, всегда будут и спекулянты, и оппортунисты.

Но мы-то не всегда будем в их руках.

В Норвегии создано новое правительство, впервые в него вошла женщина*. Она коммунистка. Она руководила многими женщинами в движении сопротивления и выпускала подпольную газету. Когда я читала это сообщение, мне казалось, что Гури растет у меня на глазах. Мне так хотелось встать и поклониться ей; если бы я не была типичной шведкой, а она типичной норвежкой, я бы это сделала.

Но мы все равно рады тому, что Норвегия указывает нам путь, что в Норвегии есть такие женщины.

Новое норвежское правительство прежде всего провозгласило право и долг трудиться. Ах, как, наверное, бесятся консерваторы! Труд — долг, а не рабская повинность и не средство наживы, — это же настоящий социализм! Норвежский министр труда тоже коммунист**.

Артур и Гури уехали. Им так не терпелось, что они не остались даже еще на одно воскресенье. Теперь они уже в Осло. Нам отсюда кажется, что это очень, очень далеко.

Но они, во всяком случае, повезли с собой в Норвегию привет от нашего народа, подтверждение того, что и мы можем бороться, что мы не только довольные своей жизнью, самовлюбленные сторонники компромиссов. На собрании бастующих в Мэссхалле позавчера царило такое настроение, что я имела право сказать уезжающим: «Металлисты не сдадутся!»

В пятницу мы получили «информацию» о проекте договора и дали руководству свою информацию. В Гетеборге нас 11 тысяч рабочих, которые не получают и грошовой прибавки. Мы отклонили попытку предпринимателей снизить заработную плату, но этого недостаточно. Мы требуем договора, улучшающего положение рабочих. На день раньше то же самое сделали металлисты в Йевле на собрании бастующих. И таких собраний, наверное, будет много. Не поможет и то, что уполномоченные и специальные лица, подсылаемые предпринимателями, разъезжают вокруг и агитируют за

* Кирстен Ханстеен, жена адвоката Вигго Ханстеена, расстрелянного немецкими оккупантами в октябре 1941 года.— *Прим. персв.*

** Странд Йохансен.— *Прим. персв.*

прибавку в восемь эре, то есть за компромисс. Не только «большевики», но и многие, многие другие хотят новой политики, направленной против тех, кто наживает барыши, но не против социализма. И не только металлисты, но и многие, многие другие требуют повышения заработной платы и лучших условий труда. «Когда у нас будет новый договор?» — спрашивают портовые рабочие.

А когда же у нас будет новое правительство? Правительство, понимающее, что Гитлеру конец. А ведь это значит, что конец и многому другому! Это значит, что пришло время для наступления. Еще не покончено с Франко. Еще не покончено с капитализмом в нашей стране. Народ ждет, что-то должно произойти. «Боже, храни короля и родину» — уже не удовлетворяет.

И что-то произойдет, если у нас будет правительство, которое этого захочет. Лишь бы прежде не произошло чего-нибудь плохого.

Сегодня уже не кто-нибудь, а именно я непременно хотела остаться дома. Мне хотелось побыть одной с Бертилем. Вечером придут Хельге и Соня.

Бертиль не упустил случая немного подразнить меня: — Ну как, теперь мастерской не грозит опасность? Раз дело обернулось в пользу предпринимателей?

— Если бы это был разумный человек, ей вообще не грозила бы опасность, — ответила я.

А что, собственно, выиграли предприниматели?.. Раскол в нашей среде. Но забастовка еще не кончилась. Мы голосуем предложение. Правда, правительственная пресса называет это «предварительным соглашением» и пишет так, как будто вопрос уже решен. Они всюду ведут явно антирабочую политику.

Пока проходит голосование, газеты печатают скандальные сплетни о наших представителях, ведущих переговоры, и наперебой с предпринимателями клеветают на бастующих.

Оказывается, принесение наших интересов в жертву прибылям «экспортеров» — дело «общественно полезное». Следовательно, и распространение ложных слухов о нашей борьбе — также дело общественно полезное. Говорят, что цель оправдывает средства.

Боюсь, что на этот раз многие будут голосовать «за». На нас нажимают со всех сторон. В подобной обстановке

можно выдержать только тогда, когда знаешь, что это за нажим, а также, когда знаешь, за что ты борешься. В этом отношении борцам сопротивления, таким, как Гури и Артур, было легко. Можно, не колеблясь, пожертвовать и жизнью, лишь бы знать за что! Ведь рискуешь своей жизнью не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы жить. Или хотя бы, чтобы знать, что другие будут жить и продолжать твоё дело. Борьба должна была бы давать людям необходимые знания, развивать в них самосознание, достоинство, честь. Человеку необходимо чувство собственного достоинства. А люди, находящиеся в подчиненном положении, довольствуются малым, унижаются. И в этом нет ничего удивительного. Ведь они видят, что другие живут гораздо лучше, что у них есть все, что им нужно, что они веселы и свободны... А бастующие чувствуют себя выбывшими из игры. И многие готовы спрятаться, превратиться в тень, забраться куда-то в угол. Может быть, это-то и есть самое трудное время...

Те, у кого деньги, знают, что делают, когда хвастают своим могуществом. Мы видим, что они могут сделать, а у нас так мало всего, и мы так мало можем. Газеты рекламируют все, что можно получить за деньги. Магазины выставляют в витринах все свои сокровища для богатых. И богатые туда куда хотят, одеваются как хотят, читают что хотят. Им кажется, что они кичатся перед нами своей свободой. А мы точно нищие, которых они топчут, чтобы ярче ощутить свою свободу.

Мы никогда не забываем этого. И мы должны повторять это постоянно, постоянно. Мы должны знать, почему некоторые становятся богатыми, паразитами, господами, предателями, квислинговцами. Мы должны знать, почему массы народа лишены того, что должно быть достоянием всего народа. Нас побивают потому, что мы слабы, расколоты на мелкие группки, на «индивидуумов», но мы будем бороться снова и снова до тех пор, пока мир не будет принадлежать всему человечеству. А когда мы возьмем власть, люди заживут чудесной жизнью. Такой же чудесной, как та жизнь, которую я ношу под сердцем.

Вот почему мне хотелось побыть сегодня с Бертилем наедине. Мне хотелось сказать ему, чего я жду. Чтобы и он мог ждать и думать об этом. Теперь он, может быть, не будет бояться еще одного ребенка. Может быть, он будет даже рад ему. Но я еще не решаюсь поверить в это. Утром мне

приснился такой странный сон... Будто он раздел меня среди бела дня, чтобы посмотреть на меня, как будто я сад, в котором это растет. «Пощупай,— сказала я,— это живет во мне»,— но он не слышал. Ему никогда не хотелось иметь сад...

Я могла бы немного поинтриговать его, надела бы свое самое красивое белье и платье в цветах. Но нет, не сегодня. Он еще ничего не знает о будущем ребенке. И нам не удалось остаться одним. С самого утра приходили товарищи и из других организаций тоже, с разных концов города один за другим.

— Как голосовать? Где правда? В чем ошибка? Как ты голосовала?

— Конечно, «против»,— отвечала я.

Они рассказывали о своих заботах. Сколько у нас забот! Как трудно с ними справляться! И главная забота — как накормить семью. Но есть и другие заботы — безработица, и тревога, и одиночество. А иногда и муж.

Для них прийти к нам и поговорить — всегда развлечение. Одна женщина привела с собой троих детей. Бертиль взял всех троих в мастерскую, чтобы они там поиграли, побегали, посмотрели, как он работает. София помогала мне готовить обед. Ее муж уже три месяца на лесоразработках, не пишет. — Может быть, нашел там какую-нибудь особу, как ты думаешь? — спрашивает она. — Если бы случилось несчастье, меня бы известили. Ему все равно, что я тут тоскую до безумия. Если бы я только знала, если бы только знала! А если я проголосую «против» и забастовка затянется?

— Пока ты тоскуешь, ты не можешь сойти с ума, — ответила я. — У тебя дети, у тебя работа. Напиши, чтобы он приехал домой на воскресенье. На это уйдет, конечно, несколько крон, но ничего не поделаешь.

— Да уж сколько бы ни пошло. А ты думаешь, он приедет?

— Как же ему не приехать к такой жене?

— Не напишешь ли ты за меня? — быстро спросила она, когда на лестнице послышались голоса Бертиля и ребят.

— Это ты должна сделать сама, милая!

— Когда я берусь писать, я только сижу и грызу ручку. У меня все получается так коротко и холодно.

— Напиши, что ты тоскуешь. Скажи ему все нежные слова, какие ты знаешь. Только не жалуйся.

— А можно так написать? — прошептала она. — А если кто-нибудь другой прочтет письмо?

— Глупая, напиши все, что чувствуешь, пиши кровью своего сердца, не думая о других, — ведь это твой муж!

— А можно написать, что я люблю его, как в молодости? Это не глупо?

— Если ты думаешь, что любить глупо, то... Но я этого не думаю.

— Любовь — это самое замечательное на свете.

— Ма-ма! — закричал младший из ребят в дверях. — Мне подарили автомоби-и-иль!

И вот мы снова проголосовали.

Преобладающее большинство голосовало «против». Новая победа духа солидарности и борьбы. Здесь, в Гетеборге, 6655 голосов подано «против» и 1997 — «за». В одной из организаций все проголосовало «против». По всей стране 55% голосовали «против», 44% — «за». Для профсоюзного руководства это настоящий провал. Теперь по крайней мере к руководству придут новые люди!

Это невероятно! Послезавтра начинают работать на «Шарикоподшипнике».

Нет, не хочется верить, что это правда.

Как это могло случиться? — снова и снова задаешь себе вопрос. Газеты пишут об этом без конца, все говорят об этом, обсуждают на все лады. Но я все-таки никак не могу понять.

Как могли уполномоченные профсоюза позволить себе такой произвол? Такое предательство интересов членов профсоюза? Как могли они среди бела дня сдать свои позиции, когда массы поддерживали их борьбу? И мы ничего не знали. Они сваливают вину на предпринимателей, которые якобы грозили большим локаутом. Но ведь они же пошли на сделку с этими обманщиками, согласились на то предложение, которое рабочие отвергли. Они говорят, что меньшинство вместе с воздержавшимися от голосования составляет большинство. И они хотят, чтобы мы поверили в этот вздор! Я уверена, что о соглашении было договорено заранее. И теперь им нужно только найти отговорку, оправдаться любыми средствами. Они ведут себя точно королевские чиновники. Творят, что им в голову придет.

Мы разбиты, мы не можем собраться с мыслями. Во вторник мы снова впрягаемся в ярмо. Мы не знаем, что делать. Действуют другие. Мы в замешательстве, у нас нет сил даже на то, чтобы до конца ощутить нашу обиду. О, я по себе чувствую, что это такоз. Мы разбиты.

Воскресное утро. Мы все уедем за город. Да, вон отсюда!

Бертиль спит. Товарищи ушли поздно ночью. Все толковали. А к чему? Пусть спит, пока спится. Лиза и Хильдинг проснулись, но лежат еще в постелях. Они играют в корабль. Им хочется на море.

Я слушаю их болтовню. У них такая богатая фантазия. Они уже представляют себе все, что они увидят на море, сколько рыбы наловят. И мне самой так захотелось на солнышко, на морской берег! Я хожу чуть слышно, привожу себя в порядок, стараюсь не разбудить Бертиля. Как будто я его обманываю. Я скрываю, что ношу маленького. Если я расскажу ему, он не захочет, чтобы я теперь снова начала работать. А я непременно, что бы там ни было, во вторник вернусь к своей работе.

Воскресное утро. Лето, лето! Мне хочется за город, как будто там я смогу по-настоящему ощутить лето, несмотря ни на что. Оно там, за окнами, как недоступное мне счастье. Я ничто, я потерпела поражение. Те, у кого власть в руках, могут растоптать меня. Я для них просто машина, которая должна работать бесперебойно. Я должна делать шарикоподшипники на экспорт, я не смею тосковать по лету. Я должна примириться с тем, что меня заключат в заводские стены, и не могу ждать ничего лучшего.

И я смирюсь. Можно, конечно, отвести душу, ворча на лето, на свободу, став грубой и злой, смеясь вместе с теми, кто смеется горьким, озлобленным смехом.

Но я не могу. Нет, не могу!..

Бертиль говорит: — Ради детей ты не должна больше работать на заводе. Поезжай лучше с ними на лето за город.

Он даже не знает, как он прав. Но он-то ради меня самой хочет, чтобы я бросила работу на «Шарикоподшипнике». — Над тобой будут только издеваться, — говорит он. — Будут переводить из цеха в цех, пока ты не сдашь позиций. Тебя поставят на такую работу, где ты будешь зарабатывать меньше, чем раньше, измучаешься, изнервничаешься. У них

большой запас фокусов, посредством которых можно удалить неугодного работника.

Но теперь я чувствую себя сильной. Я не отступлю и не буду предаваться горьким размышлениям.

Я знаю, что я хорошая работница, и многие это знают. Им нелегко будет разделаться со мной за мои политические взгляды и за поддержку забастовки.

«С нее все как с гуся вода, она упряма точно мул», — это они скажут не один раз, если попытаются выгнать меня с работы. Они, наверное, захотят изолировать меня, но ведь у моих товарищей есть головы на плечах.

Многие, возможно, не вернуться на завод. Во время забастовки они нашли себе работу получше и полегче. И зарабатывают больше. «Шарикоподшипник» — не золотое дно для рабочих. Я бы тоже могла быть полезна в мастерской Бертиля. Но это я откладываю на самый крайний случай. Да и Бертиль не хочет. Он считает, что зарабатывает за двоих, и втайне очень гордится этим. А ведь все материалы так дорожали! Он мечтает, чтобы я сидела дома, как женщины в прежние времена. Но я никогда не стану такой, как Бэда. И ни ей, ни мне не понравится мешать друг другу в доме: она ведь не стареет. Пока что никто из нас не чувствует себя лишней.

Нет, это значило бы, что я потерпела еще большее поражение. Бертилю придется примириться с тем, что я — член партии. Я не могу оставить своих товарищей. Тем более сейчас. Если у меня не будет работы, я не смогу чувствовать себя нужной в политической борьбе. А борьба должна продолжаться. Слишком мало женщин принимает в ней участие. Мы не имеем права лишаться кого-либо из них. Многие уже говорят: «Что нам делать в организациях? Всем ведь управляют мужчины, они не считаются с нашими требованиями, когда эти требования их не устраивают!» Но если мы примиримся с тем, что власть в их руках, что они управляют всем без нас «для общего блага», то мы ничего не добьемся, и наши дети тоже. Иногда они милостиво, подобно господу богу, снисходят до подачек нам, но мы не должны быть кротками овечками, с благодарностью принимающими эти подачки. Мы должны бороться за свои человеческие права, за равноправие.

Наши дети и другие дети! Ради вас я буду продолжать работать. Нам нужно добиться такого положения, чтобы мы могли решать вопросы о том, что нужно детям: об образова-

нии и воспитании, об их правах. Сейчас женщин считают годными для воспитательной работы и им поручают руководить школами, но как школы организованы — это не их дело, они не имеют права вмешиваться. Господа решают, как организовать заботу о детях, о больных, наладить социальное страхование. Те же самые господа, которые распоряжаются в полиции и командуют в армии! Те же самые, которые решают судьбу наших детей, готовя их для войны, как только они подрастут.

Мы должны. Мы должны.

На дворе по-прежнему воскресное утро, все такое же спокойное и ясное. Неужели что-то еще может быть сейчас спокойным и ясным? Я все еще не одета. Я жду, когда проснется Бертиль. Но я ведь теперь не одна. Если он сейчас откроет глаза, он узнает все. Я не хочу сама решать свою судьбу.

— Проснись Бертиль! — шепчу я.

Не просыпается.

Если он не проснется, я, наверное, заплачу. Не так часто мы сможем теперь по утрам быть вместе. Когда я начну работать, времени не будет.

Бертиль должен понять, что я не могу произвести на свет еще одного ребенка и быть вне всего того, что даст ему возможность жить в мире. Он считает, что на заводе я буду очень нервничать. Но завод ведь не театр, чтобы шуметь, жаловаться, плакать. Мы будем спокойны, сознавая, чего от нас требует наша цель. Мы должны смотреть на все в свете этой цели, но мы и жизнь свою должны подчинить этой цели и довести борьбу до победы.

Можно ли скрыть в себе горечь поражения! Ведь мы были на пути к победе; она могла бы привести к великому единению, о котором мы мечтали.

Но мы не забудем подлого предательства. Бертиль знает, что я хочу вместе с другими товарищами расправиться с руководством союза, прежде чем мы снова попадем в лапы эксплуататоров, и это после такой долгой и такой дружной борьбы! Он знает, о чем идет речь, и он желает нам успеха. Это не жертва. Я лишь выполняю свой долг. И это долг в отношении самой себя, своей собственной жизни, Бертиль!

Мы снова начали работать.

Почему мне не сказать, что я счастлива?.. Люди всегда боятся произнести слово «счастье». Как будто оно слишком

уж торжественно и пышно. И, может быть, это красивое слово произносится легче, когда становишься старше? Тогда глубже чувствуешь его сущность. По-моему, это такое светлое слово. Солнечное, теплое. Разве мы не имеем права на все светлое и прекрасное? Ведь мы же говорим: счастье для всех. Это поистине пламенное слово.

Мне хотелось сказать это моим товарищам, когда мы широким потоком направлялись утром к заводу. Но я подожду до тех пор, пока я смогу выкрикнуть это слово и перекрыть все другие голоса. Ведь не все так счастливы, как я.

Все было совсем иначе, чем мы себе представляли. Мы пришли на завод светлым летним утром, мы давно не видели друг друга, казалось, целый год. Чудесно было идти в этом потоке, как будто мы были целым народом, пришедшим в движение. А во мне жила новая жизнь, но это уже не было тайной для моего мужа. Я была счастлива. Если бы и все остальные были так же счастливы!

Во всяком случае, мы снова на заводе, и кое-что доставило нам удивление. До начала работы мы собрались и сформулировали свой протест против решения, принятого руководством союза. Теперь все трудящиеся узнают о том, что думают рабочие с «Шарикоподшипника»

«Заводская профсоюзная организация выражает свое недовольство тем, что соглашение было подписано, несмотря на то, что члены профсоюза голосовали против такого решения. Забастовка заставила Союз предпринимателей частично отказаться от своего неразумного отношения к справедливым требованиям рабочих. Принятое решение — это далеко не то, чего можно было бы достигнуть, если бы забастовка продолжалась и если бы наш союз и Центральный совет профсоюзов безоговорочно поддержали рабочих. Мы считаем, что такой результат, когда лишь небольшое число рабочих получило прибавку, противоречит той цели, во имя которой была начата забастовка. Особенно обидно, что не было выполнено требование рабочих о равной оплате за равный труд».

Этот протест дает нам твердую почву под ногами. Сегодня не нужно более сильных слов. У нас единый фронт, несмотря на всех тех, кто пытается его расколоть, и их подручных. Теперь мы можем продолжать.

II

Хельге и Соня — новая проблема, новые трудности!.. Да, моему младшему братцу придется доказать, что он стал взрослым, а то он такой беззаботный.

В Соне нет ничего особенного: это здоровая, веселая, с открытой душой девушка. Она нравится все больше и больше, в особенности, когда узнаешь ее поближе. Кажется, что для нее все в жизни очень просто. Но вот она захотела выйти замуж, и все оказалось таким сложным и запутанным.

Ее зовут совсем не Соня, а Метте. И она замужем, вернее, была замужем. И документов у нее нет, а теперь такое время, когда очень нужны всякие бумаги, чтобы стать женой и матерью! Как будто бы ее хотят лишить всего того, что так естественно для каждой женщины.

А она ведь не какое-нибудь легкомысленное создание из большого города, наоборот. Здесь, в мирном Гетеборге, есть более легкомысленные люди, но документы у них в полном порядке. Соней она назвала себя, когда боролась в датском движении сопротивления, и сохранила это имя. Ее мать звали Соней, но отцу не нравилось русское имя, и, когда она вышла замуж, ее стали звать Марен. Это было после русской революции. Отец Сони был богатым крестьянином в Ютландии, мать родилась в Орхусе и работала там учительницей. Соня была их единственным ребенком. Им, наверное, скучно без нее, одиноко. Но Соня не хочет возвращаться домой. Говорит, что не сможет жить так, как жила ее мать. Соня очень рано вышла замуж, чтобы уйти из дома. Муж был военный, намного старше ее. Наступила война, он редко бывал дома. Она перебралась к родителям матери в Орхус и окончила курсы нянь. Теперь она знает, чего хочет, хотя по ней не видно, что она такая самостоятельная. И отец ее и муж стали нацистами, они сговорились и без ее ведома записали ее в датскую нацистскую партию. Ее муж был таким рьяным сторонником наци, что отправился на фронт в составе Свободного корпуса «Дания». Она скрывалась в другом городе, пока ее не переправили на тральщике в Швецию. Это было зимой.

Прибыв сюда, она сразу же принялась организовывать детский сад для детей беженцев. После войны этот сад превратили в детский приют. Тут и начались всякие неприятности. Ей нужно было развестись с мужем, но он находился еще в Германии, если не погиб на фронте. У нее был иностранный паспорт на девичье имя ее матери — Соня Ниссен.

Она не хочет носить никакого другого имени. У ее мужа была красивая фамилия Данборг. Ему это не помогло.

Но Соня с Хельге не могут сочетаться даже гражданским браком, пока она не получит из Дании документы. У нее нет вида на жительство, и она не может стать шведской гражданкой, хотя носит под сердцем ребенка Хельге. Если бы она получила датские документы, то ее, может быть, заклеямили бы как предателя родины, она бы ведь называлась Метте Данборг. «Но Метте Данборг — это не я», — говорит Соня. И она носит два обручальных кольца на левой руке, как шведские замужние женщины. Этого ей никто запретить не может.

Здесь, в городе, Соне незачем скрываться. Мы можем только гордиться тем, что у нас в доме живет партизанка, датская патриотка. Наши соседи называют ее «фру датчанка», и я вижу, что она им нравится. Датские и норвежские беженцы всегда были здесь желанными гостями. Если наши соотечественники вначале и не понимали, почему люди бегут из своей страны, то потом они узнали об этом из газет.

И люди продолжают внимательно следить за событиями. Не прошло и полугода после окончания войны, еще не отменены карточки. Люди еще не разучились помогать друг другу, быть приветливыми, они еще не перестали надеяться на лучшее будущее для всех. И они не отступают перед трудностями, во всяком случае не сразу. Это прекрасно, когда человек делает что-то и для других, а не только для себя.

Бэда говорит, что люди никогда не были так любопытны, как теперь.

— Было бы хуже, если бы они не были любопытны, — отвечаю я.

— Раньше было лучше знать поменьше, — говорит она. — Наверное, поэтому люди сейчас хотят все слышать, все знать.

— Если человек довольствуется неведением — значит, он готов примириться с чем-то неправильным. Это хорошо известно тем, кто боится критики. Когда люди так терпимы, их легко обмануть. Нужно быть любопытным, нужно стараться узнать — правда ли то, что мы слышим!

— Ну, это уж слишком, — засмеялась Бэда. — Я вовсе не хочу, чтобы люди сомневались в том, что я говорю.

— А если кто-то рассказывает небылицы, стоит подумать, для чего это делается.

— Вот ты говоришь «небылицы». Я не сочиняю небылиц, но...— и Бэда улыбается.

— Что ты хочешь сказать?

— Я ведь не всегда говорю то, что думаю, ты это знаешь.

— Но всегда видно, что у тебя на уме, Бэда.

— Часто я сама этого не знаю.

Мы думаем об одном и том же, но не подаем виду. Можно было бы посмеяться надо всей этой историей. А мы вместо того молчим, каждая про себя. Я ни в чем не могу упрекнуть Бэду, хотя временами она ставит меня в затруднительное положение. Иногда она не успевает подумать, и с ее языка срывается вдруг то, что у нее на сердце.

Бэда гораздо чаще встречается с соседями. Она ведь давно здесь живет и всех знает, каждый день она ходит за продуктами, мы ведь целый день на работе. Позавчера она была в продовольственном магазине, и там зашел разговор о новой фру в ее доме, о жене Хельге. Одна из женщин спросила: — Но почему же она называет себя Ниссен? Разве в Дании так принято? — Бэда вынуждена была объяснить, что они не могут оформить брак, пока Соня не съездит в Данию, но она не хочет ехать до рождения ребенка.

— Значит, ее родители против? — спросила вторая. Бэда не сразу нашлась что ответить, и тут у нее вырвалось то, о чем она сама, наверное, никогда и не думала: они, мол, с Янне, если это понадобится, усыновят Соню.

Женщины в изумлении уставились на нее, но она не торопилась с разъяснениями.

— А разве можно усыновить взрослого человека? — спросила, наконец, одна.

— Почему же? — ответила Бэда.— Надо только подать заявление. Чего не сделаешь для двух таких чудесных людей!

Вчера с трамвайной остановки я шла вместе с одной женщиной, которая живет в том же доме, что и мы. Мы увидели Соню, переходившую улицу, и женщина сказала:

— Жаль, что ей так трудно остаться в Швеции. Неужели Бэде придется сначала ее усыновить? Как теперь издеваются над молодежью!

— Да,— сказала я,— это глупо. Но почему усыновить?..

— Бэда так сказала. Но разве Бертиль согласится делить наследство?

— Какое наследство?

— Ну что вы, ведь один только дом да участок — это уже целое состояние.

— В доме будем жить и мы и все остальные.

Она не знала, что сказать.

Соня вернулась, свежая, как ветер, такая счастливая, как будто ей принадлежит весь мир.

— Какой чудесный дождик! — сказала она.

На другой день опять шел дождь. Погода все ухудшалась — то поднималась буря, то снова лил ливень, как и должно быть в октябре. И днем было темно, как вечером, когда возвращаешься с завода.

И на следующий день шел дождь и дул ветер.

Вечером мы поднялись все вместе к Бэде и Янне. Соня все время сидела, прижавшись к Хельге, как будто хотела сказать: держи меня крепче! Наверное, она думает о своей семье в Дании. Мы прочли в датской газете, что ее отец арестован за то, что скрывал у себя в усадьбе немцев и датского военного преступника. Его обвиняют также в спекуляциях военными материалами, в тайных сделках с врагом. Вину смягчает то обстоятельство, что его жена сообщила полиции, кто находится в усадьбе; сама-то она уехала из дому. Отец же оправдывается тем, что его угрозами вынудили приютить немцев, ведь то же самое сделали король и правительство во время оккупации.

Можно себе представить, что пережила ее мать.

Бертиль заговорил о выборах в ригсдаг в Дании и в парламент во Франции. Впервые французские женщины получили право голоса. Во Франции не было выборов с начала войны в Испании. Странная демократия.

— А как голосовали женщины? Против немцев и войны, конечно? На большее они пока не решаются.

— Почему? — спрашивает Хельге.

— Это же в первый раз, и они еще не знают своих возможностей, — сказала я. — Во Франции ведь такие же женщины, как и везде, и по большей части они голосуют вместе с мужьями — если не так, как им предлагают священники и другие авторитетные лица. Если судить по газетам, то дела там идут не лучше, чем здесь.

— Они, наверное, голосуют, как их мужья,— вставила Соня.

— Не известно еще, есть ли у них мужья,— сказал Бертиль.— После войны-то. Наверное, большинство удовлетворяется священниками.

— Зачем так дурно думать? — укоризненно сказала Бэда.— И почему мужчина не может быть хорошим?

— Мужчина может быть хорошим,— ответила я.— Но и женщине не мешает быть хорошей. И она должна уяснить себе, за что она голосует. Во имя своего мужа, во имя своих детей.

— Совершенно верно, Элин,— сказала Соня и поцеловала Хельге. Казалось, она забыла, где находится, забыла о нас всех. Она тихонько прошептала ему:

— Я думаю, что весной мама приедет сюда, если она останется жить в Орхусе. Как она будет рада тебя видеть!

* * *

Это случилось утром.

Бертиль ушел в мастерскую раньше, чем обычно, наверное, часа на два. Работы было очень много. Людям приходилось подолгу ждать выполнения заказов, и Бертиль твердил, что это черт знает что такое. После забастовки он взял еще двух рабочих, но и это не помогло. К тому же Бертиль не хотел, чтобы они работали сверхурочно, хотя сам он и Хельге частенько отправлялись туда по вечерам. Но накануне мы засиделись у Бэды, и в это утро он хотел пойти на работу пораньше.

С тех пор многое изменилось у нас. Наверное, потому, что я больше не работаю на «Шарикоподшипнике» и не хожу больше туда; все, что было, мне кажется таким далеким. Впрочем, перемены не так велики, чтобы их могли заметить посторонние. Теперь весна. Марен здесь вот уже три недели. У нас с Соней грудные дети, ее ребенок на месяц моложе моей дочки. Хельге стал и мастером и отцом. Но по нему это не заметно, хотя он великолепен и в той и в другой роли.

В то утро мы вышли вместе с ним. Рассвело. Дождь перестал, ветра тоже не было, но с запада ползла серая рваная туча, как бы предвещающая, что за ней вскоре последуют другие.

— Как чувствует себя Соня? — спросила я.

— Молодцом.

— Ей тяжело из-за отца.

— Она считает, что он заслужил наказание. Она не очень-то верит, что его угрозами заставляли скрывать нацистов.

Мне некуда было спешить, и я прошла с ним, поскольку трамвая на остановке не было.

— Что это за дым? — удивился Хельге.

Густые черные клубы поднимались в конце улицы. Можно было подумать, что это с железной дороги, но паровозные мастерские находились совсем в другом направлении. Какой-то завод? Нет, не может быть такого дыма в этой стороне. Сквозь дым пробивался слабый огонь, искры рассыпались негустыми огненными метелками.

Мы повстречали рабочих, вышедших из ворот. Они также заметили дым и переглядывались, но у них не было времени остановиться. Кажется, они посмотрели на нас. Еще одна длинная метла кружащихся искр! На одно мгновение мне почудилось, что вокруг наступила тишина, мертвая тишина. Я подумала о Бертиле, и сердце мое сжалось, взглянула на Хельге — не собирается ли он бежать туда. Но это могло быть и где-то в другом месте.

— Твой трамвай, Элин, садись! — сказал Хельге резко, тоном приказания — он сразу стал каким-то другим.

Я осталась на месте. Он побежал.

Сначала я хотела вернуться домой и позвонить в мастерскую, убедиться, что никакой опасности нет. Но тогда я опоздала бы на работу. Я была на пятом месяце и не могла быстро бегать.

Я продолжала идти. Минуты через три я увижу мастерскую. Я должна была знать.

Но идти было так трудно! Я больше не думала о заводе. Мне казалось, что все встречные всё уже знают, понимают, почему я так спешу, почему у меня дрожат ноги, но я не решалась спросить, что там случилось? На улице становилось все темнее. Я была уже недалеко от мастерской, когда услышала гудки пожарной машины. Люди бежали мимо меня, мчались наперерез, звенели звонки велосипедов, со всех сторон раздавались протяжные, душераздирающие сигналы, мальчишки неслись по улице и лезли на забор.

Скрипели тормоза. И я услышала, как шипит пламя.

— Иди домой, Элин! — сказал чей-то взволнованный голос около меня.

Ну уж нет. Самое худшее осталось позади, когда я уви-

дела огонь. Теперь я твердо держалась на ногах и уверенно двигалась вперед. Как будто в теле моем не было никакой тяжести. У ворот мне пришлось остановиться. Там теснился народ, я попыталась пробиться, но не смогла. Из ворот вывозили автомобили и мотоциклы. Все хотели помочь, бросались к машинам, бежали рядом с ними, хватались за следующие, насаживали на оси колеса и увозили прочь, как будто это были игрушки. Струи воды шипели, ударяясь о стены и забор.

— Где Бертиль?! — закричала я. Но в страшном шуме никто не услышал моего крика.

Появился Эрикссон, старший рабочий, он катил бочку с бензином. — Берегись! — закричал он в воротах и подтолкнул бочку, она покатилась, прыгая и переворачиваясь.

Я так обрадовалась, что чуть не бросилась ему на шею.

— Где Бертиль?

— Да, да, — быстро ответил он, — да, да.

— Эрикссон, где Бертиль? — кричала я.

Он остановился на секунду и уставился на меня.

— Мы делаем все, что можем, — крикнул он, как глухой, и пошел за бочкой по улице.

На дворе в дыму, среди мечущихся языков пламени и черного хлама двигались фигуры, которые я еле-еле различала, но Бертиля среди них не было. Они что-то выносили, катили по земле, вбегали в мастерскую и выбегали обратно. Я слышала голос Хельге. Там мне нечего было делать.

Подъехал полицейский автомобиль. Двое полицейских вошли в мастерскую, двое остались у ворот. Автомобиль проехал вдоль забора и повернул за угол. Я объяснила полицейскому, кто я, и сказала, что хочу увидеть своего мужа.

Дожидаясь, я думала о том, что я в последнее время не проявляла такой бдительности, как в начале лета. Многого можно предупредить, если внимательно следить за тем, что происходит.

Полицейский вернулся с поручением от Бертиля; он не может уйти, пока огонь не будет потушен. Мне нечего беспокоиться. Он просит меня отнести домой его чемодан. Чемодан был полон конторских книг и бумаг. Я вынуждена была удовольствоваться этим. Полицейский спросил, нужна ли мне машина.

Нет, я не торопилась. У меня хватит времени поволноваться.

Когда я вернулась домой, там никого не было.

Видимо, Бэда взяла Хильдинга и отправилась в мастерскую другим путем, чтобы посмотреть на пожар. Я устала больше, чем после целого дня работы, и не надеялась уснуть, однако прилегла на кровать.

Первым, кого я увидела задремав, был отец Сони. Он прятал у себя оборотней. Хельге отдавал приказ бороться с огнем, спасать горящие норвежские города. Все было окутано черным дымом. Я заметила, что дремлю, когда новая жизнь во мне зашевелилась. Нет, я не должна спать. Я смотрела на потолок и прислушивалась. Но слышен был только шум трамвая. Наша ошибка в том, что мы не были бдительны. Мы больше не думали о длинном человеке в цилиндре, об Уландере, только все злорадствовали, что после забастовки рабочие к нему не идут. Когда ребенок во мне затих, я снова заснула.

Проснувшись я от странного шума, от незнакомых мне голосов. Я вскочила и первым делом бросила взгляд на чемодан Бертиля — в нем ведь были деньги. Он по-прежнему стоял на стуле около кровати. У двери позвонили. «Что-то случилось с Хильдингом», — подумала я и так задрожала, что мне пришлось крепко сжать кулаки, чтобы унять дрожь. Только после этого я смогла открыть дверь.

Но они внесли Бертиля.

Слава богу, что я была одна. Я бы не вынесла причитаний Бэды и ее бурной деятельности или испуга Хильдинга. У мальчика бы на всю жизнь осталось в памяти, как четыре парня внесли его отца и осторожно положили на постель.

То, что я могла заботиться о муже, что мы ощущали друг друга и могли все время улыбаться друг другу, было большим счастьем среди всего ужаса. Я вымыла его: он был весь в саже и грязи, надела на него все чистое и снова уложила его. Не было времени подумать ни о том, что произошло, ни о том, что будет дальше. Я была рада, что успешно справилась, и присела на край кровати с блаженным чувством. У нас выпала тихая минута среди дня: ведь те, кто работает, редко видятся днем, друг для друга им остаются только вечера, когда оба устали... И я думала, словно не веря своим глазам: «Бертиль жив!»

Сердце у него не выдержало. Это уже не первый случай.

Слишком много Бертиль работает. Он споткнулся о мотор, который хотел выкатить из мастерской. Мотор он спас, но на этот же мотор и упал. Когда он пришел в себя, его собирались отвезти в больницу, но ему захотелось домой.

— Я сказал, что у меня все в порядке, разве я не прав? — улыбнулся Бертиль, когда я поднялась навстречу доктору.

Итак, у нас в доме больной.

Совершенно запыхавшись, вытаращив глаза, прибежала Бэда. Ее мучило раскаяние, что она ушла, когда нужно было остаться дома.

— Как Бертиль? — прошептала она.

Хильдинг был полон впечатлений от всего виденного: пожарные во дворе мастерской, волочащиеся по земле шланги, полицейские у ворот, толпа народу на улице, горящий забор, который стал потом черным, как деготь...

— Что говорит доктор? — приставала Бэда.

Я тоже ждала, что скажет доктор.

— Мама, — сказал Хильдинг, — если папа больше не сможет чинить автомобили, я буду помогать дяде Хельге.

Я только крепко обняла его, моего большого мальчика.

Ему хотелось и утешить меня, и показать мне, какой он уже взрослый. — Когда у меня будет маленький братик, он будет оставаться дома с тобой, — сказал он.

В эту минуту из комнаты больного вышел доктор.

— Бертиль должен быть очень осторожен со своим сердцем сейчас и в будущем. Прежде всего ему надо отдохнуть, сбавить в весе, а затем соблюдать диету, остерегаться волнений, проявлять умеренность во всем, избегать какого бы то ни было напряжения сил. Никакое лечение не может совершить чуда, но оно все-таки нам поможет, — кивнул он мне на прощанье и ободряюще улыбнулся: — Вот тут-то и нужна будет женская ласка.

Бэда долго смотрела на меня, глаза ее наполнились слезами, когда она услышала наставления доктора.

— Да, да, да, — шептала она. — Пришла беда — отворяй ворота. Но не будем впадать в уныние, Элин. Нам нужно думать о детях.

Нет, я не в силах слушать Бэду!

Я только что попросила ее побыть около Бертиля, пока я схожу узнать, потушен ли пожар и что делается в мастерской, как услышала, что он позвал:

— Элин!

Я вздрогнула от счастья и тревоги. Войдя к нему, я закрыла за собой дверь.

— Сядь,— сказал он.

Я села поближе к нему, чтобы ему не нужно было напрягать голос.

— Спасибо, Элин,— сказал он.

«За что же ты благодаришь меня?!» — хотелось мне крикнуть. Но я должна была сидеть тихо, совсем тихо.

— Ты останешься на весь день дома? — спросил он.

— Если ты хочешь.

— Хочу.

— Я даже и не вспомнила о работе! Как это странно.

— Но так ты можешь забыть о ней и завтра,— улыбнулся он.

— Ты думаешь?

— Тебя могут уволить,— сказал он серьезно.— Но ведь тебе уж немного осталось, правда ведь?

Я поняла, чего он от меня хочет, это было написано у него на лице, но я опустила глаза.

— Здесь будет так много дела,— продолжал он.— Много дела, много забот. Хельге один не справится. Сюда будут приходить люди, которым нужно давать указания.

— Если я могу помочь тебе...

Я не могла больше выдержать. Все пережитое утром стало передо мной. Чтобы не заплакать, чтобы он не увидел моих слез, я наклонилась и прижалась к нему.

— Скажи, чего ты хочешь, Бертиль? Чтобы я бросила работу? Чтобы я только помогала тебе в мастерской?

— Да,— ответил он.— Ты будешь получать столько же, сколько другие, конечно. Ты же работала на заводе, как мужчина. Ты только меняешь место работы.

— Да, Бертиль.

Он положил обе руки мне на голову и погладил мои волосы. И я почувствовала, что сдаюсь, я обессилела, не в состоянии была ни о чем думать, мне хотелось только быть с ним вместе. Я чувствовала его горячие руки. Все остальное ничто по сравнению с ними.

* * *

Конечно, мне не доставало завода. Во всяком случае, вначале. Когда я выходила из дому по утрам, меня тянуло к трамвайной остановке.

Но завод — это ведь товарищи, общие интересы, наши беседы, наши планы. А теперь все иначе. Все чувствуют неуверенность, чувствуют, что за ними следят. Сегодня я здесь, а что будет со мной завтра? Люди чувствуют себя связанными. Темпы работы все ускоряются. Появилось новое выражение «любовь к своему заводу», маскирующее все более жестокую эксплуатацию рабочих. Завод выжмет из нас все, что капиталисты потеряли на забастовке. Зарботки упадут так низко, что нам в другой раз не захочется бастовать. Все му, чего мы уже добились перед забастовкой, будет положен конец: солидарности, свободе, чувству собственного достоинства. Мы должны быть «солидарны» с заводом, но он никогда не будет нашим. Мы можем сказать «наши шарикоподшипники» — ведь мы их делаем, — но никакой другой радости мы от них не получаем.

Нет только у меня времени, чтобы как следует поразмыслить обо всем. Все это ушло так далеко, как будто в действительности ничего такого и не было. «Потом, — думала я, — когда-нибудь потом... В мастерской работы больше чем достаточно».

Новая работа требовала меня всю без остатка, а главное она радовала меня, так как я уже не думала, что смогу чему-нибудь в жизни радоваться.

Бертиль послушно оставался в постели первые недели после пожара. За это время мы привели мастерскую в порядок, снесли сгоревшую часть — как раз ту, что пристроил Бертиль — и принялись за наиболее спешные заказы. Мы работали так, как будто нас ожидала премия. Пока нас было девять человек — восемь парней и я. Мы хотели управиться до возвращения Бертиля. Это было трудно, но приятно. Все работали с одинаковым рвением. «На зло врагам!» — говорили мы. Тот, кто устроил пожар, большого удовлетворения от этого не получит. Мы покажем, что мастерская Марка справилась с несчастьем по-гетеборгски. Плюй на руки — и за дело! Не вешать нос! У нас хватало времени и на шутки. Целый день мы шутили, слова летали, как легкие мячики, от одного к другому, парни насвистывали наперебой разные песенки — один кончал, другой начинал, кто лучше? Лучше всего получалось у Оке.

— Ну, ты дома упражняешься! — говорили ему. — У тебя во вставных зубах губная гармоника!

Они беспокоились за меня. Но я себя чувствовала прекрасно. На этот раз я поистине переживала период расцвета.

«Родится парнишка,— говорили они,— и он этого никогда не забудет!» Я была горда.

На мне лежала самая легкая работа — пока я не войду в курс дела. Теперь я видела, что была нужна Бертилю и раньше. Я отвечала на телефонные звонки, вела конторские книги, чистила и мыла, следила за инструментами и материалами, делала все, от чего нужно было освободить остальных. Они скоро привыкли полагаться на меня. А когда пришел Бертиль, пришлось заботиться и о нем. Ему нельзя было работать так много, как раньше, но к этому его трудно было приучить. Я также убедилась, что мне необходимо научиться оказывать первую помощь при порезах и ожогах. И теперь я в свободное время читала всякие брошюры.

Я узнала, что на работе может быть очень весело, причем веселье не отражается плохо на качестве. Здесь никто никого не подсиживал, никто никого не подгонял, и все помогали друг другу, следя за тем, чтобы работа была сделана. Все рабочие хотели побольше сделать за Бертиля, как и я сама.

Старый год закончился тем, что мы устроили рождество у нас дома, пригласили всех рабочих, а женатых — с женами и детьми. Весело было у нас, как никогда раньше, но Бэде и мне пришлось трудненько.

А теперь я снова должна вернуться в мастерскую и начинать понемногу работать.

Но они не хотят пускать меня — ни Бэда, ни Марен — эти благоразумные старушки, — ни Лиза, ни Хильдинг. Бертилю, конечно, хочется, чтобы я снова принялась за работу, но он ничего не говорит. «Начинай-ка!» — следовало бы ему сказать как хозяину и как мужу более решительно, чем он это делал обычно.

Я не хотела больше гадать, чего хочет от меня твой отец, моя крошка. Маленькая Сива, как говорит Лиза. Я ведь достаточно сильна. Меня хватит не только на то, чтобы заботиться о тебе. Нам с тобой почти слишком хорошо. Целых шесть недель прошло, прежде чем я начала думать о том, что на свете много малышей и мам, которым совсем не так хорошо.

То же самое говорит и Соня. Но мы ведь не только играем. И все-таки возиться с тобой целый день — это забава, так же как для Сони возиться с Гунной. Остальные ходят вокруг нас на цыпочках, смотрят, улыбаются, гуль-

кают. Мы все играли, подбирая имена для вас — Сигрид Ева и Гунвор Ева, — мы хотели, чтобы вы были как две сестрички. И хочется, чтобы эта игра продолжалась.

— Теперь я могу ходить за обеими и освобожу тебя, — говорит Соня.

— Нет, мама! — протестует Лиза с завистью глядя на Соню. — Почему у тебя будет двое, а у мамы ни одного?

— Потому, что мама хочет помочь папе в мастерской, глупышка, — отвечает Соня.

— Сама глупышка! Я могу смотреть за Сивой, пока мама не вернется с работы, — говорит Лиза. — Как ты думаешь, что бы сказала сама Сива об этом? Она ведь пока ничего не может сказать! — торжествует Лиза.

— Она может плакать, — говорю я. — Разве Соня плохо придумала? Может быть, лучше мне остаться дома, чтобы вы с Соней не поссорились?

— Да, пожалуйста, оставайся мама, а то мы будем ссориться каждый день!

Вид у нее такой решительный, что я готова ей поверить. Она наклоняет голову и, грозно нахмурившись, фыркает на Соню:

— Ты сама глупышка, сама!.. А ну, что ты можешь сказать?

Соня тоже делает вид, что рассердилась, и фыркает в ответ. Она научилась этой игре. Тогда Лиза подходит и толкает ее в бок. — Так что ты скажешь, миленькая моя? — спрашивает она, наклоняя голову, и кокетливо подмигивает.

Не знаю, хорошо ли, что она так много играет, так любит представлять. Но ее учительница говорит, что беспокоиться нечего: это пройдет, просто у нее очень живая фантазия. Она учится у подружек, они любят подразнить друг друга, кто-то из них бывал в кино, видел кинозвезд, вот они и стараются им подражать. Хуже, что она легко возбуждается, очень бурно проявляет свои чувства, но тут уж ничего не поделаешь. Надо только следить за ней. Я надеюсь на Марен, пока она здесь.

И Лиза и Хильдинг требуют все больше и больше времени. Школы должны бы уделять больше внимания детям, родители которых работают. У нас-то дом полон книг, но мои братья и сестры росли без присмотра... А впрочем, детям сейчас хуже, чем раньше. Чего они только не видят и не слышат! Я бы не знала покоя, если бы мои дети были предоставлены самим себе и своим сверстникам и улице. Но что

я делаю для того, чтобы охранить и защитить их от влияния улицы и других детей?

С такими товарищами по работе, как у меня, можно не стесняться своих материнских забот. Они понимают, что значит быть матерью семейства.

Они дают мне возможность отлучаться, чтобы покормить малышку. Я раньше уйду с работы и успеваю до прихода Бертиля прибраться дома и побыть с детьми. Разве нельзя более разумно организовать рабочее время и на больших предприятиях?

Много полезного можно было бы извлечь из послевоенной программы, если бы ее осуществлял народ. Но она принята главным образом для того, чтобы заставить доверчивых сторонников реформ ждать. Деньги по-прежнему важнее людей. Это мы поняли во время забастовки в прошлом году. У денег столько покорнейших слуг повсюду! До новых времен еще далеко.

И все же веришь в эти новые времена, когда видишь, как хорошо поставлено дело у нас в мастерской. Наверное, на многих предприятиях рабочим могло бы быть так же хорошо, как нам, — нужно только обоюдное желание. Не так уж трудно чувствовать себя человеком и думать об общих интересах и одновременно о благе каждого. Нам не безразлично, как живут наши товарищи и их семьи. Никто не предоставлен самому себе, как это было на «Шарикоподшипнике». Там мы думали только о том, как скорее вырваться оттуда и забыть о заводе хоть вечером. Мы проводили там взаперти столько часов, сколько полагалось за наше жалованье, а больше нас ничто не интересовало. Мы не любили завод. Мы знали только частицу этой громадины, и она была нам чужда. У нас был профсоюз, который должен был улучшить нашу жизнь. Но он не очень-то нам помогал. Он не был заинтересован. На бумаге все выглядело достаточно хорошо, но мы знали, что от бумаги до действительности очень далеко.

Ясно, что все в мастерской — дело рук Бертиля, и я считаю его заслугой и хорошее состояние мастерской, и то, что там легко работать.

Но я не хочу преувеличивать. Безусловно, будь он иным, он все равно мог бы быть хорошим начальником. И если бы он был более требовательным, более решительным, если бы он был больше начальником, разрешая остальным быть товарищами, ему все равно бы верили и ценили его. Сейчас незаметно, что он начальник. Но заметно, что его уважают

за то, что он умеет работать, за то, что он именно такой, какой есть. Рабочие ему преданы как старшему товарищу, как отцу. Он их выучил работать, и они это признают. Каким-то ему одному известным способом он объединил всех.

Очень ли он изменился с годами? Не изменилась ли я больше?

У его отца был очень властный характер. Ему всегда принадлежало решающее слово, и он не терпел, чтобы ему прекословили. Это осталось у него с тех пор, как он ходил в море. Он был командиром маленького судна. И хоть не так много он плавал, но этого оказалось достаточно. А Бэда была слишком уж уступчива.

Люди думают, что брак легко разрешает все проблемы. Если люди сходятся и живут вместе, то все прекрасно, вся жизнь — весна. А если человек чем-либо недоволен, то виноваты в этом, наверное, другие. Но для того, чтобы узнать друг друга, требуется гораздо больше времени, чем кажется. Я считала себя очень терпеливой, однако именно терпения у меня оказалось слишком мало. Многие мужчины, может быть, и не так сложны, как Бертиль, но я не понимала ни мужчин, ни любви, хотя была так уверена в себе. Да, так была уверена, что Бертиль потерял уверенность. Он считал, что знает, как нужно руководить семьей, но не смог ни показать этого, ни даже заикнуться об этом. И он стал пассивен. Ему было трудно, а я не желала этого видеть. Мне так хотелось другого, хотелось тоже иногда быть пассивной и иметь мужем «настоящего мужчину».

Теперь я знаю, что нельзя принимать так близко к сердцу первое разочарование, впрочем, второе и третье тоже. Нам не повезло: мы выросли не одновременно. Когда я бросила ему вызов в истории с Гуннаром, я думала: «Пусть лучше побьет меня, но не едет в Испанию!..» Но я не сказала ему этого. Я была слишком горда, слишком горяча. Хочется восхищаться человеком, которому уступаешь. Я научилась восхищаться Бертилем. И все же вначале это было как-то против моей воли, настолько я была самоуверенна. Я называла это — быть сильной. Не случилось ничего такого, что бы сломило меня, но он изменил меня своей спокойной доброй силой или уж не знаю чем. Знает ли он об этом? Какой бы я ни была, он рад, что он со мной, с нами.

Когда мы были молоды, мне хотелось, чтобы он жил для меня. Наверное, я вычитала это из книг. Но нужно жить друг

для друга. А теперь, когда я работаю в мастерской и провою здесь полдня, я вижу, что человек может жить своей работой.

И мне нравится, что Бертиль живет мастерской.

Он не может делать так много, как раньше, но он по-прежнему вникает в каждую мелочь. Он наблюдает за нашей работой и думает обо всех заказах, которые уже в работе или ждут своей очереди, думает больше, чем раньше, когда ему было некогда размышлять, когда на нем лежала самая трудная работа. Теперь это дело Хельге, а Бертиль только помогает ему советами. Заказы никогда не похожи один на другой. Люди ломают машины и портят моторы самыми разнообразными способами. После пожара Бертиль каждый день тщательно проверяет, все ли в порядке в мастерской и во дворе, в особенности же он следит за сырьем. Полиция считает, что пожар возник из-за старой карбидной лампы или еще чего-то в этом роде. Пожарные якобы уловили запах карбида. Это было обычным делом, что различные химикалии вызывали пожары. После войны много опасных аппаратов находили в хламе. И вот каждый вечер, отдохнув немного дома, Бертиль идет в мастерскую, иногда вместе с Хельге.

Если бы пожар произошел теперь, весной, полицейские, наверное, сказали бы, что мальчишки жгли костры на косогоре и от искр, попавших в мусор, начался пожар. Ну что ж, выброшенные лампы не всегда бывают безопасными. Бертиль должен был признать, что в мастерской находились вещи, которых там не следовало держать. Но каким образом они взорвались или загорелись? Горючее имелось повсюду. Если бы найти какие-нибудь остатки от того, что вдруг загорелось, мы бы выяснили причину пожара. Но у нас одни подозрения и ни малейших доказательств. Мы только знаем, что были недостаточно бдительны.

Через две недели годовщина окончания войны. Долгий же был год! Он кажется особенно долгим, потому что за этот год совершилось много событий. На заводах, в торговле, на транспорте — всюду ощущается веяние нового. Мы видим это и в нашей мастерской.

Но еще не улеглась тревога. Мы не чувствуем уверенности. Чистка от нацистских элементов продвигается с трудом. Что-то препятствует ей.

В Норвегии три профсоюзных лидера в свое время стали квислинговцами. Они хотели спасти свою карьеру при новых господах. Ведь их страна должна была превратиться в немецкую провинцию. Но норвежцы жестко взялись за дело и привлекают предателей к суду.

У нас что-то не так, что-то явно не так. Вот так бывает, когда в машине неполадки. Она все же работает, все к этому привыкают, и никто не исправляет неполадок, пока не случится катастрофа. А в один прекрасный день катастрофа непременно случается.

Но борьба рабочего класса продолжается и в других странах, и у нас. Мир станет лучше. Все вокруг находится в брожении.

III

— Пришел за своей машиной оптовик, — объявил Хельге. — Но ему придется подождать еще четверть часа.

— Он непременно начнет болтать о политике, — сказал Бертиль. — У кого есть время?

Время нашлось у меня.

Был прекрасный майский день, и оптовик В., представительный мужчина с седеющими волосами, в элегантном темном костюме, беседовал с простой женщиной в зеленом комбинезоне. Он был несколько высокомерен, но вежлив; вначале он проявлял некоторое любопытство, но потом к его высокомерию примешалась еще и подозрительность. С чувством облегчения он сел в машину и бросил короткое «прощайте».

— Если мы лишимся этого клиента, заказов нам все равно хватит, — улыбнулся Бертиль.

— Конечно, — согласился Оке. — Мистер Клиент! Много их тут... пока. — Прищурив один глаз, Оке с невинным видом засвистал какую-то мелодию. — Он не удостоил меня ответом, — прибавил он. — Так пусть катится на все четыре стороны.

— Да, такие предпочитают говорить сами, а не отвечать на вопросы, — сказал Хельге.

— Слушать других утомительно, — сказала я. — А иногда, может быть, и неприятно.

Не успела я войти в мастерскую, как появился другой «мистер Клиент»...

Раньше мы его не видали. Он живет в Леруме. Он не оптовик, у него новая великолепная «улыбка доллара» *. Он называет себя торговцем, так что, возможно, он коммивояжер или агент какой-нибудь фирмы. Он очень спешит, но ему придется все же подождать. Тонкая пластинка совершенно изодрана: он расцарапал ее о забор. Можно поставить только что-нибудь временное.

— Плата наличными,— сказал Бертиль, осмотрев машину и взглянув на владельца.

— Женщины не привычны к такой работе, не правда ли? — обратился клиент ко мне.— Неужели здесь будет то же самое, что в России?

— А что такое в России? — спросила я.

— Женщины делают тяжелую работу, вместо того чтобы сидеть дома. Но женщина-механик — это невозможно!

Я хотела ему сказать, что работала двадцать лет на СКФ. Но потом подумала: «Пусть говорит сам!»

Тут он увидел лежавшую на земле газету «Новое время».

— Подумайте, здесь читают коммунистические газеты! — воскликнул он.— Она не стоит даже того, чтобы подтереться ею!

Мне хотелось спросить — не боится ли он стать красным, но я только сказала: — Это социал-демократическая газета.

— Рабочие у власти — это, по-вашему, демократия? — злобно откликнулся он.— Но это не западноевропейская демократия. И никогда здесь такого не будет!

Он отшвырнул газету ногой. Мужчины прятались за его машину и хохотали. Но клиент ничего не замечал. Отшвырнул газету еще дальше. Он злился, что ему приходится ждать, злился на машину, на забор и вымещал злобу на ни в чем не повинной бумаге... Я подумала, каково-то придется той женщине, которая вышла за него замуж. Но я не была обязана занимать его разговором, я подняла газету и ушла.

Они говорят, что боятся России — эти господа в «улыбках доллара» и других машинах, но они боятся революции в своей стране, боятся, что рабочие придут к власти. Они говорят, что хотят защищать свободу, но защищают деньги. Социализм строится в одной стране за другой у всех свободных народов Восточной Европы. Прошло всего три года после войны. Те, кому пришлось тяжелее всех, идут впереди.

* Ироническое название марки американских автомобилей.—
Прим. перев.

— Коммунизм! — кричат господа направо и налево. Я понимаю, чего они боятся. Они ведь не знают, что такое коммунизм. — Прага, Чехословакия! — орут они, надрывая глотку. Но они не смеют даже шепотом произнести: «Гречия! Афины!»

Через три года после войны земляки «улыбки доллара» пытаются вдохнуть жизнь в фашизм, чтобы защитить «свободу». Лицемерие этих господ никого не может удивить, но как не удивиться политике, делающей такие повороты, — сначала это «свобода от нужды и страха», потом свобода пугать мир атомной бомбой.

Они не желают слушать других, они делают вид, что не имеют отношения к политике, осуществляемой при помощи атомной бомбы, и они хотят, чтобы мы им поверили!

Оптовик В. все же снова появился в мастерской. Сначала он прислал на осмотр свой грузовик, затем пришел побеседовать с Бертилем и шофером о приобретении нового.

На другой день он зашел ко мне в нашу так называемую контору. Кажется, ему стало легче, когда он увидел, что женщина уже не занимается тяжелой работой. — Госпожа Марк? — осведомился он. — Здравствуйте, здравствуйте.

Но, вероятно, мой зеленый комбинезон все же вызывал в нем представление о коммунизме, и он тщательно избегал говорить о политике.

Я не могу ссориться со всеми господами, которые бывают в мастерской. Пусть их остаются такими, каковы они есть. Ничем они не замечательны, и я успеваю лишь мельком взглянуть на них. Но все же они возбуждают мое любопытство. Во мне растет жажда узнавать людей. Здесь каждый день видишь новые лица. Приходят самые разнообразные люди, многие с удовольствием беседуют, рассказывают. Они не могут скрыть того, что они думают о своей жизни и о жизни других. А как интересно поделиться потом впечатлениями с товарищами...

Многие хвастают, и, несомненно, не только прожженные дельцы, но и многие другие изо всех сил «делают деньги», да еще так, что никакая фантазия не может себе этого представить. Дело в том, что мы переживаем период подъема. Но когда «жизненный уровень» повышается, прибыли и спекуляция растут вдвое. Длинный купец из Лерума не успел разбогатеть во время войны, и теперь он наверстывает упу-

щенное. Поэтому он всегда так спешит и злится, если его задерживают. Он живет «энергично» и работает «эффективно». Он держит жену и детей на даче, а любовницу — на той же улице, где расположена его контора. Он в восторге от плана Маршалла, а себя считает умнее всех. Я никогда не видела, чтобы он смеялся. Но, может быть, он смеется в театре.

Иногда заходит разговор о войне, но больше всего говорят о деньгах. Деньги могут вознести человека так высоко, что он засияет, как солнце в небе, но деньги же могут доставить массу хлопот и неприятностей, довести до полного отупения или даже помешательства. Человек, потерявший деньги или вступивший в рискованное предприятие, похож на «улыбку доллара», которая попала в катастрофу. Но это еще не самый худший тип. Есть еще такие, у кого нет денег, но которым страстно хочется их иметь. Они бродят вокруг в качестве «страховых агентов» и пытаются надуть Бертиля, заставить его застраховаться на случай войны.

Один из них был большим болтуном, наверное, даже шельмой, но он очень серьезно относился к тому, о чем последнее время говорят все больше и больше. Для него это была возможность разбогатеть. — Война может начаться в любую минуту, — говорит он. — Коммунисты, покончив с Прагой, возьмут Берлин, а потом придут сюда; советский флот стоит наготове. Мы можем защищаться, но когда война начнется здесь, будет уже поздно, надо быть готовым к этому и внести страховой взнос в долларах.

Он утверждал, что был у Уландера и что тот застраховался. Бертиль дал ему высказаться, но потом вежливо проводил до ворот. Мне очень хотелось подробнее расспросить этого господина о его намерениях, но нам некогда было возиться с ним. Бертиль считал, что у него еще будет случай поговорить, когда он снова придет ремонтировать машину.

* * *

Приближалось лето. Ожидаемая война не начиналась.

Летом Бертилю пришлось дважды брать отпуск, чтобы немного отдохнуть. Одну неделю мы провели вместе в деревне. Это была вообще первая неделя, когда мы вместе были в отпуске и могли спокойно отдыхать.

Как чудесно лежать на зеленой траве и слушать щебет птиц в кустах, смотреть на пчел, ползающих в цветах и жуж-

жащих. Их задние лапки с комочками желтой пыльцы, казалось, пахнут медом. Бертиль чаще всего лежал, растянувшись на земле, и смотрел в облака. Я радовалась, что ему хорошо, но иногда спрашивала: «Ты думаешь об Испании?»

Сама я предпочитала сидеть на складном стуле, который могла брать с собой куда угодно. Я читала газеты — ведь в течение долгого времени я успевала лишь просматривать заголовки. Иногда я читала Бертилю вслух. Особенно внимательно он слушал о борьбе партизан в Испании. Но ничего не говорил.

Больше всего газеты писали об Америке. Об Америке в Испании, Америке в Греции, Америке в Японии и Китае, в Швеции, Норвегии и Дании, о долларовой пропаганде, о гангстерских методах преследования коммунистов, о травле коммунистов в период предвыборных кампаний у нас. Америка повсюду — в деловой жизни и в политике. Удивительно еще, что в душах людей так мало страха в это лето — третье после мировой войны, — когда нет уверенности в мире.

Вернувшись домой, мы снова взялись за работу, и нам часто казалось, что мы провели за городом много, много долгих дней. На следующее лето мы пообещали друг другу устроить еще лучший отпуск и взять с собой детей и Соню.

Может быть, в мастерской на будущий год будет меньше дела. Газеты предсказывают спад. В порту меньше работы, у людей меньше денег, ценность денег падает. Прекратились разговоры о «высоком жизненном уровне». Но главными паникерами, несомненно, были деловые люди и политики.

Наша партия на выборах потерпела поражение. Значит, среди наших избирателей нашлись такие, которых запугала травля коммунистов. Но все же их было не так много, как кому-то хотелось. Даже самые неустойчивые вряд ли верили американской лжи, а некоторые из них, наверное, считали, что дело идет лишь о борьбе между рабочим правительством и буржуазным, откровенно реакционным режимом.

Среди запуганных много женщин: значит, мы плохо работали перед выборами. Теперь-то видно, что мы упустили. Я надеюсь, что впредь буду работать лучше.

Теперь и Соня может нам помочь. Она стала шведкой, но все такая же быстрая и веселая, как тогда, когда была еще датчанкой. Мы с ней вступим в Союз левых женщин и будем агитировать других за то же. Часто женщины, когда у них рождается ребенок, перестают интересоваться чем-либо, кроме домашних дел. А должно бы быть наоборот. Видно, не по-

няли они еще, что их долг в отношении ребенка заключается в том, чтобы бороться за мир и лучшее будущее. Они сидят дома и боятся действительности, которой не видят. Нужно, чтобы они встречались с другими женщинами, а их дети — с другими детьми.

Мы должны помочь им в этом, Соня!

Накануне вечером было собрание в Союзе левых женщин. В декабре состоится большой Всемирный конгресс Международной демократической Федерации женщин, на который съедутся представительницы пятидесяти наций. Туда поедут и несколько шведок. Утром пришел Оке и, открыв дверь, сказал:

— Начинается охота за ведьмами. То есть гестапо орудует,— прибавил он тихо.— У них есть сведения, что ты едешь в Будапешт!

Он хотел предупредить меня на всякий случай. Но он не думал, что дело обстоит так уж серьезно. Его сестра Майкен недавно была на собрании. Я потушила лампу над пишущей машинкой. На улице уже рассвело.

Вид полицейских во дворе мастерской вызывал неприятные воспоминание о пожаре. Один из них стоял у ворот. Прлышала, как кто-то разговаривал с Бертилем, но не могла слышать о чем. Через несколько минут кто-то постучал в дверь. Вошел человек в штатском. Я успокоилась. Вероятно, у кого-нибудь украли машину.

— Я из полиции,— сказал он и попросил написать несколько слов на машинке.

— У вас есть другие пишущие машинки? — спросил он, взглянув на текст.

— Нет.

— В доме никого нет?

— Нет,— ответила я, считая, что вопрос исчерпан.

Как бы не так. Полицейский прилежно осматривал все предметы в конторе, пока я писала и вообще пока он находился в комнате. Но если бы не пришел другой, более нахальный, мне не на что было бы пожаловаться. Не то что бы я придавала их словам какое-нибудь значение, но я считала, что мне лучше не слушать, о чем идет речь, чтобы не выдать себя. А впрочем, что мне было скрывать? Пусть разнюхивают, ведь это их работа.

И они нюхали, как могли, по всему двору, в мастерской, заглядывали в машины, в пустые ящики, стучали по бочкам и переворачивали все, что только можно было перевернуть. Во всяком случае, они не нашли ни пишущих машинок, ни краденых автомобилей. Они уже собирались уйти с пустыми руками.

Но тут вошел их старший. Он вяло представился. С ним вошел еще один в штатском и Бертиль. «Ну, сейчас все объяснится», — подумала я.

Бертиль не проявлял никаких признаков волнения. Ему тоже нечего было скрывать. В этом они лучше всего могли убедиться теперь, когда смотрели на нас обоих.

Они спросили Бертиля, знает ли он кого-либо, кто ранее был членом коммунистической партии.

— Нет, — ответил Бертиль.

— Подумайте как следует, — сказал старший.

— Если речь идет о перебежчиках, то я слышал о таких, — ответил Бертиль. — Об этом сразу же сообщают в газетах. Но я лично никого не знаю.

— Есть ли коммунисты среди рабочих мастерской?

— Я не интересуюсь, в какой партии они состоят. Они могут ответить вам сами.

— А таких, что вышли из партии? Или были исключены? Ведь об этом обычно все знают.

— Я таких не знаю.

— Все ли рабочие у вас члены союза?

— Все.

— Господину Марку это известно?

— Конечно. Не членов союза мы не берем на работу.

— Гм, — сказал старший.

— А как обстоит дело в полиции? — спросила я. — Разве там не все члены союза?

Они не ответили, значит, это был вопрос.

— Нет ли у господина Марка врага? — спросил старший.

Бертиль задумался:

— Нет, я таких не знаю, — ответил он.

— Но, может быть, есть такие, что знают господина Марка?

— Возможно. Этого я не могу вам сказать. Сюда приходит так много народу — людей, которые хотят продать машину, людей, которым мы не можем потратить. Одни надеются перехватить деньжат, другие мечтают погреть руки. Ясно, что они недовольны, когда им отказываешь.

— Господин Марк имеет в виду кого-нибудь определенного?

Обдумывая ответ, Бертиль слегка улыбнулся. Я обрадовалась, что он держится так спокойно. И он так полагался на меня. Ни на одну секунду он не взглянул в мою сторону.

— Это значило бы выдать людей. Этого я не могу.

— Не был ли кто-либо уволен из мастерской за последние три года?

— Нет,— ответил Бертиль.— Отсюда вообще никто не уходит.

— Даже после войны?

— Никто.

— И все хорошие люди? — спросил старший.— Надежные?

— У меня нет к ним претензий.

Тогда он начал расспрашивать меня о соседях по дому. Нет ли среди них таких, что были коммунистами, а потом вышли из партии? Подумайте-ка!

Думать было нечего. Им пришлось уйти не солоно хлебавши.

Мы полагали, что на другой день прочтем в газетах какую-нибудь нелепую историю о перебежчике из партии, но ошиблись. Вместо этого Бертиль получил приглашение явиться на следующий день в полицию.

Когда он вернулся, Хельге и я стояли в воротах мастерской и махали Соне и двум малышам, приходившим к нам в гости. Бертиль приехал на такси.

Было ясно, что что-то случилось. Он был сам не свой.

— Бертиль,— сказала я в страхе,— тебе нельзя здесь оставаться. Пойдем домой!

Неожиданно он согласился.

Мы побыли немного в мастерской, а потом Хельге на машине отвез нас домой.

Дома Бертиль упал на стул и вначале не хотел ничего говорить. Выражение его лица напоминало мне о тяжелом периоде перед поездкой в Испанию, такой он был мрачный, замкнутый, взбешенный. Он даже не пошевелился, когда я попыталась уложить его в постель. Я хотела позвонить и вызвать доктора, но он воспротивился.

— Сейчас нельзя болеть,— сказал он.

— Но расскажи, в чем дело,— вырвалось у меня; я не могла больше владеть собой.— Что они сделали?

— Это я сделал: я поджег мастерскую русскими хлопущиками! — он насмешливо улыбался.

— Что же это, с ума они сошли, что ли! — воскликнула я и сжала кулаки.

— Они очень хитры, — с горечью прошептал он.

Постепенно, задавая вопрос за вопросом, я узнала от него, что в полицию пришло письмо, подписанное «бывший коммунист». В том письме Бертиля обвиняли в поджоге. Он якобы прятал у себя русское оружие и бомбы для осуществления революции, ему нужно было избавиться от них после войны. И вот одна зажигательная бомба взорвалась. Он — опасный человек, получает деньги от иностранной державы и работает для свержения существующего строя. Письмо было длинное. Он видел его, но не успел все прочесть. До чего слепо! И написано письмо было намеренно корявым детским почерком.

— И они приняли это всерьез? — спросила я.

— Им надо было расследовать, что за этим кроется, — так они говорят.

— Я бы помогла им в этом расследовании! — сказала я.

— Нет, нет, ни в коем случае! Мы можем все испортить. Вероятно, здесь замешан кто-то другой. Не надо лезть в это дело.

Мне казалось, его очень расстроило то, что полиция приняла письмо всерьез. Подлое анонимное письмо, явно глупое и лживое. Как будто полиция искала повода, чтобы придрасться. Чтобы замазать то, что рано или поздно должно было открыться... Но я не показала виду, о чем я думаю. Пусть он успокоится.

Наконец мне удалось уложить его. Он так устал, что мне пришлось помочь ему раздеться. Я села около кровати, чтобы последить за ним. Я решила, когда он успокоится, может быть даже уснет, я все равно позвоню доктору.

Некоторое время он лежал тихо, потом поднялся и посмотрел на меня.

— Элин, там было написано, что после пожара ты сразу же получила расчет на СКФ, поскольку тебя заподозрили в шпионаже, — сказал он. — И о Соне. Что в нашем доме живет датская беженка, которую усыновила коммунистическая семья, и что она руководит школой для детей красных во дворе при мастерской, где детей учат саботажу.

Я не могла удержаться и рассмеялась.

— Мне очень жаль этих милых полицейских! — сказала я. — Спи!

Через два дня за мной прислали из полиции.

— Уландер уехал, — сказал Хельге. — Выясни, откуда послано письмо.

— Да, — подхватила я. — Вряд ли он отдал его в руки какого-нибудь бродяги.

Но Бертиль не хотел, чтобы я шла. Он был совершенно вне себя. Ничто не помогало. Обычно он прислушивался к мнению других, но теперь был совершенно глух к тому, что мы говорили.

— Предоставь это мне, — твердил он.

— А разве это не наше общее дело? — спросила я.

— Вспомни о Гури, — сказал он. — Ты хочешь ехать в полицию, где тебя подозревают бог знает в чем. Пусть спрячутся в СКФ и в клубе металлистов. Я не хочу, чтобы в полицейском архиве была твоя карточка. Ты член партии, а я нет. Со мной они все же посчитаются.

— Тогда они придут за мной сами, — сказала я, — перевернут здесь все вверх дном, как они это делали во время войны.

— Я все устрою. Я пойду туда. А то они еще вызовут Соню.

— Не ходи один, Бертиль! — Я просила и умоляла. — Я пойду с тобой.

— Нет, я пойду один.

Нужно было попросить доктора запретить ему идти. Но было уже поздно. Он ушел раньше назначенного срока.

Я приготовилась ехать в полицию. Хельге хотел проводить меня.

— Соню они не найдут, — сказал он. — Она готова спрятаться. Мы не позволим американцам издеваться над нами, Элин.

Тут позвонили из полиции. С господином Марком удар. Его увезли в больницу. Госпоже Марк следует немедленно поехать туда. За ней пришлют машину.

Через две минуты машина подъехала к воротам. Хельге провожал меня в больницу.

— В Дании тысячами выпускают военных преступников, — сказал он. — Это предусмотрено Атлантическим пактом. Они как безумные готовятся к войне.

Но я не могла собраться с мыслями. «Бертиль, Бертиль!» — стучало у меня в висках, как будто я обращалась к нему, но слов не было слышно. Шофер мчался изо всех сил. Наверное, ему сказали в полиции.

Бертиль лежал без сознания. Мы вызвали Бэду. Он не приходил в себя.

— Неужели тебе нечего сказать нам? — рыдала Бэда.

Он вздохнул, и все было кончено.

Много есть людей, которые более одиноки, чем я. Это плохое утешение, но мне хочется протянуть им руки.

Одна мысль невольно утешает меня. Она всплывает и днем и ночью: Бертиль избежал худшего — войны. Я не одинока, у меня Лиза, Хильдинг, Сива — вся «большая семья», но все же я так тоскую, мне так хотелось бы именно сейчас носить на руках маленького ребенка Бертиля!.. И когда Соня смотрит на меня, я говорю ей: «Не взять ли нам сиротку?»

Каждый день требует работы — и дома, и в мастерской. Соня хочет открыть детский сад для детей рабочих, взять их с улицы. Если бы найти две комнаты и садик где-нибудь поблизости! Но легче сказать, чем сделать в такое время, когда царит жилищная нужда. Бэда уже поговаривает о рождестве для всех рабочих мастерской, она хочет подготовиться к этому заранее. Она говорит, что она теперь стара, но в память Бертиля должна справиться с этим.

Я, как могу, стараюсь заменять детям отца. Вначале я была совершенно беспомощна. Но и в этой беде, как всегда раньше, помог Янне. Он теперь почти все время дома. И Лиза и Хильдинг охотно идут к нему со своими уроками, да и с другими делами, он с ними разговаривает, играет. У него так много разных историй для них.

И Бэде лучше, когда дети у них. Они всем нам стали еще дороже, а ей они как будто отчасти заменяют Бертиля.

— Он живет в детях, — часто говорит она.

«Не скоро еще мы справимся с горем», — думаю я. День за днем возвращается мысль о том, как бессмысленно, как подло отняли у него жизнь.

IV

Вторая весна после смерти Бертиля... Раньше я считала недели и месяцы до какого-нибудь события. А теперь я считаю уходящие дни. Может, это старость?

Нет, отвечаю я себе. Это совсем иная весна. Она должна стать новой весной. В прошлую весну я была в трауре. Те-

сказка. Но скоро она позабыла о своих претензиях. Она держит младших за ручки, когда ей кажется, что я рассказываю что-то очень страшное.

Они рассматривают фотографии в книге «Век детей», снимки из брошюр и газет.

— Как живут эти дети? — спрашивают меня малыши. — Что сделала с ними война?

Хильдинг рассматривает мальчиков и, наверное, думает, как весело было бы с ними поиграть. Но испуганные и страдающие лица смущают его. Он спрашивает о мальчиках в школах и мастерских, на каком языке они говорят, сколько им лет. А Лиза хочет знать, как живут дети, что им дают есть. Когда она видит, как плохо они одеты и как тяжело им живется, она не может этого понять. Не хочет понять. «Бездомные дети? Но им дадут другой дом, — говорит она. — Должен же быть у них дом. Не могут же они стать бродягами или дикарями. Им ведь нужно ходить в школу!»

Я рассказываю о детях в странах Европы, в других странах, где была война. Об испанских, польских, чешских, русских, румынских, венгерских, греческих детях, о детях Италии и Югославии, Германии и Китая... О детях Франции, Бельгии, Голландии, об арабских и индийских детях, о том, как они голодают и болеют, даже когда нет войны. Хильдинг и Лиза помнят пожар в мастерской, помнят, что мы пережили после него. Мы говорим о страшных тиранах и разбойниках, которые не хотят думать о детях, когда затевают войны, они думают только о деньгах и товарах, которые могут забрать у жителей завоеванной ими страны.

— А детей они тоже крадут? — спрашивает Лиза.

— Им не нужны дети. Они считают, что их слишком много, если они не могут использовать их как рабов на своих заводах и в колониях.

— Но разве они не понимают, что это дурно?

— Они не считают, что это дурно, раз им самим хорошо. Детям и «туземцам» дана полная свобода страдать и голодать. И они довольны своим рабством — так считают богатые из «свободного мира», и так они считали всегда. Они любят не детей, а атомную бомбу и хотят в будущей войне сжечь заразу как можно больше людей. Так было в Японии.

«Если Лиза слушает и понимает, то и другие смогут это понять», — думаю я. Многим следовало бы знать, как живут дети после войны, какое будущее уготовано им теми, кто потрясает атомной бомбой. Я давно уже не выступала на

собраниях перед товарищами, нужно мне как-нибудь рассказать обо всем этом женщинам.

Теперешний век должен был бы стать веком детей. Но он стал им только в странах социализма. Всем женщинам следовало бы знать, что там делают для детей. На душе становится легче, даже когда только читаешь об этом.

— Ну, Элин, не начнем ли мы дело в большом масштабе? — говорит Хельге. — Не арендовать ли нам старую мастерскую Уландера и не перебраться ли туда? Она стоит пустая.

— Она сдается? — спрашиваю я, не чувствуя особого энтузиазма.

— Я спрашивал. Они предпочитают продать участок, но могут и сдать.

— А на сколько лет?

— На четыре года.

— Не лучше ли построить новую мастерскую на нашем участке? — говорю я. — А то через четыре года они заставят нас купить этот дорогой участок.

— Если мы только вообще сможем построиться. Трудновато, пока правительство верит в войну и его генералы беспрестанно болтают о ней.

Хельге пытается убедить меня, но я мечтаю построить более крупную мастерскую на старом месте. Настоящую мастерскую. Хельге, вероятно, хочет взять реванш. Ведь Уландер сбежал в Западную Германию, бросив все на произвол судьбы. Над ним тяготело обвинение в злом банкротстве.

Я бы предпочла не касаться ничего, что принадлежало ему.

— Попробуем еще раз попросить разрешения на постройку? — говорю я.

Что сделал тролль, когда он увидел солнце?

Сива знает. Каждый раз, слыша этот вопрос, она приходит в восторг и громко смеется: — Большой противный тролль так разозлился, что лопнул! — говорит она.

Гунна тоже это знает, но смотрит на Сиву и с волнением ждет ответа, который для нее всегда оказывается сюрпризом.

Иногда мы рассказываем сказки, во всяком случае по воскресеньям. Дети предпочитают слушать одни и те же сказки. От пересказа они не теряют для них своей прелести,

в них могут появляться маленькие дополнения. Гунна ждет маленького сюрприза при каждом пересказе, а Сива сама любит что-нибудь присочинить.

И я думаю: «Когда мои маленькие слушатели состарятся, какие-то сказки будут рассказывать они?»

Может быть, тогда они будут рассказывать историю о войне, которая кружила вокруг мира, как кошка вокруг котла с горячей кашей. Она металась от Норвегии к Дании, к Западной Германии, Италии, Греции, Турции, Персии, Пакистану, Малайе, Вьетнаму, Тайваню, Японии, Корее, Канаде, Гренландии и Исландии и все кружила и кружила вокруг них, но нигде ей не было покоя от мира.

Ну вот Лиза и получила разрешение пойти вместе со мной!

Произошло то, о чем мы мечтали годами и десятилетиями, о чем мечтали поколения людей. Мне кажется, что до сих пор я только носила в себе мечту моих отца и матери. И молчаливую мечту Бертиля. А теперь мы можем что-то сделать и достичь цели, которую мы видим перед собой.

Это происходит каждый день, и всякий может принять в этом участие—женщины и мужчины. Каждый может прийти выразить свой протест против войны и насилия—все понимающие, что значит мир.

Как говорится в песне:

Если нас горсточка в ногу пройдет,
Кто-то услышит мерный наш шаг.
Если ж нас тысячи двинутся в такт,
Это во всех отзовется сердцах.

Мы требуем запрещения атомной бомбы—гласят бюллетени для голосований, листы по сбору подписей. Мы требуем строгого контроля. Мы поддерживаем Воззвание Всемирного Совета Мира.

И нас не только сотни тысяч. Нас миллионы во всех странах. Мы голосуем за мир во всем мире.

Это самое великое событие в моей жизни.

Теперь мы можем сказать: «**МЫ ТРЕБУЕМ!**»—и наш голос будет услышан. Когда началось рабочее движение и наши старшие товарищи провозглашали: «Мы требуем права голоса для всех! Мы требуем восьмичасового рабочего дня!»—тогда важные господа смеялись над словами рабочих. Но позже рабочие добились и восьмичасового рабочего

дня и права голоса даже для женщин. А теперь у нас такая большая сила, о какой наши предшественники и мечтать не могли, и мы будем бороться до тех пор, пока воинствующие господа не смирятся с миром во всем мире.

Сегодня они уже не смеются. Они так напуганы, что хотят запретить нам голосовать. Они пытаются оклеветать кампанию по сбору подписей, пытаются оболгать наши требования.

И все-таки это весна, весна Стокгольмского воззвания.

Многие, многие верят в дружбу между всеми народами, в мирную и свободную жизнь на земле. Может быть, их больше, чем мы думаем. И мы, представители нашей большой семьи, идем и присоединяемся к ним. Сначала идем мы с Лизой, потом Хельге и Соня. Не все сразу же ставят свое имя под Воззванием, представляющим такое великое требование. Ну что же, пусть сначала подумают.

А Лиза торопит меня, как будто мы с ней вместе играем в какую-то чудесную игру.

ХЕНРИ ПЕТЕР МАТТИС

На международных конгрессах в защиту мира в составе шведской делегации всегда можно увидеть худощавого седого человека, очень скромного и как будто ничем не выделяющегося из общей массы. Но, пробыв на конгрессе или ассамблее несколько дней, убеждаешься, сколько энергии этот человек вкладывает в борьбу за мир, как он стремится помочь организации дружеских встреч людей различных национальностей и различных политических взглядов, установлению дружеских контактов. Этот человек — шведский писатель Хенри Петер Маттис. Помнится, в ноябре 1954 года в Стокгольме во время проходившего там конгресса Всемирного Совета Мира именно он открывал вечер встречи шведских и советских писателей. Он тепло приветствовал советских коллег и призывал шведских и советских писателей в непринужденной беседе получше узнать и понять друг друга, поближе друг с другом познакомиться.

Хенри Петер Маттис родился в 1892 году в Гетеборге, и действие почти всех его многочисленных романов происходит в этом большом портовом городе.

Окончив университет, Маттис до 1930 года работал учителем в народной школе. Его первой книгой был роман из жизни студентов «Игра жизни» (1919). Все его последующие романы: «Божье дитя» (1926), «Сын человеческий» (1928), «День милости» (1930), «Герой живет» (1932), «Новый человек» (1934), «Новоселы, ищущие золото» (1940) и другие — посвящены жизни и борьбе рабочего класса, батраков и мелких крестьян Швеции.

В течение нескольких лет Х. П. Маттис был членом правления союза шведских писателей, в 1945—1948 годы — редактором журнала, издававшегося совместно союзами писателей скандинавских стран. Вместе с известной финской пи-

сательницей Катри Вала он выпустил на шведском языке финские народные сказки в 1944 году, в 1952 году издал книгу о новой Румынии «Богатства Румынии».

Роман «Женщины находят путь», вышедший в 1954 году, привлек к себе большое внимание не только в Швеции, но и в других странах Севера. Издательство «Арбетаркультур», очевидно, полагая, что женщины отнесутся с недоверием к роману о женщинах, написанному мужчиной — разве может он понять их нужды, их психологию, — обратилось к автору с просьбой поставить на книге женское имя. И книга вышла под псевдонимом Хедвиг Паулине. Писатель согласился на это, чтобы, как он сам говорит, «дать книге возможность действовать самой, независимо от имени автора». «Но, — добавляет он, — я никогда больше этого не повторю, это ведь не совсем честно по отношению к читателям и к критике».

В книге описывается жизнь двух поколений одной рабочей семьи в период с 1914 до 1950 года, когда было опубликовано Стокгольмское воззвание. Первая мировая война, Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война в Испании и, наконец, приход фашизма к власти в Германии и развязанная им вторая мировая война. Автор показывает, как все эти события, внешне как будто не затрагивающие нейтральную Швецию, отражаются на жизни ее рабочего класса. В шведских рабочих пробуждается чувство солидарности с рабочим классом Советского Союза, свергшим власть капиталистов и помещиков, с испанским народом, борющимся за свою свободу, с народами соседних стран — Дании и Норвегии, — переживающими черные годы оккупации и чужеземного гнета. Борьба за улучшение своего материального и правового положения, единство и дружба с рабочими других стран приводят к росту классового самосознания шведских рабочих. Героиня романа — Элин, пройдя через тяжелые испытания, пережив много горя, вырастает в настоящего общественного деятеля, мужественного и энергичного. Долгие годы борьбы с нуждой, борьбы за права женщины, ошибок и колебаний и в личной и в общественной жизни не сломили ее, а, наоборот, закалили, сделали ее настоящим человеком — борцом. И когда она в конце романа вместе со своей юной дочерью ставит подпись под Стокгольмским возванием, это воспринимается как своего рода апофеоз, как найденный ею наконец тот единственный путь, каким следует идти, — путь борьбы за счастье своих детей, за счастье детей всего мира.

Известный советскому читателю датский писатель Ганс Кирк в рецензии на эту книгу справедливо писал: «Эта книга высокого литературного достоинства, но не только. Это — эпос о рабочей женщине, сага, сложенная в ее честь. Это — реалистическое повествование о здоровой вере в жизнь, прекрасная редкая книга...»

Другой датский писатель, также известный советскому читателю, Ганс Шерфиг в личном письме автору писал:

«Очень плохо с моей стороны, что я не написал тебе раньше и не поблагодарил за прекрасную книгу, которую ты мне прислал. Но кто же мог догадаться, что ты — Хедвиг Паулине? Эта книга кажется мне главным произведением в современной скандинавской литературе, она не могла быть создана в Дании после смерти нашего старого друга Нексе. Давно уже ни один роман не производил на меня такого сильного впечатления».

В письме другу в Москве автор писал: «Я надеюсь, что книга и познакомит советских женщин с жизнью шведских работниц и вызовет в них интерес к ней».

Хочется надеяться, что автор не обманется в своих ожиданиях.

Н. Крымова.

СОДЕРЖАНИЕ

Семья	5
Товарищи	95
Дети	208
Хенри Петер Маттис	295

X:

Хедвиг Паулино
ЖЕНЩИНЫ НАХОДЯТ ПУТЬ

Редактор К. А. ФЕДОРОВА
Художник А. П. Виноградов
Технический редактор И. Я. Думбра
Корректор К. И. Иванова

Сдано в производство 18/II 1957 г.
Подписано к печати 4/IV 1957 г.
Бумага 81 × 108/32 = 4,7 бум. л. 15,4 печ. л.
Уч.-изд. л. 16,1. Изд. № 12/3185.
Цена 9 р. 55 к. Заказ № 2408.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. Первая Образцовая
типография имени А. А. Жданова.
Москва, Ж-54, Воровая, 28.

